

СИБИРСКИЕ ОГНИ



**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Союз писателей Российской Федерации,
Администрация Новосибирской области

Редакционная коллегия:

Н.М. АХПАШЕВА
Б.Л. АЮШЕЕВ
А.Г. БАЙБОРОДИН
Ц.-Х. БАЛДОРЖИЕВ
Б.Я. БЕДЮРОВ
В.А. БЕРЯЗЕВ
Б.В. БУРМИСТРОВ
С.В. ВТОРУШИН
В.В. ДВОРЦОВ
Б.С. ДУГАРОВ
А.И. ИВАНТЕР
В.Н. КАЗАКОВ
Б.Н. КЛИМЫЧЕВ
Н.В. КОРНИЕНКО (член-корр. РАН)
В.М. ЛОМОВ
С.Г. МИХАЙЛОВ
А.М. РОДИОНОВ
Э.И. РУСАКОВ
Т.Г. ЧЕТВЕРИКОВА
А.Б. ШАЛИН
В.Н. ЯРАНЦЕВ

Главный редактор: В.А. БЕРЯЗЕВ

6 июнь 2013

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Глеб ШУЛЬПЯКОВ. Музей имени Данте. Главы из романа.	3
Сергей КУЛАКОВ. Нить Ариадны. Рассказ.	79
Владимир БАЗАНОВ. Выдумки. Рассказы.	88
Антон ВЕТРОВ. Возвращение домой. Рассказ.	101
Михаил ФАУСТОВ. Капитанова дочка — 2. Повесть.	107

ПОЭЗИЯ

Марина КУДИМОВА. Детская травма. Стихи.	75
Баир ДУГАРОВ. Азийский аллор. Стихи.	83
Анна ПАВЛОВСКАЯ. Волчья шуба. Стихи.	97

ОЧЕРКИ И ПУБЛИЦИСТИКА

Лариса БЕЛКОВЕЦ. История германского консульства в Новосибирске.	142
--	-----

КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Владимир ЯРАНЦЕВ. Лабиринты и отражения — 6.	163
Олег ДЕМИДОВ. Булгаков и имажинисты.	171
Сергей КУНЯЕВ. Николай Клюев. Главы из биографического повествования. Окончание.	174

О книгах	187
----------------	-----

Авторы номера	191
---------------------	-----

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Журнал зарегистрирован в Мининформпечати РФ. Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Главный редактор, руководитель ГБУ «Редакция журнала «Сибирские огни»» В.А. Берязев.

МУЗЕЙ ИМЕНИ ДАНТЕ

Главы из романа

Часть I

1. ОСТАНОВКА В ТАЙГЕ

Через два часа мотор глохнет, машина скатывается на обочину. В тишине что-то потрескивает, механический сверчок под капотом допевает, дотягивает свою песню. Но вскоре он стихает.

— Сева!

Тишина.

— Всеволод Юрич! — я оборачиваюсь.

Сева — редактор программы, которую мы снимаем. По образованию он историк. В наушниках у Севы музыка, и я просто разглядываю его в зеркале. Лицо, покрытое редкой щетиной, невидящий взгляд. Он даже не заметил, что мы сломались.

Водитель палец за пальцем натягивает перчатки. Над лобовым стеклом у него припилена фотография мальчишки, это его сын. Перед тем как выйти из машины, он поднимает глаза на карточку.

От удара дверью по кабине прокатывается волна холода. Через стекло видно, как водитель угрюмо, словно машина сама ответит, что случилось, разглядывает радиатор. Сплювывает, садится.

Я застегиваю куртку и вылезаю. Грунт мерзлый, камни покрыты седым налетом. Пустая дорога рассекает тайгу, как след от бритвенной машинки. Ветра нет — на сопках видно, как мелко выточены зубцы елок. Ярко желтеют березы, горит красный семафор, клен или осина.

С обочины тропа забирает вверх. На холме можно снова проверить телефон, но чудес не бывает — связи нет. А дальше спуск, и стопки опавших листьев пружинят под ногами.

На дне оврага родник, он обложен замшелыми бревнами. Увеличенные водной линзой, со дна выпукло белеют камни.

Вода ледяная, пахнет железом; пью до ломоты в зубах. Куртка у меня непромокаемая, можно лечь прямо на листья. Закрываю глаза. Голоса на дороге почти не слышны, и тишина, нарушенная моим приходом, восстанавливается.

Худшее позади, но что именно? Ведь ничего особенного не случилось... И я лежу до тех пор, пока холод не проникает под куртку.

С триколором и логотипами федерального канала, наш фургон посреди тайги похож на игрушку. Так нелепа банка из-под колы, на которую натыкаешься в лесу, или пустая сигаретная пачка на пляже.



Народ уже на дороге — курят, проверяют телефоны. Из машины выбрался Михаил Геннадьевич — дядя Миша, как называют режиссера в группе; с азартом хорошо выспавшегося человека дядя Миша осматривает машину.

— Масло, шланг, — выдает приговор. — Хана, Игорек.

Через минуту снова его голос:

— Он ей: «Мне? Семьдесят!»

Анекдот старый и дядю Мишу никто не слушает.

— «Я бы вам не дала!» — она.

Дядя Миша смотрит на Севу.

— «Да мне уже и не нужно...»

Тот, лузгая семечки, кивает.

Дядя Миша повторяет уже про себя:

— Да мне уже и не нужно...

Я пересчитываю людей. Поверить, что нашего осветителя увезли в больницу утром, невозможно. После сотни километров по тайге такое ощущение, что из города уехали неделю назад. Но это не так, еще утром мы были в Двинске.

Перед глазами серое, испуганное лицо, когда он оправдывался с носилок: «Что-то с желудком, тушенка или пиво», — пытаюсь раздвинуть побелевшие губы. А я даже не знал его имени.

Но график есть график, и мы выехали из Двинска без него. По дороге я думаю не о том, как мы обойдемся без света — свет может поставить оператор или дядя Миша, — а как нам, в сущности, повезло. Что если бы его аппендицит открылся в тайге, в сломанной машине, за двести километров от ближайшей больницы? Вот человек шутит, со всеми смеется, поддакивает: «Пить надо меньше»... А потом лежит на заднем сидении и стонет от боли. И никто ничем не может помочь ему, никто и ничем.

Спроси себя: что бы ты чувствовал, глядя, как он умирает? Сострадание? Брезгливость? Или досаду, что график сорван и надо возиться с телом?.. Вглядываясь в лица людей в фургоне, разных убеждений, возраста и опыта, которых судьба свела под крышей одной машины, мне понятно, что этот вопрос сейчас задает себе каждый. И ответ у каждого тоже свой.

Через два часа алкоголь выпит, анекдоты кончились. Сумерки. Уже не различить ни той красной осины, ни березы. Верхушки деревьев сливаются в темную полосу, сквозь которую едва сочится закат. Холодно.

Эта полоска напоминает ленту пишущей машинки. Когда верхняя часть покрывалась пробоинами, катушки меняли местами. Смешно, что пальцы до сих пор помнят это движение. Сколько все-таки ерунды хранится в человеческой памяти!

Мне хочется спросить Севу, ведь он тоже наверняка печатал на машинке. Но в этот момент дверь с лязгом отодвигается:

— Нет, нету.

В салон влезает техник, пожилой, но шустрый малый. Он успел залезть на соседнюю сопку, проверить связь.

В машине пахнет пивом и сушеной рыбой. Звуковик, со всеми ровный красавец-белорус Витя, уткнулся в компьютер и флегматично убивает кого-то на экране. Оператор включил фонарик и читает. Дядя Миша после перцовки дремлет. У Севы музыка.

Чем ближе ночь, тем меньше шансов, что сегодня нас вытащат. Надо готовиться к худшему — к ночевке. Сколько у нас еды?.. алкоголя? О том, что завтра утром катер, и нас ждут на острове, лучше не думать.

Час проходит в тоскливой дремоте, как вдруг по потолку пробегают блики. Два желтка, фары! Толкаясь, наши высыпают на дорогу. Мы кричим, поднимаем зажигалки — словно вокруг море, и нужно, чтобы с корабля нас заметили.

Шелестя щепенкой, старенький «москвич» тормозит. Сева проворно обходит машину:

— Прошу прощения, — нагибается к окну. — Позвольте представиться, мое удостоверение... Так неловко, но...

За рулем немолодая женщина. Взгляд спокойный, оценивающий. Предупреждает сразу:

— Только два свободных.

Я забираю из фургона сумку и сажусь на переднее.

— Не мешает? — она показывает на саженец. — Из Двинска, еду на дачу. Посадить.

— Что вы...

Салон забит пустыми банками, свободных мест, действительно, только два. Раздав указания, Сева устраивается тоже, мы трогаемся. Когда машина набирает скорость, банки в коробках дребезжат, а силуэты на дороге растворяются в сумерках. Жалко бросать их, уезжать в теплой машине. Но таков порядок: можно заменить оператора и арендовать новую машину, можно снять передачу без режиссера и звукооператора, но без редактора и ведущего передачи нет, поэтому мы обязаны покинуть тонущий корабль первыми.

— Удача, — говорит женщина.

— То есть?

Она по-северному окает:

— По выходным-то машины редко.

Ей хочется узнать побольше — кто мы и что снимаем в этой глухомани. Но спросить она не решается, и Сева сам все рассказывает.

Саженец в ногах рвет карту. Кянда, Тамица, какие-то безымянные точки и кочки: между Двинской и Онежской губой тайга, населенных пунктов почти нет. Действительно, повезло.

В полудреме я вспоминаю Двинск, съемки на «Севмаше». Огромный короб храма и часовню-парикмахерскую. Стены с мотками колочей проволоки и смотровые вышки.

После досмотра на КПП наш фургон медленно едет по заводской территории. Пейзаж в окне сталкеровский — металлолом, остовы товарных вагонов, ржавые эллипсы. Огромные кольца свалены вдоль дороги. Они похожи на секции трубопровода, только покрытые толстым слоем резины. И я понимаю, *что* это такое, откуда у подводных лодок черный матовый цвет.

Между ангарами мелькает вода, но вид на море закрывает стальная стена. Поднятый на сушу, корабль на стапелях похож на элеватор.

— Продали в Индию, — говорит девушка. — Чинят.

Эту девушку приставили из отдела внутренней охраны, и мы с Севой сразу прозвали ее «особистка». Улыбчивая, хамоватая. В штатском, сквозь которое все равно заметна военная выправка. Прямо держит спину, быстрый поворот головы. Аккуратное движение — поправить под беретиком светлые волосы.

На все вопросы девушка молчит или многозначительно улыбается. Она рада, что завод произвел впечатление, хотя осадок после того, что я вижу, тяжелый. Все-таки завод строили заключенные. К тому же, глядя на корпуса с выбитыми окнами и кварталы брошенных бараков, на людей, трясущихся в вагонетках, трудно поверить, что здесь куют атомный флот страны, великую «кузькину мать». Однако это так, отчего на душе делается еще тоскливее.

В перерыве между съемок я отправился побродить вокруг храма с камерой — снимать, что осталось. Но «особистка» следила за мной и теперь снисходительно, хотя и строго, отчитывала:

— С фотоаппаратом не положено.

Меня вдруг захлестывала ярость. Я поднимал камеру и наводил на нее; слезя вспышкой, щелкал. Она попыталась придать лицу выражение, как в журналах, но потом опускала голову и краска заливала ее красивое, с тяжелыми скулами, лицо.



Никаких вопросов я не задавал ей — ни в стекляшке «Осьминог», где мы встретились после работы, ни в узкой гостиничной койке, куда мне без труда удалось затащить ее.

В какой-то момент, усевшись в ногах, она обняла мои ноги и прижала: левую ступню к левой груди, а правую к правой. Заставила мять, приподнимать, сдавливать.

Провожая девушку ночью, я показал распечатку из Интернета. Это был снимок из космоса, где то, что они запрещали снимать нам, лежало как на ладони. В ответ она поправила светлые волосы и пожалала плечами, обнажив в улыбке крупные ровные зубы...

Из полудремы меня выдергивает звонок.

Связь есть, номер местный.

— Ну и где вы! — Это Степанов из Устья. — Утром же на остров! Прилив!

Я рассказываю, что случилось, куда выслать машину, чтобы забрать ребят и вытащить фургон; звоню, пока связь, в Двинск.

К телефону в больнице долго не подходят, наконец трубку снимают.

— Вас беспокоит съемочная группа... Мы хотим узнать, в каком состоянии наш коллега...

Сева подсказывает, как зовут осветителя.

Шелест бумаги, голоса.

— К сожалению...

— Что? — из-за двигателя не слышно. — Повторите!

— Умер... на... операционном... столе, — диктует ровный женский голос.

Сева забирает трубку, а я чувствую, как в одну секунду жизнь бесповоротно изменилась... и в то же время осталась прежней. Сознывая это, а еще то, что ничего не исправить, хочется орать и бить стекла. Но вместо этого тупо смотришь в окно — на лес и то, как за деревьями блестят заводы и лужи; на берег моря, утыканный серыми избами.

— Это после отлива, — женщина показывает на лужи на песке. — Что-то случилось?

— Все в порядке.

В тайге ночь, а на берегу светло. Вода отливает ртутным светом. Он мерцает до горизонта, где море упирается в тучи, сваленные, будто старая мебель.

Фары выхватывают пустые остановки и мусорные контейнеры, темные зарешеченные балконы, ветки и провода. Ни вывесок, ни витрин в городе нет. Фонарь на перекрестке или окошко — вот и все освещение.

Пока выгружаем вещи, пока хозяин отгоняет собаку и гремит ключами — та, на «москвиче», что спасла нас, исчезает. Благодарить некого.

Хозяин стоит против света, лица не видно.

— Степанов, — протягивает руку.

Ладонь теплая и мягкая, и от этого рукопожатия мне как-то спокойнее. Я даже улыбаюсь. При свете лампы Степанов — невысокий, с круглым курносым лицом мужик лет пятидесяти. Спортивная куртка, на голове кожаная кепка-шлем. Резиновые сапоги с отворотами в шотландскую клетку. Взгляд из-под белесых бровей короткий, ошупывающий. Он не музейщик, никакого музея в Устье нет, он — хозяйственник. Остров и монастырь в его ведении.

Наспех, уткнувшись в тарелки, ужинаем. Время от времени телефон трезвонит, и Сева о чем-то договаривается, устало и по-будничному разрешая последствия того страшного, что на нас обрушилось.

Небо на дворе обсыпано звездами. Они низкие и выпуклые, горят празднично, словно назло тому, что случилось.

Степанов возится с дверью. Расторопный, но несуетливый, он мне все больше нравится. Не бравировует и не заискивает перед столичными, как это часто бывает. Открытый, но и себе на уме. Сапоги вот с отворотами...



В избе все обустроено по-городскому: обои, старая советская «стенка», над трельяжем портрет Есенина с трубкой. Единственная примета времени, плазменная панель, по-деревенски накрыта салфеткой. А в коридоре весла.

— Дочкина.

Он показывает на комнату:

— Белье жена постелила, отдыхайте.

— А где ваши?

— За губками.

Он ловит мой непонимающий взгляд:

— За грибами, — задергивает шторы. — Катер в девять, завтрак в восемь. Разбудить?

— Я сам.

Комната школьницы — компьютер, круглый аквариум, стопка учебников. Календарь с какими-то покрашенными мальчиками. Чехлы для мобильных. Похожим барахлом набита комната моей дочери (она живет с матерью), а ведь она считает себя столичной штучкой. И пожалуйста — копия за тысячи километров.

Хочется вообразить белокурую девочку. Как она ложится и засыпает под стальное тиканье будильника. Но вместо этого перед глазами лицо осветителя. Душка очков, прихваченная изолянткой (у меня в школе были похожие). По-детски восторженный взгляд. Бутылка ликера, зачем-то купленная накануне отъезда.

Зачем ему ликер на острове?..

Не жалость, но злость — на себя и собственное бессилие перед тем неясным и непредсказуемым, что подстерегает каждого, — вот что я чувствую. На его бессмысленную жестокость.

«Почему этот мальчишка? А не вечно пьяный дядя Миша? Почему не жлоб-оператор, которому наплевать на все? Я... или Сева?»

2. ОСТРОВ НА МОРЕ

«Устье возникло на месте древнего поселения в нескольких километрах от впадения Онеги в Белое море. Первое упоминание о нем относится к “Уставу новгородских князей” — в списке погостов, плативших десятину на содержание Святой Софии. Свидетельство о церкви Успения сохранилось и в поздних записях, составленных после разорения побережья норвежцами. Вот как говорится об Устье в сотной книге 1556 года: “В той же волостке на Усть-Онеге реки Погост, а в ней церковь Успене пречистые да другая теплая церковь Николая Чудотворец, а в них черной Кирилл да дьяк церковный Родька Ортемев, да пономарь старей Мисаило”.

С середины XVII века волость и деревни по реке приписывают к монастырю на острове. Этот монастырь, основанный по указу патриарха Никона, построили при государственной поддержке в невиданно короткие сроки. Для закрепления духовного авторитета на престол рукоположили архимандрита, а Святой Крест заказали в Иерусалиме. Он состоял из ковчежцев, где хранились мощи святых мучеников.

До выхода России на Балтику Устье — морские ворота в Европу. В XVI веке именно отсюда кормщики шли в Данию и Англию с дипломатическими посольствами, а в Устье приходили торговые корабли из Европы, чтобы идти на Москву и дальше на Каспий.

При Екатерине II поморское поселение Устье официально становится портовым городом. По Генеральному плану он получает квартальную застройку с проспектами и улицами. Положение морского форпоста формально остается за Устьем до конца XIX века. Однако после выхода России на Балтику и Черное море город и порт приходят в упадок. Вот как описывает Устье петербургский этнограф Яков Ковельский, побывавший здесь с экспедицией в 1889 году: “Бедно и печально глядит этот некогда значительный город-порт в глаза всякому проезжему. Из опрятных домишек в нем всего два-три, но и те дома богатеев и лесной конторы. Остальные же



бедностью своей могут соперничать только с Мезенью, виденной нами ранее. Из насчитанных мною двух площадей и 14 улиц не мощены все, и даже городской вынужден ездить по городу на дровнях, ведь телега вязнет в грязи по самые оси”.

Не пощадило время и природу этих мест. Когда-то новгородцы шли сюда за мхом и строевым лесом. Теперь от лесов почти ничего осталось. Поскольку безлесые берега не держат почву, ее смывает дождями в реку, отчего вода в Онеге вот уже много лет имеет торфяной оттенок. Этот цвет настолько густ, что, впадая в море, река на многие километры окрашивает его, превращая из Белого в бурое...»

— Алексей! Это кому?

В окне автобуса памятник — медный мужик, похожий на московского первопечатника.

— Так помор, — Степанов называет имя. — Наш, ходил на лодьях.

Он так и говорит — «на лодьях».

Кожаные громыхают, техник лезет, чтобы переложить их. Остальные смотрят на Степанова.

— Нет, правда, — мне интересно. — Кто он?

— Двадцать лет на Груманте.

Степанов, балансируя, пересаживается поближе.

— Один!

— А ел он что? — перекикивает мотор оператор. — Север же!

В руке у него пакет с кефиром и лепешка.

— Так лысуна можно или рыбу... — Степанов растерян.

— Старовер, что ли? — я пытаюсь зацепиться. — Скит?

— Что?

Выдержав паузу, Степанов рассказывает историю: жил в этих краях помор, лоцман и мореплаватель, водил купцов по рекам и царские посольства в Скандинавию, а потом вдруг исчез, сгинул. Только через двадцать лет рыбаки обнаружили на Груманте обледевшие останки. Оказывается, все это время он жил на острове, один.

— Лисы-то его объели... — мелко общипывает лицо Степанов. — Сам цел, а череп голый.

Он повторяет про череп с каким-то почти сладострастием. Оператор давится, кашляет. Остальные напряженно молчат. Степанов продолжает...

За время съемок историй подобного рода мне доводилось слышать много. Наверное, когда-нибудь, когда передачу закроют, я напишу об этом книгу. Об опальных вельможах, строивших версальские дворцы в калмыцких степях и там же спятивших; или о полководцах, отгородившихся от мира константинопольскими стенами, бравших эти стены приступом; о висячих садах и оранжереях под стеклянными куполами, вымышленных и выписанных от скуки помещиками в тверской глухомани; о железных дорогах, уводящих в никуда и заброшенных; о крепостных оркестрах и театральных труппах, тщательно собранных, а потом сгинувших где-то на Дальнем Востоке — все эти истории были не сказками, поскольку сохранились и стены дворцов, и руины фортеций, и чертежи оранжерей, и просеки с остатками шпал. Более того, все они имели между собой нечто общее. За каждой такой историей стояло фанатичное желание переменить участь, любой ценой избежать того, что предназначено обычным ходом жизни. Все это были истории бегства, исчезновения, вызова или спора с судьбой. Поиска чего-то, что могло бы изменить жизнь. Единственный вопрос, ответа на который они не давали, был вопрос «зачем?». Какова природа этого поиска, одинакового у вельмож и простолюдинов, генералов и купцов, у народа целой страны, который сколько раз уже снимался с насиженного места? Словно история нарочно спрягала эти ответы, скрыла...

Бараки, пятиэтажки, несколько серых панельных высоток. Огромные пыльные газоны. Мертвые светофоры. Продовольственные ларьки, забранные решеткой. На



тротуарах с колясками юные мамы. Пьют пиво, болтают с такими же малолетками, вчерашними одноклассниками.

— Михал Геннадич! — мне хочется расшевелить режиссера. — Дядя Миша!

Но после вчерашнего тот угрюмо отмалчивается.

Пазик сворачивает в рошу и скатывается к пристани. Речная линза огромна и покрыта рябью, чей стальной цвет физически передает ощущение холода.

У причала катер.

— Наш?

Степанов, сощурившись, разглядывает линияльный триколор:

— Да, можно.

Когда мы загаскиваем аппаратуру, доска прогибается и скрипит.

— По одному!

Это кричит из рубки капитан. Они со Степановым громко шепчутся:

— Ты говорил, их будет восемь.

Капитан, молодой парень, вопросительно смотрит на меня. Я показываю: не гритят осталось шестеро.

— Водитель с машиной, он не едет.

Про осветителя они вроде знают.

Спустив кофры в трюм, наши вылезают на палубу. Витя и оператор, пока есть связь, названивают подружкам. Техник (он все время фотографирует) щелкает камерой: река, катер, как переносят краном шпалы.

— Старые, для дачи, — комментирует Степанов шпалы. — Распродажа.

Канат летит на борт, из-под кормы выстреливает струя. На фоне белой пены хорошо виден торфяной цвет воды. Облака приземисты и, отражаясь в воде, бесконечно увеличивают пространство.

Когда выходим в море, сырой ветер по-настоящему обжигает лицо; пора в трюм. Внизу уже устроился Витя, скоро спускаются остальные. Ни вчера, ни сегодня никто не спрашивает, что стало с осветителем, как он там. А мне сказать нечего, нам еще работать. И мы просто сидим, прижавшись друг к другу, чтобы не замерзнуть.

— Если холодно, можно в рубку, — в люке лицо Степанова.

— А сколько плыть? — Сева.

— Час.

Звуковик и Сева, балансируя, идут к лестнице. Следом встает оператор, но Степанов предупреждает:

— Больше двух не влезет.

Сева уступает.

Когда я вылезая на палубу, берегов не видно. Волны лупят в борт и взрываются фонтанами; небо и море, облака — серая каша; грохочущий ледяной океан.

Сева в рубке, он дремлет. На скамеечке, опустив на грудь двойной подбородок, Сева напоминает пингвина. В рубке пахнет мазутом и дешевыми папиросами. Сквозь забрызганное стекло на горизонте проступает темная полоска суши.

— Остров?

Капитан не слышит.

— Давайте сбавим! — ору ему.

Сева просыпается:

— Что вы придумали?

— Немного можем, — отвечает капитан.

Глаза у него блестят, улыбка. Кажется, ему интересно. Он расстегивает на груди ватник и дергает костыль переключателя. Теперь мотор стучит отрывисто, а катер переваливается.

— Меньше не могу, перевернемся.

— Нормально.

Я пробираюсь к трюму.

— Дядя Миша! Идея!

Из люка высовывается голова.

Показываю на панораму с островом.

— Понял, — он ныряет обратно. — Работаем!

Наши по одному вылезают. Техник кое-как пристраивает штатив, Витя напяливает наушники. Оператор кричит из-за камеры, мотает головой. Лица у всех злые, мокрые, сосредоточенные. Наверное, в такие минуты они ненавидят меня. Но нам нужен этот кадр, и снять его можно только сейчас.

Сева пытается расправить сценарий:

— Какой эпизод?

— Камера мокнет! — оператор.

Отмахиваюсь: «К черту сценарий».

Дядя Миша перебирается ко мне:

— Отсюда и на нос, финальная точка.

— Летящей походкой?

Все смотрят на Витю.

— Брак по звуку сто процентов, — показывает он.

Вытирает лицо платком.

Мы переглядываемся — жалко терять такой кадр.

Тот снимает наушники и кричит:

— Вы бы еще в забой спустились!

Из рубки за нами наблюдают Степанов и капитан.

Судя по бледным, приплюснутым к стеклу лицам, они тоже нервничают.

Остров все ближе. Уже различимы надписи на валунах, причал с флагштоком, какие-то серые избенки.

— Ладно! — Витя уступает.

Я пробираюсь на точку:

— Готов.

— Камера?

— Мотор идет.

— Начали!..

3. АРБУЗНАЯ КОРКА

Я начал эту книгу, поскольку все, что было вычеркнуто из памяти или осталось в прошлом, неожиданно обрело голос. Не образы или чувства, не слова, но звук этого голоса, вот что я слышал. Он звучал все настойчивее и напоминал о вещах, ушедших из моей жизни. О том, что мое прошлое не исчезло, но обрело черты и наполнилось смыслом. В чем он заключался? Этого я не знал. Не обрывки мелодий или фраз, не забытые картины, которые приятно или тоскливо перебирать в памяти, а нечто, требующее ответа — вот что это было. Течение времени превращало прошлое в незавершенную историю. Чтобы разобраться в ней, я и начал записывать то, что записываю.

Пока мы колесили по стране, снимая то, что осталось от ее истории, во мне проснулась моя история. Я понял, что прошлое никуда не исчезло, а поджидает меня. Старый дневник, случайно попавший ко мне на съемках, только подтверждал это — тем, как неожиданно изменил мою жизнь. К тому же со временем мне было все лучше видно, что часть событий моей жизни так или иначе связаны с одним человеком. Часы, проведенные в кабине фургона, когда дорога разматывает мокрую ленту, а вокруг тянутся одинаково унылые пейзажи, или в гостиничных номерах, когда слышно, как за стеной любят друг друга люди или скрипит на улице снег под ногами пешехода, я с удивлением сознавал значение этого человека в моей жизни. То, как отчетливо моя история от него зависела.

Обиднее всего было то, что этот человек даже не догадывался, как глубоко проник в мою жизнь. Ни женитьба, ни рождение дочери не помогли мне избавиться он

него. Наоборот, именно семейная жизнь открыла мне глаза, какая это ошибка. Ведь жить с одним человеком, думая о другом, невозможно, это каторга. И я развелся.

Приезжая на съемки в тот или иной город той или иной одинаково бесцветной губернии, я ловил себя на том, что ищу знакомое имя в газетах или на экране, на афишах театров и в клубах. Блуждая по улицам Новгорода и Онеги, Анапы и Иркутска, Бологово и Старой Руссы, Северодвинска, Орла и Тобольска, Кемерово и Барнаула, просиживая вечера в безликих кафе и забегаловках, где всегда звучит одна и та же грубая музыка, я всматривался в чужие лица, если лицо хотя бы немного напоминало лицо этого человека. Даже в программу я пришел в надежде на чудо. На то, что, увидев меня на экране, человек даст о себе знать.

Но программы еженедельно выходили в эфир, а чуда не случилось. Никто не откликнулся и никаких писем не присылал. «Почему я вообще решил, что о моем существовании не забыто? — спрашивал я себя. — Что меня не выбросили из памяти, как выброшены и забыты тобой сотни людей...» Наверное, присвоив образ человека, мы наивно полагаем, что человек не сможет не ответить. Долгое время так считал и я — и ошибался.

Впервые я увидел Аню в эпизодической роли. Этот спектакль стал моим любимым, но только из-за пьесы. Она же, наоборот, раздражала меня. Притягивая к небольшой роли слишком много внимания, эта актриса мешала выстраивать спектакль — так я думал. Лишний акцент в безупречно собранной схеме, вот кем была Аня. Но прошло полгода — и я уже ловил себя на том, что весь спектакль жду только ее выхода, когда в белом балахоне она появится на помосте, перебирая венок из лилий. Обведет зал невидящим взглядом. Криво усмехнется горящими губами. Исчезнет за кулисой, покачнувшись, как от морской качки.

Я чувствовал эту качку. Я плыл на корабле, которым она управляла. Я был внутри игры, где театральная условность выглядела реальной. Это мгновение перехода я хорошо запомнил. От неожиданности я даже испугался, настолько тонкой оказалась грань между игрой и настоящим безумием. И обрадовался, потому что, перейдя эту грань, очутился рядом с Аней.

Когда в финале ее выносил актер, я верил, что Аня мертва, настолько тяжело и безжизненно висело на руках ее тело.

Ей не дарили цветы, на поклонах она и так стояла со своими лилиями. Не дожидаясь конца, Аня исчезала со сцены первой. Она сама назначала себе эту роль — непризнанной, но исключительной особы.

Мы познакомились из-за арбуза. Я купил его по дороге с дежурства, откуда вырвался на спектакль, на последнее действие. Купил по дороге арбуз, а потом просто влез на аплодисментах на сцену. Влез и вручил. Арбуз! Благодаря арбузу меня наградили настоящим взглядом. Он был снисходительным и пристальным. А те невидящие, что Аня бросала на меня в коридорах театра, настоящими не считались.

Зал смеялся и хлопал, а она стояла, обхватив арбуз, как обхватывают беременный живот, беспомощно и счастливо улыбаясь. Эта улыбка врезалась в память, хоть тогда я и не думал, какой редкостью станут такие улыбки в нашей жизни.

Серо-голубые глаза, прозрачный взгляд. Я бы назвал его холодным, если бы не тревога... Эта скрытая тревога, она проникала в того, на кого Аня смотрела — и у человека, говорившего с ней, возникало ощущение неловкости, как будто она куда-то опаздывает, а он ее задерживает.

Встретить якобы случайно после спектакля, в переулке у театра, предложить донести арбуз — таков был мой расчет. Но случился великолепный провал.

— Подарили, — спокойно сказала она. — Не оставлять же.

В пакете поблескивала бутылка с иностранной этикеткой. Аня смотрела то на нее, то на меня сквозь короткие густые щетки ресниц. Вопросительно и насмешливо, словно испытывая.

У меня в кармане лежали ключи от усадьбы.

— Какие шутки, — сказал я ей, — дворец, самый настоящий! Толстой даже изобразил его в романе! Теперь там советские писатели, а я — ночной сторож. Сегодня как раз моя смена, дворец к нашим услугам... Позвони, что задержишься, — я взял Аню под руку. — Покажу тебе.

Моя фантазия давно рисовала сцены любви с Аней в тихих московских квартирах. Но она отвела ладонь с двушкой:

— Не надо.

...Лампы фонарей раскачивались на ветру, швыряя тени с одной стены на другую. Машин, кроме последних троллейбусов, не было. Мы переходили бульвар на красный. Сунув в окошко розовые бумажки пореформенных денег, я покупал в палатке экзотические шоколадки, минеральную воду и сигареты. Шутил с продавщицей.

Шли дальше. Уличные запахи и звуки, блеск пуговиц на Анином плаще, замок на сумке — все это мне запомнилось, врезалось в память. Но разговор... О чем мы говорили? Что она спрашивала? Только за бульваром я опомнился — арбуз Аня держала под мышкой. Но когда переключивалась, он выскользнул. От удара куски разлетелись, а нутро вывалилось. По асфальту медленно растекалась черная лужа.

Не сговариваясь, мы перешли на другую сторону. Я загремел замком, открывая ворота. Мы пробрались внутрь и накрыли на рояле стол.

— Римская копия греческого оригинала, — звук моего голоса перекатывался под потолком. — Девушке около двух тысяч лет.

По легенде, эту Афродиту владелец усадьбы вывез из свадебного путешествия по Италии. Просто купил на раскопках в Риме и отправил в Москву, для парадной лестницы.

Посеревшая от пыли и захватанная, с отбитыми пальцами, последние полвека скульптура убажала советских писателей. Со скуки я любил подолгу смотреть на нее. В такие минуты мне казалось, что я чувствую энергию того, кто ее создал, что эта энергия передается через время.

Бутылка оказалась «Метаксой», приторной и теплой. Когда вдруг засипели и ударили часы, Аня выронила «писательскую» чашку. На полировке образовалось белое пятно.

Я взял ее за руку. Влажные и холодные, ее пальцы подрагивали.

— Это после спектакля, — она подняла глаза.

В полумраке лицо казалась юношеским, бесполом. Не отпуская ладони, другой рукой я обнял ее, вдыхая табачный дым и запах кулис, которыми пахли волосы, аромат духов, коньяка и другой, едва заметный, напоминавший гранат. Расстегивая крючки и пуговицы, прижимаясь губами к горячей коже, я успел поймать себя на мысли, что этот «темный» запах совсем с ней не сочетается.

В дверь под лестницей забарабанили. Я выругался, а Аня беззвучно рассмеялась и стала натягивать свитер, глядя на меня черными от расширенных зрачков глазами.

— Сволочи, — я торопливо застегнулся. — Писатели.

Из подвальной двери накатила волна кухонных запахов. Ударяясь о косяки, из ресторанного перехода ввалился литератор, проверил пуговицы на ширинке, искал безбровыми глазами кепку, забытую на вешалке, беспомощно икая.

На лестнице литератор пожелал облапать скульптуру, но потерял равновесие. Я привычно подхватил и вывел писателя на улицу. Заперев ворота, несколько минут стоял с ключами и не двигался, слушая, как в ночной тишине с глухим стуком падают яблоки и где-то за чердаками гудит невидимое Садовое. Ощущение *рубежа* — вот что я почувствовал. Во дворе старой усадьбы, в двух шагах от незнакомой женщины, которая вот-вот станет моей, жизнь менялась, одно время переходило в другое.

Об Анином прошлом я не расспрашивал. Да и разница в три года в нашем возрасте имела значение, чтобы напрямую допытываться.

По обмолвкам я знал, что она приехала поступать из маленького валдайского городка. Что поступила в ГИТИС только со второго раза, а год отработала в театраль-



ном журнале — сначала машинисткой, а потом, когда все обвалилось, редактором. Что снимала углы или жила у подруг. Потом познакомилась с австрийцем — тот гастролировал с пластическим театром. Провела одну зиму в Вене, но замуж не вышла, хотя он предлагал.

По ее словам, в Австрии она надеялась отыскать следы двоюродной бабки. Вокруг этой мифической родственницы разговоры крутились довольно часто. Еще девушкой эту родственницу вывезли из блокадного Ленинграда на Кавказ, а оттуда угнали в Германию немцы. После войны она осталась в Вене, вышла замуж. Но оккупационные войска, советские, все равно ее нашли и взяли. Она отсидела как изменница родины, а потом следы ее терялись. Аня думала, что после реабилитации бабушке удалось вернуться к мужу. Но под каким именем? Когда? И что с ней потом стало?

В самой Вене ничего не нашлось, но информация могла быть в архивах Лубянки, которые в то время открывались. И она вернулась в Москву.

Наверное, связь с австрийцем распалась именно из-за того, что в Вене Аня ничего не обнаружила. С тех пор этот австриец числился единственным «официальным» любовником. Аня всегда говорила о нем с уважением, как говорят о старшем брате. Вернувшись, она жила у знакомых в Томилино. А через год все-таки поступила и отучилась. Попала в известную труппу — тогда репертуарные театры переживали подъем. Даже сыграла в молодежной постановке «Амаретто», гремевшей в городе.

Постоянных поклонников, мерещившихся мне повсюду, она не завела. Или не хотела говорить о них. Хотя иногда, гуляя по центру, рассказывала, кто и как живет в доме, мимо которого мы проходим. Наверное, с этим домом у Ани было что-то связано. Но сколько таких домов в жизни каждого? Как часто мы вспоминаем о них?

Про мои адреса она не спрашивала.

Когда мы познакомились, Аня жила в комнате на улице Гастелло. Хозяйка-старуха была очередной дальней родственницей с Валдая, теткой отца или чем-то в этом роде, и запрещала водить хахалей, но сослепу мало что видела. Поэтому, когда Аня приводила меня, я крался по коридору без обуви, а она громко отвлекала старуху разговорами на кухне.

Окно в комнате выходило на крышу гастронома. Пока свет у хозяйки не гас, мы сидели на подоконнике и смотрели, как за деревьями ползут электрички. Потом Аня спускалась на крышу и бесшумно пробиралась вдоль окон.

Что было интересного в обычных московских кухнях, где между шторами изредка мелькнет голубая майка или мерцают перед экранами неподвижные лица? Что хотела увидеть актриса среди *машинальных* людей, погруженных в такую же жизнь?

Она оправдывалась: ей надо подсматривать «для театра». Но что-то мешало в это поверить. Не актерство, а желание убежать от себя, сменить жизнь — вот о чем, наверное, мечтала моя Аня. Но тогда я об этом не догадывался.

Походы на крышу чередовались со свиданиями в гримерке после спектакля — на кожаном диване, прилипающем к голому телу. Но чаще мы встречались у меня. В одно окно, узкая, как поставленный на бок спичечный коробок, эта комната смотрела во двор старого университета, где я учился. Мой приятель получил ее как дворник, но сам не жил, а уступил мне. Дом вскоре продали на реконструкцию, но что-то с новой стройкой не сложилось, и он стоял бесхозным, отключенным от горячей воды, заселенным такими же мертвыми душами.

В каморке все время звучал джаз — это Аня принесла из театра пластинки и проигрыватель. Кит Джаррет, Чарли Мингус, Эрик Долфи, Майлз Дэвис — она могла сутками не вылезать из моей дворничкой, валяясь на полу с журналами и вечной сигаретой под их тихое треньканье, как героиня из романа Кортасара.

Мы спали на матрасе поверх короткого топчана из досок. Чтобы удлинить этот топчан, я подставил в ноги чемодан с барабанами. Мой приятель-сокурсник оставил этот чемодан на хранение, когда его рок-группу вытурили из соседнего Дома культуры — во время репетиции они проломали рояль. Так оббитый дерматином сундук

попал ко мне в дворницкую. Я никогда не открывал его, но когда мы были вместе, когда я любил Аню, в сундуке что-то тренькало и позвякивало. Моя память сохранила каждый звук этой музыки.

Снег, падая на сухой асфальт, наполнял проспект шуршанием. Редкие машины ехали медленно, словно боялись оставлять следы. В одной из ночных амбразур, торговавших спиртным после полуночи, мы с Аней брали вино — в очереди таких же полуночных теней, жаждущих приключений. С бутылкой еще горячего, с конвейера, вина мы спускались в арбатские переулки. Аня требовала открыть. Я плавил спичкой пластиковую пробку. Неумело запрокинув голову, она делала несколько глотков и возвращала бутылку. Ночные переулки были похожи на коридоры в коммуналке.

Как-то ночью в одном из таких переулков мы наткнулись на съемки фильма. Кино из прошлой жизни: переулок, пролетка, полосатый столб, привратник у барского подъезда и физиономии ряженых артистов, знакомых по фильмам.

Несколько секунд Аня следила за тем, как известный актер, кутаясь в шинель, вылезает из пролетки, как они повторяют дубль. А потом развернулась и молча зашагала по переулку.

Я догнал ее, взял за руку. Обнял.

— Пойдем... Это рядом, — и потащил ее во двор дома.

Двор, обычно запертый, был открыт для съемок.

— Италия, — я следил за ее взглядом. — Видишь?

Аркада опоясывала двор как южное патио.

— Ты был в Италии?

Это была насмешка, ведь ни о какой Италии мы тогда даже не мечтали. Это была обида и злость — так, словно я виноват, что других снимают, а ее нет. Я это понял и пожалел Аню, сделав вид, что насмешки не заметил, через открытую дверь в стене молча провожая ее по лестнице вниз.

Когда пол в подвале выровнялся, я чиркнул спичкой. Аня присвистнула. Огонек высветил кирпичные своды, а когда я зажег еще одну спичку, из темноты выступили огромные бочки. Деревянные и заплесневелые, винные бочки выстроились одна за другой, как вагоны. А сам подвал напоминал депо.

В прошлой жизни в этом подвале хранилось вино.

Пока я гремел коробком, Аня исчезла.

— Попробуй, — голос в темноте был чужим.

Я поднес пробку к лицу. Толщиной с палец, деревяшка пахла уксусом.

Эта пробка хранилась у меня еще долго после того, как мы расстались. Я не забывал перекладывать ее из одной коробки в другую, перетаскивая вместе с одеждой, книгами и машинкой. Надо, думал я, чтобы пробка обязательно дожидка до времени, когда мы с Аней снова встретимся. В том, что это случится, я не сомневался.

4. ТАНКИ НА УЛИЦАХ ГОРОДА

Из форточки в комнату ворвался пряный осенний воздух. Аня подняла звякнувший об асфальт ключ, открыла подъезд.

— Не знаю, отменили, — легла на топчан. — Спектакля не будет.

Она играла в утренней сказке.

Я убрал пишущую машинку, включил чайник в розетку. Нашел чистый стакан и достал вчерашние коржики.

Вытянув руки по швам и выставив подбородок, она лежала как покойница.

— Ты читал все эти книги? — тихо спросила, не поворачивая головы.

— Эти?

Вдоль стены стояли стопки книг, о которых мне приходилось писать, чтобы заработать.

— Ты же знаешь.

Сколько раз я показывал ей заметки.



— Это новые?

— Да.

Аня вяло пролистала и отложила. С ней что-то происходило, это было видно — предчувствие еще не принятого, но неизбежного решения.

— В «Гриль»? — предложил я.

— Ты сегодня богач? — она приподнялась на локте. — Танки, — легла обратно.

— Что?

— На улице, надо послушать радио, — она следила, как я одеваюсь. — Не ходи, там никто не знает, что происходит!

Танк был один и стоял прямо у ворот во двор старого университета. По газону от гусениц тянулся его рваный след. На тротуаре валялась вывороченная решетка, еще кусок решетки свисал с брони танка.

В самом дворе сидели и полулежали прямо на жухлой траве военные и гражданские. Все они были вооружены. Еще несколько человек сгрудилось у железной бочки, стоявшей у памятника.

В бочке догорала факультетская доска объявлений. Они грелись у огня и разливали водку. Один совсем молоденький танкист нахлобучил гражданскому свой шлем. Они ржали — так смешно торчала из под шлема шапка-петушок.

— Ну что? — Аня сидела на подоконнике, обняв колени. — Стреляют?

Ближе к вечеру мы все-таки решили выйти за продуктами. Обычно людная, улица Герцена пустовала. В воздухе стоял запах листьев, прихваченных первыми заморозками. Пахло мазутом и почему-то рыбой.

Эту рыбную вонь я запомнил особенно. Она струилась из магазина сквозь разбитую витрину. Через окно виднелись аквариумы рыбного отдела; куски замороженной рыбы валялись даже на асфальте, они были похожи на крупную щепу.

— Вот ужин, — Аня попыталась шутить, но в голосе звучал испуг. В каком-то одновременно поразившем нас оцепенении мы разглядывали то, что недавно не могли и представить — разбитую витрину, написанные от руки ценники, белый, в разводах, фартук, забытый на крючке и теперь шевелившийся от ветра.

В этот момент и раздался щелчок — резкий, хлесткий.словно по сигналу этого щелчка на улицу выбежал человек. Он был в джинсовой куртке на цигейке и с автоматом, ремень которого скользил по асфальту — так низко человек пригнулся.

Эта цигейка и ремень мне тоже запомнились.

От следующего щелчка он вскинул подбородок. На полусогнутых, ставших ватными, ногах, цепляя асфальт ботинками, сделал несколько шагов. Упал, глухо стукнувшись лицом.

Мой взгляд превратился в объектив камеры. Объектив зафиксировал еще одного человека. Этот другой (в пиджаке на свитер и джинсах) подбежал к убитому и снял с него автомат. Закинул за спину. Отскочил за угол.

Окно над ним тут же разбилось, посыпались осколки и штукатурка.

— Сука! — «пиджак» вскинул автомат.

Я прижал Аню к стене, просто вдавил.

Снова щелкнуло и посыпалось.

Шаг за шагом, словно над пропастью, мы подбирались по переулку к спасительной двери подъезда. Мой взгляд зачем-то фиксировал ненужные вещи: рыжий горшок и марлю на форточке в окошке; то, как безмятежно подрагивает посольский флаг; звезды на воротах пожарной части.

Дверь подалась медленно, как во сне. Мы провалились в темноту. Во внезапной тишине подъезда мое сердце стучало так оглушительно, что я не слышал, что говорю Ане. Как успокаиваю ее.

Аня порезалась, царапина кровоточила. Она машинально слизнула красные бусины крови, а я невольно замер, как будто Анина кровь должна быть синей или зеленой.

— Это контора, — она прислонилась к стене. — Здесь никого нет.



Но она ошиблась.

В центре зала с низким потолком и окнами до пола был накрыт длинный стол, составленный из обычных письменных столов. Люди, сидевшие на стульях, креслах и тумбочках, служивших стульями, громко спорили. Каждый говорил, обращаясь ко всем сразу, отчего никто никого не слушал и не слышал. Только взрывы женского хохота подсказывали, что это от возбуждения люди не могут сдержаться и говорят разом.

Стоило нам войти в зал, как голоса сразу стихли. Только в дальнем углу кто-то сидел у телефона и разговаривал.

— В редакции — где? — доносился его будничным, усталый голос. — Потому что стреляют, почему...

Человек переложил трубку из одной руки в другую. Поправил на вспотевшем носу очки:

— Ты телевизор вообще смотришь?.. Что?.. «Шестьсот секунд»?

От стола к нам подскочил долговязый парень в несвежем сером костюме и протянул вату, чтобы Аня могла прижечь рану. В другой руке у него была водка.

Аня прижала вату с водкой к царапине. Под сочувственными взглядами незнакомых людей мы выпили то, что уже успел налить парень.

— Виталик! — окликнула человека у телефона немолодая яркая блондинка. — Виталий Вадимыч, вы с нами?

Виталик повесил трубку и вернулся за стол.

Откинувшись на спинку стула, я смотрел на людей за столом, но перед глазами белела цигейка в брызгах крови и ремень автомата.

Я налил, чтобы прогнать наваждение.

— Закусывайте, пожалуйста, — пододвигала шпроты пожилая дама.

Задумчиво, кутаясь в платок, приговаривала:

— Такие дела.

Вскоре про нас забыли, а шум и споры разгорелись по новой. Один, сухой старик-мальчик с трубкой резко, но тихо отвечал крупной даме. То и дело звучало «подонок», «эта сволочь», «давно пора было». Другой, похожий на бригадира из советских фильмов, говорил, что надо всех разогнуть, а потом всех переизбрать или устроить референдум.

— А Хасбулатова — под суд, — говорил он.

— И Ельцина, Ельцина!

Это поддакивали двое молодых людей — кучерявый очкарик в вязаной жилетке и высокий брюнет с восточными чертами лица. Они шутили по поводу всего, о чем говорили старшие.

Очкарика звали Гек, а имя второго я не расслышал, решив называть Казахом. Постепенно весь этот странный народец передвинулся на тот конец стола, где сидел Виталик. Незаметно перебралась к нему и Аня. Через пять минут она с несвойственным жаром и блеском в глазах рассказывала и даже изображала, что с нами случилось на улице. Во время рассказа все, кроме одного, взгляды обратились к ней. Этот единственный взгляд я ловил на себе: немолодая блондинка с лукавым, по-лисьи острым лицом, посматривала в мою сторону. Когда наши взгляды встретились, она улыбнулась и прижалась к Виталику; в ответ он по-хозяйски ее приобнял. Даже прижавшись к нему, она продолжала посматривать то на Аню, то на Гека, то на меня. Как будто уравнение решала.

Из разговоров я понял, что мы попали в редакцию газеты. Что редакция находится в актовом зале крупного издательства, где есть сцена и даже рояль — издательство по бедности сдает зал газете. Все эти люди, когда начался штурм Верховного Совета, пришли на работу. Да и сейчас никто ничего знал, кроме того, что показывали по CNN и говорили на радио: Белый дом расстрелян из танков, а «красные» разбежались по городу, где их добивает доблестная ельцинская гвардия. И выходить на улицу опасно.

— Будем ночевать! — очнувшись, восторженно закричала блондинка. — Виталик! Виталий Вадимыч! Нужен ваш теннисный стол.

На сцене за занавеской стоял теннисный стол.

— Уже занят, — отшучивался Виталик. — Так? Во-от...

Это была его присказка.

Их главным был явно этот Виталик, к которому без конца цеплялась блондинка. Обаятельный мужик с хитрой, хотя и добродушной физиономией, он выглядел на сорок с лишним, носил старый пиджак, обсыпанный перхотью и пеплом, а под пиджаком теплую жилетку.

Жилетка обнаружилась, когда он скинул пиджак и запел под рояль Вертинского. Пел он неплохо, правда, с каким-то хохлацким ражем. Через минуту у рояля очутилась моя Аня. Она напела мелодию из спектакля, Виталик быстро подобрал аккорды. И я снова перехватил тревожный взгляд блондинки. Ее звали Татьяна.

За окнами совсем стемнело. Из-за звуков рояля и пения, из-за шумных споров, которые не унимались, выстрелов на улице почти не было слышно. Только изредка ночное небо пересекали очереди трассирующих пуль, напоминая светящийся пунктир.

Потом кончилась водка. Пустые бутылки держал тот самый парень в несвежем костюме.

— Схожу! — Я услышал собственный голос. — Только скинемся.

— Так нельзя, давайте жребий, — вступила блондинка. — Опасно.

На сцене продолжали играть и петь на два голоса.

— У меня ларечник знакомый, — соврал я. — Нет, правда.

Уговаривать долго не пришлось, мало кому хотелось выходить под пули. Ко мне потянулись с деньгами, и скоро у меня набрался довольно большой ворох голубых и розовых фантиков.

Тем временем Виталик закончил с музыкой и, поцеловав Ане руку, помог сойти со сцены.

— Что тут у вас? — спросил он, подышав на стекла очков и выпятив серые губы курильщика.

Ему объяснили, что парень идет за водкой. Он протер очки, щедро добавил и попросил минералки.

По Калининскому проспекту медленно двигался бронетранспортер. Поворачивая задранный пушку, он выпускал очереди трассирующих пуль. По красивой дуге они плавно пересекали небо и растворялись в воздухе.

На проспекте и тротуарах толпились и слонялись сотни людей, как будто среди ночи в городе объявили праздничное гуляние. Люди несли флаги, многие были при оружии. Оружие, особенно у штатских, выглядело обыденно, словно это портфель или авоська. Флаги были всех мастей — красный советский, царский черно-желто-белый, несколько триколоров и даже один Андреевский. Вряд ли случайный прохожий смог бы определить по этим флагам, за кем победа. При звуках очередей многие вскидывали автоматы, шеголяя друг перед другом. В ответах фонарей их лица искажала ярость. Видно, никто из них до конца не понимал, что делает, зачем и над кем эта победа.

Витрины на проспекте побили, а магазины разграбили. Только один киоск чудом уцелел. Грузовики с водкой разворачивались у «Художественного» и подкатывали к этому киоску прямо через газон, давя кусты и клумбы и разгружаясь с борта. Очереди никто не соблюдал, просто из рук в руки передавали деньги — и от киоска поднимался ящик с водкой. Этот ящик плыл по рукам как гробик, а когда он доходил до крайних, внутри ничего не оставалось. Но толпа радостно редела, поскольку, стояло первому ящику опустеть, как над головами плыл второй, а за ним — третий.

Толкаясь в очереди, я думал о себе в третьем лице, настолько невероятным было то, что меня окружало. Этот *он* не боялся ни людей с оружием, ни шальных пуль, ни смерти, которую видел своими глазами. События этой ночи *ему* вообще



казались происходящими в другом измерении. Не там, где находились *он* и Аня, *его* каморка, университет, театр и даже редакция, куда мы случайно попали. А в это измерение *он* попал по стечению обстоятельств, из-за ошибки стрелочника. То, что *он* видел здесь, было как на экране. Станным было лишь то, что события на экране вдруг перешли границу реальной жизни, вторглись в нее. И *он* не знал, как к этому относиться. Принять ли эту новую реальность? Остаться зрителем? И можно ли быть зрителем в такой ситуации? Все это были вопросы, возникавшие сами собой и требовавшие ответа. Но ответа не было ни у *него*, ни у тех, кто окружал *его*. Только время, само течение жизни, могло все расставить по своим полкам...

Получив бутылки, я выбрался из толпы и бросился по переулку. Однако там, где полчаса назад не было ни души, теперь стоял военный грузовик, а под его прикрытием и милицмейская машина. Переулок закрыли. Несколько солдат в оцеплении переминались вдоль решетки особняка. Под решеткой, где стояла милицмейская машина, лежал навзничь труп. Я узнал малого в пиджаке и джинсах, стрелявшего по чердакам у рыбного магазина.

Было страшно и стыдно видеть неподвижным того, кто еще недавно бежал и стрелял. А милиционер, сидевший на корточках, продолжал равнодушно обыскивать карманы убитого. Что-то из найденного он прятал к себе, а что-то выбрасывал через решетку в кусты.

Мне сказали, что на чердаке работает снайпер. Я пытался объяснить им, но никто не обращал внимания. Существовал еще один путь — через арку заброшенной школы и двор училища. Я бросился туда, но оцепление выставили грамотно — в арке тоже маячили фигуры солдат.

В редакции, куда я попал под утро, был погром, самый настоящий. Мебель, еще недавно аккуратно сдвинутая, валялась перевернутой или сломанной. Ящики письменных столов кто-то выворотил, а содержимое вывалил и рассыпал по полу. Осколки бутылок, пачки фотографий, верстка газетных полос и куски печенья — все лежало вперемешку и хрустело под ногами. Только чудом не опрокинутая пишущая машинка возвышалась над столом. Из каретки у нее свисал наполовину отпечатанный лист и качался на сквозняке. Так же мирно блестел на сцене открытый рояль, на крышке которого стояла недопитая стопка. Все остальное было перевернуто вверх дном.

Я бросился к телефону, но провода были с мясом выдраны. Тут же раздался шорох — в дверях стояла Татьяна.

— Ключ... — сказала она тихо, словно сама себе.

Пошла по залу, осторожно переступая через осколки. Ее голос звучал буднично, ничего, кроме многочасовой усталости, не выражая. Загипнотизированный этим безразличным голосом, я тоже принялся за поиски, как будто знал, о каком ключе речь.

Потом Татьяна вынимала и перекладывала в сумку бумаги из сейфа. Я помог ей застегнуть молнию. Мы допили водку. Захмелев, на мои вопросы она только отмахивалась.

— Обыскали и распустили, — прикрыла ладонью зевок. — Все в порядке.

В шестом часу, когда оцепление сняли, мы вышли. Под ногами хрустели схваченные морозцем лужи. Из таксофона я позвонил на Гастелло, но трубку не взяли. А больше Ане звонить было некуда.

Пока я накручивал диск, Татьяна терпеливо ждала у перехода, предложив ехать к ней.

— От меня дозвонишься.

Мы поймали машину; по дороге, допив остатки, целовались.

Днем я проснулся в ее постели. За окном стоял яркий осенний полдень, подушка пахла увядшими цветами. Моя одежда, аккуратно сложенная, ждала в кресле, а записка — на телефонном столике.

Я машинально набрал номер. Занято. Глядя на дощечку с Кижамы, набрал еще раз. Снова занято. Я звонил, пока не сообразил, что набираю квартиру, где нахожусь.

5. О ЧЕМ ГОВОРИЛИ НОЧЬЮ

На песчаном пляже огромные валуны. Серые, выбитые в камне надписи: «Онуфриев Н.», «А. Босых», «Наташа и Вера Лебядкины из Дубровичей». Отметились даже «Работники ленинградского Пищестреста № 45 — 5/VII-1940».

Когда я возвращаюсь, наши устроились и курят на крыльце барака. Камера в траве похожа на жука-скарабея. Вокруг вертится собачонка, ее хвост смешно болтается. Тишина, пасмурно. После рева и грохота на море — Аркадия.

— У меня печь погуще, — зовет Степанов.

Я бросаю вещи на койку у окна. За печью еще закуток, отделенный занавеской. Топчан, матрас, одеяла. К фанере приколоты фотографии белокурой девочки. Над ней жестяная иконка Николая Угодника, проржавленная. На этажерке журналы «Охотник и рыболов» за 1979 год, газеты и тетрадки, сложенные в стопку. Запах плесени и дыма.

Серая тюлька легко скользит по леске. Я присвистываю — за окном, где два часа назад плескалась вода, голый песок и камни. *Урон* — по-местному отлив.

Беспомощно выставив рыжее днище, на боку лежит катер. Вдалеке по лужам бегают не то собака, не то кошка.

— Смотрите, — показываю.

Дрова падают у печки, Степанов отряхивается.

— Так лисы, — он выглядывает. — Рыбы в лужах уйма. Печку сами?

Я качаю головой: «Не умею».

Он берет с полки журнал, рвет и комкает страницы. Терпеливо, как маленькому, показывает, как заложить дрова и сунуть бумагу, где заслонка.

— Только поглубже, — показывает. — Натощкает.

В смысле — чадить будет.

«Охотник и рыболов» отсырел, горит плохо. Вдыхая сизый дым, я чувствую себя так, словно все это уже случилось: изба, печка, как не занимаются дрова... Или еще случится.

— Ужин через час, — круглое лицо Степанова в окне.

Я улыбаюсь в ответ:

— Хорошо.

На столе вареная картошка, тушенка, бутылки и медовый тортик от Вити, который не может без сладкого.

Степанов со всеми чокается и опрокидывает рюмку. Несколько секунд сидит, выпятив нижнюю губу, и смотрит в одну точку. Потом убирает рюмку и принимается за еду.

Картошка, а потом и чай одинаково горчат.

— Морская просачивается, — объясняет Степанов, — в грунтовую.

После ужина он сметает в миску объедки (говорит — *ошурки*). Собачонка, прикончив еду, гоняет пустую миску по полу. Миска громыкает, в какой-то момент Степанов одним ударом сапога загоняет ее под лавку. Собачонка скулит.

Постепенно разговор все громче. Этими байками о том, что и с кем на съемках приключилось, я сыт по горло. Надоело.

— А как они говорят «киоск»? — дядя Миша вспоминает Владивосток, где мы снимали крепость. — «Киосок»!

Степанов пробует слово на язык: «Киосок... киосок».

— Или «повешался», — говорит техник.

В смысле — «повесился».

— Это что, — оператор. — У нас на Валааме... — Он тянется за бутылкой. — Помнишь, Вить?..

Витя жует тортик.

— Сидим в скиту... и вдруг — монахи!

Все улыбаются и смотрят на Степанова. Я беру одну из бутылок и киваю Севе: «Уходим?»



Сева показывает глазами: «Догоню».

— В люлю? — Степанов тоже встает.

— Пройдусь, — неопределенно мотаю головой.

— В сенях бахилы.

На улице тишина, только сосны шумят. Валуны на берегу облиты лунным светом. Воздух от воды искрится. Поверхность моря исчерчена потоками. Они струятся, это прилив.

В темноте звенит стаканами Сева. Мы садимся на камень, но Сева тут же встает.

— Что такое?

Шарит ладонью:

— Смотри-ка...

Из камня торчит железное кольцо размером с баранку.

— Вьюха, — говорит Сева.

В Двинске он купил словарь поморского языка и теперь щеголяет.

Мы чокаемся и выпиваем. Несколько минут сидим молча, смотрим на воду.

Сева знает, что я хочу спросить, и начинает первым.

— Тело кремируют в Двинске, — говорит он. — Урну заберем в Устье. Все.

Тишина.

— Он из детдома, — Сева как будто оправдывается.

— Урну? — выдавливаю я.

— Отвезем на канал, пусть разбираются.

Я поворачиваюсь к Севе, но вместо лица вижу только блестящие линзы.

— Почему? — спрашиваю линзы.

— У каждого своя смерть.

— Даже нелепая?

— Даже.

— Какой смысл в нелепой смерти?

— Что вы как маленький, — отвечает Сева. — Оставьте хоть что-то без объяснений. Это не математика.

Потоки воды складываются на поверхности моря в иероглифы. Наверное, он прав — но почему все во мне протестует? Почему кажется подлостью?

— Это затронуло вас лично, — тихо объясняет Сева. — Затронуло и напугало. Вы же о себе подумали? Себя пожалели?

Он обводит стаканом берег:

— А сколько народу исчезло здесь? Или в Двинске? Почему вы не думаете? Таких же молодых, ни в чем не виноватых.

— Но ведь мы были вместе, Сева. Мы...

— Вам жалко себя, — перебивает он. — Перестаньте жалеть себя, и все пройдет.

Это же судьба в чистом виде, божий промысел. Винить некого.

Его линзы сверкают совсем близко:

— Или вы судьбы боитесь?

Я разливаю остатки.

Сева вздыхает, потом пьет.

Тишина, только из избы долетают взрывы хохота.

— Вы знаете...

Он несколько секунд думает.

— Это уже не первый раз, когда мы с *ним* сталкиваемся... — Он показывает на монастырь, чья стена белеет в лунном свете. — Я про Никона. Помните Макарьевский?

— Где Никон был послушником...

— *Трудником*, — поправляет Сева. — А этот монастырь построил в силе, патриархом. Вторым лицом государства.

Он оживляется:

— Помните, мы говорили: патриарх Никон и протопоп Аввакум родились и выросли по соседству? В соседних деревнях — буквально.

Честно говоря, не помню.

— Понимаете? Люди, ставшие на полюса жизни страны, были соседями. Из одного теста, одной породы. И такой мощный и разный взлет. Разлет. В разные концы истории. Почему?

Мне не очень понятно, куда Сева клонит.

— Но перед этим судьба сводит их в Макарьевском. Что-то вроде репетиции, да? Больше там ученых мест ведь не было. И вот они приходят из своих сел. Ничего не зная друг о друге — встречаются. И несколько ночей спорят. До утра, до хрипоты — монахи слышали. А потом расходятся в разные стороны, чтобы сойтись через много лет в большой истории.

Сева любит такие парадоксы.

— О чем? — спрашивает он, поблескивая линзами. — О чем они спорили, два человека, определившие жизнь страны, *что* не поделили ночью в монастырской келье? Какую мысль не договорили?

В бараке тихо стучит дверь. По траве шелестит струя.

В такие минуты мне кажется, из Севы получился бы неплохой ведущий. Страстный, эмоциональный рассказчик. Не то что я.

— А если это конфликт поколений? Между старшим и младшим братом... — говорю я. — Только в государственных масштабах. Была же разница в возрасте...

— Пятнадцать лет.

— Вот видите. В какой-то момент младший всегда начинает строить свою берлогу. Свою Вавилонскую башню.

Сева молчит, потом отвечает:

— Кончили они одинаково.

Я соглашаюсь:

— Каждый упал со своей башни.

— Вы-то на чьей стороне?

В его голосе улыбка.

— С какой башни падать?

Несколько лет назад я, не задумываясь, ответил бы: «С Аввакумовой». Но теперь говорю:

— Не знаю.

На следующий день сеет мелкий дождь, но к обеду неожиданно светлеет. Это самая хорошая погода для съемок, и дядя Миша торопится, гонит всех на выход.

После полудня перебираемся с улицы в храм. Когда Степанов отпирает дверь, и мы входим, я замечаю, как Сева украдкой крестится.

Теперь нужно поставить свет, это работа осветителя. Я смотрю на его кофр, как на ящик Пандоры. Наконец дядя Миша, чертыхаясь, вскрывает его. Мы ставим лампы, тянем кабель. Наконец Сева шелкает тумблером. Готово.

От света храм словно раздвигается. Купол и ниши уходят в глубину, появляется объем. Такое ощущение, что храм не забросили, а просто не достроили.

Пока наши доснимают в храме, у меня есть время, и я решаю изучить остров. Хотя... что тут изучать. Через пять минут слепая тропа выводит по хребту на перешеек, слева и справа валуны, море. Вот и весь остров. А дальше, через пролив, Малый.

Я перехожу по камням на ту сторону. Малый остров совсем крошечный, тропа быстро упирается в рощу, а дальше обрыв. Над обрывом между двух сосен заросший холмик. Деревянный крест, поперечина, висит на гвозде пустым рукавом, а сам холмик обложен камнями.

Несколько минут я молча стою над крестом, кутаясь от ветра. Ни надписи, ничего. Безымянная могила.

После ужина все разбредаются по комнатам. Устали. Витя, пока работает дизель, подключает компьютер, остальные режутся в карты. Дядя Миша ушел к себе за перегородку. Сева, сложив на груди руки, дремлет у печки.

Я возвращаюсь в избу.

Степанов не спит, возится за занавеской.

— Алексей! — Я хочу спросить про могилу.

Занавеска отодвигается:

— Аю?

Он слушает, пощипывая ухо:

— Вам для передачи?

— Нет, зачем...

— Это ж легенда.

Помолчав, он рассказывает.

— Давно, в пятидесятых. Два бича, он и она. Пара. Откуда — никто не знал, а сами не распространялись. Начальство на зиму даже керосин выдало. Вроде платы за охрану. Хотя — от кого охранять? Полгода остров и так заперт.

— Как это — заперт? Землю вон с берега видно.

— Так лед не схватывается, — отвечает Степанов. — Из-за реки, течение же. В сплошное крошево. Ни на лодке, ни пешком. До апреля.

Степанов чему-то посмеивается, а я не могу поверить: быть отрезанным от всех, когда до земли рукой подать...

— Метафора какая-то просто.

— Аю? — Степанов не понимает.

— И что могила?..

Он снова выглядывает из-за занавески.

— Я и говорю, в зиму один так заболел, что без специальных лекарств никак. И второй пошел, на лодке пошел. А когда вернулся, тот, больной, уже помер. Ну и похоронил его. Я мальчишкой был, точно не знаю. Но, говорили, так было.

— И что потом? Который остался?..

— Весной исчез, — Степанов пристально смотрит на меня. — Когда пришла партия — ни его, ни лодки. Только могилка.

Сморит на этажерку:

— И вот.

Он приподнимает журналы, тянет.

Из стопки сыплется труха и мышинный помет.

— Дневник, тридцатые годы, — протягивает тетрадку Степанов. — Только страницы на растопку повыдрали.

— Бичи — и дневник?

Честно говоря, мне немного страшно открывать эту пухлую, в черной дерматиновой обложке, тетрадку.

— Так они из образованных, — говорит Степанов.

Он приглаживает жидкие волосы и снова пристально смотрит.

— После лагерей таких на Севере много было. Тут прописку не спрашивают.

6. ЧЕЛОВЕК С МИКРОСКОПОМ

Дневник неизвестного:

«В тот день мне сказали, что в школу приехал человек с микроскопом, и все желающие могут посмотреть в этот прибор. Микроскоп я видел только в энциклопедии и сразу же ринулся в школу. Не застав человека, я страшно расстроился. Но вскоре мне посчастливилось познакомиться с ним.

Этим человеком был наш новый школьный инструктор Сергей Поршняков. Наше знакомство произошло вот как. Узнав, что этот самый Поршняков интересуется всякой всячиной, я пришел к нему с карманами, набитыми окаменелостями с берегов Увери. Узнал в школе адрес и явился.

Дверь открыл темноволосый, с небольшой бородкой, человек в роговых очках, под которыми скрывались светлые глаза. При близоруких глазах взгляд его был на удивление прямой, очень спокойный и внимательный. Принял он меня радушно.



В крошечной комнате с окнами на реку было много книг. На столе, занимавшем полкомнаты, стояли спиртовые препараты и научные приборы. Несколько географических карт на стенах и даже подзорная труба. Все это говорило о широких интересах хозяина и о том, что он человек из мира, не похожего на тот, который окружал меня в Дубровичах.

Вскоре наше знакомство с Поршняковым перешло в дружбу. И это при разнице в возрасте! Он как будто взял надо мной шефство, негласную опеку, рассказав обо всем диковинном, что хранилось у него в доме, дал почитать книги по истории края, научил, как работать с микроскопом, открыл мир инфузорий. И главное, решительно посоветовал поступить на службу в городской музей, где он и сам в ту пору работал.

Штат музея, помимо Поршнякова, состоял из директора и сторожихи-уборщицы Агафьи Капитоновны. Но для меня тоже нашлось место, правда, без особой специальности. Работа сразу понравилась, хотя мне, конечно, не доставало того поршняковского самозабвения, с которым он отдавал жизнь изучению родного края. Особенно радовало то, что по работе приходилось сталкиваться с различными отраслями промышленности. В поисках материала я побывал на стекольных фабриках и каменоломнях, заходил на наши знаменитые заводы огнеупорных материалов. Даже на бумажную фабрику меня однажды пропустили. А ведь еще несколько лет назад я был мальчишкой, не смевшим помышлять о подобном.

В музей часто звонили из НКВД, чтобы разобрать какое-нибудь имущество — церковное или вымороченное. После одного такого звонка несколько дней провозился я с наследством некоего Ивана Беляева, бывшего фабриканта глиняной посуды нашего города. Этот Беляев оказался предусмотрительным малым, прикрыв дело ровно перед самой революцией. Репрессиям он не подвергался, но судьба все равно нашла его — дожив до глубокой старости, он был убит с целью грабежа своими квартирантами — девкой Фишей из деревни Барышево и ее любовником.

Родных у старика не было, поэтому имущество перешло в НКВД. Так я оказался в его мрачном доме, стоявшем у городских ворот. Странное чувство суждено было испытать мне, разбирая вещи старого скряги. Все знали, что последние годы он жил бедно, чуть ли не подаянием. И вот оказалось, что все комнаты, кладовые, подвалы и чердак в его доме буквально забиты вещами. Тут обнаружил я глиняные садовые вазы в большом количестве, почти не ношенные, но окончательно изъеденные молью шарфы и шубы, самовары с царскими клеймами, дамские шляпы довоенных времен, сотни глазурированных горшков, ящики с печными изразцами, десятки бидонов с олифой, стопки дореволюционных журналов различных обществ, несколько патефонов и горы пластинок к ним, печатные машинки и целый сундук с иконами из церкви, которую недавно взорвали.

Среди хлама подвернулась мне тетрадь, исписанная довольно корявым почерком. В ней старик пытался дать что-то вроде воспоминаний. Владел он пером едва, но тетради все равно каким-то чудом передавали дух эпохи. Забегая вперед, скажу, что свой дневник я начал писать после беляевских тетрадей.

Примерно в то время я начал писать стихи. Как это случилось, сейчас не помню. Знаю только, что никакого специального толчка или желания не было. Просто стал писать, и все тут. Но что делать дальше пишущему человеку? В литературе тогда владычествовал недоброй памяти РАПП во главе с великим инквизитором Авербахом. А я писал лирику... и никаких шансов быть услышанным не имел. Но поскольку никакой поэт не может жить в одиночку, я принял решение послать свои вирши какому-нибудь известному стихотворцу.

Выбор пал на Всеволода Рождественского. Он не стоял в первой пятерке советских поэтов, но мне нравились его стихи за то, что в них говорилось о солнечных днях, о дальней дороге, о светлой юности.

Спустя время в Дубровичи пришел конверт на мое имя. Рождественский ответил хорощим, подробным письмом. Он писал о моих стихах, что это стихи пока еще

неискушенного в поэзии человека, но что “в Вас есть главное — воображение и способность чувствовать за внешним миром его подлинную материю”. А мастерство и голос придут со временем сами.

Уже будучи студентом, в Ленинграде, я пришел к нему в гости. Рождественский вспомнил меня. Мы провели целое утро в душевной беседе. Он читал свои ненапечатанные стихи, а я, робея, свои. Потом он рассказывал о жизни Максимилиана Волошина, которого я давно включил в число *своих*. Вспомнили мы и Гумилева... С волнением смотрел я на автограф Николая Степановича: лист бумаги, исписанный некрупным, ровным почерком красными чернилами. Это были стихи из “Огненного столпа”.

Возможность выступления в печати меня почти не интересовала. А два-три стихотворения, случайно опубликованные в “Красном Балтийском флоте”, в расчет я не брал. О печати я думал, как о деле преждевременном.

Позже я попытался перестроиться на современный, рапповский лад, и начал писать о том, что требовало время. Правда, из этих попыток ничего не вышло. Но благодаря им я понял важную вещь, что поэт становится поэтом, когда идет своей дорогой, когда он прав только перед собой и богом поэзии Аполлоном, а на всяком ином пути поэзия превращается в *ничто*. Побившись сколько-то времени, я решил: раз мне скучно писать на заказ, я не поэт, мне следует замолчать. И замолчал. Молчание еще более убедило меня в отсутствии поэтического дара, ибо принято считать, что поэт молчать не может. С другой стороны, разве не бывает длительный сон души? Разве не молчали десятилетиями Фет и Рембо?

Я не писал много лет, невзирая на настояния Поршнякова, моего вечно сурового критика. Скажу сразу: в многогранной натуре этого человека жила настоящая любовь к поэзии. То глубокое, интуитивное ее понимание, какое теперь так редко встречается даже в среде культурных людей. Поклонник жизни с большой буквы, он был влюблен в поэзию. Конечно, он осуждал меня за мотивы упадничества, но в то же время называл преступлением мое поэтическое молчание.

Рабфак в Дубровичах окончен. Что дальше? Кем быть? Взвесив все *за* и *против*, я решил идти на биологический факультет Ленинградского университета.

Поймет ли молодежь, поступавшая после школы, что значит в тридцать лет переступить заветный порог? Первая лекция на Среднем проспекте, химия. Острое ощущение новизны. И тут же досадное открытие: ты не умеешь следить за лекцией, не можешь аккуратно вести записи. Слишком отвлекаешься, не следишь за мыслью.

Дело в том, что учебу в Ленинграде я расценивал как период жизни, который нужно ощутить во всей полноте. Ведь потом, когда судьба забросит меня куда-нибудь в тьмутаракань, что мне будет вспомнить? Именно эта мысль мешала мне погрузиться в занятия. А еще то, что биологические науки по-настоящему так и не заинтересовали меня. История — вот к чему продолжала лежать душа.

В первый месяц учебы мне выпало настоящее студенческое крещение. Денег, кроме тех, которые я получал, продавая свои книги, нет. Обращаться к родным нельзя, они сами еле сводят концы с концами. Да еще без хлебной карточки. Так и пришлось до самого октября жить на кипятке и черном хлебе. На рынке, где я отоваривался, случались истории. А какие типы... Вот паренек продает девушкам тексты песенок из кинофильмов. Вот у забора вполголоса поют о смоленской Божией Матери две черные монахини. Вот торговки миногами, которых гоняет дежурный милиционер (“Эй вы, со своими змеями!”). И я — брожу среди них, прицениваюсь. Смотрю голодными глазами.

...Однажды к нам в комнату № 100 подселили историков. Сразу стало шумно, весело и невозможно заниматься. То грубоватый вятич Филипп Криницын схватывался с рогачевским евреем Борисом Гуревичем, имевшим плохую привычку в разговоре придвигаться к собеседнику — дескать, какой он историк, если путает детей Ярослава Мудрого. То женственный Леша Бабиц читает стихи Луговского,

Багрицкого, Пастернака. А вот сельский учитель из Белоруссии Лашкевич тягучим голосом повествует о своих любовных похождениях.

Вскоре историки переехали, но я долго еще скучал по ним. Их разговоры заставляли меня думать о главном: а была ли у нашей страны другая дорога? Бывает ли вообще в Истории выбор? Какое влияние человек и его идеи, пусть самые ничтожные, мелкие, оказывают на ход событий? На подобные вопросы наши преподаватели не отвечали. Да и задавать их в то время было небезопасно. Но как человеку жить без ответов на эти вопросы...

1 декабря 1934 года. В этот день я пришел в общежитие поздно, засиделся на Мойке у однокурсника. Разделся, повесил пальто. Где все?.. В комнате у печки только Федя Дорохин.

— Иди, наши там, — он говорит, не поднимая головы, глухим голосом. Ничего не спрашивая, бегу в столовую.

В столовой поют “Интернационал”. Опоздал, расходятся! Какая тяжелая, недобрая тишина... Что? Что случилось?!

— Кирова убили, — наконец выдавливают Криницын.

— Кто? Как? Зачем?

— Ничего не знаю. Убийца задержан.

2 декабря 1934 года. Четыре часа утра. Весь университет во дворе, тысячи человек. Мы идем прощаться с Кировым. На улице морозный туман, камни на набережной покрыты инеем. Мы идем. Со всех концов стекаются молчаливые, темные в предутренней мгле колонны людей. Над головами знамена с черными каймами. Мы идем.

Мы поднимаемся по ступеням Таврического. Где-то звучит музыка, тихая. Она все громче, громче. Входим. В высоком зале среди пальм, под склоненными знаменами семи республик возвышается постамент. На нем в цветах гроб, в гробу — Киров. В первое мгновение он кажется огромным. Его пожелтевшее лицо точно выбито в камне. Темные пятна на угловатом широком лбу. Тяжелый, волевой подбородок. Неподвижность.

Почти у всех на глазах слезы. Я тоже прячу лицо. Да, сегодня в этом зале каждый дает себе какую-то великую клятву. На всю жизнь. На все времена. Клянусь себе и я.

Еще вчера я спрашивал себя об Истории — какой в ней смысл? Куда она движется? А теперь слышал ее чугунную поступь. Эта История была совсем не та, о которой нам говорили на лекциях. Или о которой мы рассуждали с ребятами. Она была настоящей, бесповоротной, равнодушной в своем неумолимом, каком-то почти природном движении к человеку и тому, что он делает. Стирающей или накрывающей все на своем пути — как ледник или тьма. И эта тьма окутывала нас.

Выстрел в Смольном прозвучал как объявление войны. И недолго оставалось ждать ответного шквала. Но против кого? Мы, студенты комнаты № 100, только гадали. Конечно, жесточайшие репрессии применяют к тем кругам, представителем которых был убийца. Но что это за круги? Шпионско-диверсантские? Старо-интеллигентские? Ясно было одно — прямые виновники увлекут за собой в бездну других. Тех, кто состоял в родстве или был связан знакомством, обстоятельствами жизни. Даже случайной встречей, разговором.

И вот — началось. Листки на университетской доске приказов. Читаю:

— Исключается из числа профессоров... Исключается из числа доцентов... Исключается... Исключается... Исключается...

Одним из первых — Маторин, профессор исторического факультета. Когда-то он работал личным секретарем Зиновьева. Следом исчез декан того же факультета Зайдель — ему было предъявлено обвинение в организации террористической группы в Академии наук. Потом по университету разнеслась весть, что расстрелян студент четвертого курса Сергей Транковский. И дальше, дальше — без счета, без перерыва... Страшное время!»



7. БАНКА ИЗ-ПОД КОНФЕТ «МОЦАРТ»

Степанов сидит на корме, на ящике с песком. Сапоги у него блестят на солнце. Он по-кошачьи щурится, провожая взглядом остров, чья серая полоска стремительно сужается на горизонте. Снова мечтательно прикрывает глаза.

Я догадываюсь, о чем он сейчас думает — что все изменится. Что после нашей передачи начальство прикажет решить проблему. Деньги, конечно, разворуют, но что-то же останется? На это «что-то» он заделает крышу братского корпуса, а если повезет — и купол.

Какое дело Степанову до монастыря, если даже стране этот монастырь не нужен?.. Он переводит на меня взгляд, я опускаю глаза. Ни один из выпусков нашей программы еще никому не помог, мне это хорошо известно. Его остров исключением не станет.

На море штиль, наши на палубе — курят, сплевывают. Фотографируются. Слушают байки дяди Миши и даже смеются — не байкам, а хорошему настроению, потому что съемки позади, мы возвращаемся.

В сумке у меня давешний дневник. Я перебираю в памяти эпизоды, фразы. Ничего особенного, но как упрямо этот человек смотрит в свой *микроскоп*. И это его знание — свое, внутреннее. Такое невозможно приобрести с чтением или опытом. Откуда оно? Ведь никакого опыта у него, до тридцати лет ходившего в мальчишках, не было. А *микроскоп* был... и знание тоже было.

Войдя в реку, катер прибавляет обороты. Снова безразмерная, удвоенная облаками линза воды. Лысые берега, причал. Песчаная полоска берега и наш фургон.

Я сбегаю по доске первым.

— Ну как?

— До Москвы дотянем, — мрачно отвечает Игорек.

Пока мы обнимаемся, за его спиной терпеливо ждет молодой человек в костюме и галстуке. Кажется, я знаю, зачем он здесь.

— Безлюдный, — представляется он.

Рука у него прямая и твердая.

Он и Сева отходят к уазуку, который приехал за Степановым. Через минуту Сева машет рукой: «Подойдите».

Безлюдный помогает открыть картонную коробку. В коробке лежит большая круглая банка из-под конфет «Моцарт». Несколько секунд мы молча смотрим на красную крышку с портретом композитора. Потом Безлюдный расправляет листок, а Сева достает ручку.

Степанов долго прощается, трясет каждому руку.

Наши благодарят за остров.

— Алексей, нет — правда...

— Мы много где, но...

Очередь доходит до меня.

— Забрал тетрадку, — пожимаю мягкую ладонь.

— Ну и слава богу.

Он шамкает губами как бабка.

Игорек сочувственно поглядывает в мою сторону. Он в курсе, *что* мы везем.

— Остальным — ни слова, — прошу я.

Хотя зачем? За неделю на острове об осветителе никто даже не вспомнил.

До Двинска двести километров по тайге, но груженный фургон будет ехать часа четыре, поэтому на выезде народ просится в магазин.

— Только по-быстрому, — тон у Михал Геннадича деловой.

Наши вылезают.

— А вы? — Сева.

— Пакет кефира, ладно?

Коробка стоит там, где сидел осветитель. Перегнувшись, открываю и достаю банку. Тяжелая, и не подумаешь, что пепел столько весит. Перекладываю банку в свой пакет. Прячу под сиденье.



Через десять минут наш фургон мчится вдоль моря. Пока асфальт не кончился, Игорек газует. Берег утыкан дачными домиками, но по карте видно, что скоро дорога уйдет в тайгу. Пора.

— Извини, забыл, — говорю водителю.

В смысле, приспичило.

Машина, шелестя гравием, скатывается на обочину. В наступившей тишине что-то шелкает и потрескивает под капотом. Какой-то сверчок допеваает, дотягивает свою песню. Но вскоре он стихает.

— Не расходимся, — толкаю дверь. — Дядя Миша, проконтролируй.

Сосны шумят где-то над головой. Начался отлив, камни выросли из воды. Прыгая на песке, скидываю обувь, закатываю джинсы.

Вода ледяная, а песок на дне плотный.

— Подождите! — это кричит Сева.

Я оборачиваюсь — в своем длинном черном пальто он похож на шахматную фигуру.

«Черт бы тебя побрал».

Когда джинсы намокают, кое-как вынимаю банку. Сначала она никак не открывается, я даже ломаю ноготь. Когда крышка съезжает набок, пепел вырывается из банки и струится по ветру как газовый шарф. Он оседает на воду и превращается в рябь, бегущую к бесконечно недостижимому берегу.

Несколько черных комков падают в воду. Все, дело сделано. Только один вопрос — что теперь делать с пустой банкой? — сводит с ума.

— Ну! Давайте! — снова кричит Сева. — Замерзнете!

На душе легко и спокойно, как бывает, если выполнить то, что не мог не сделать. Вот только банка...

Сева помогает выбраться, протягивает фляжку. Коньяк обжигает, и по телу, пока я обуваюсь, растекается тепло. А Сева торопливо набирает в банку песок. От ветра полы его пальто развеваются как крылья, теперь Сева похож на крупную птицу. Он прячет банку с песком в пакет. Я киваю: под бумагой подпись, мы должны привезти на канал хоть что-то. В том, что ни одной живой душе не придет в голову открывать банку, можно не сомневаться. И мы, разделившие с этой минуты никому не нужную тайну, идем по песку к машине.

8. ДВА ПОТЕРПЕВШИХ

Я посчитал: ровно неделя с той ночи, как исчезла Аня. С тех пор как мы не видели друг друга. Значит то, что произошло, не случайность или недоразумение, и нужно не ждать, а действовать. Но как? В расписании театра ее спектаклей не значилось. У меня в комнате-коробке Аня тоже не появилась. А когда я приехал на Гастелло, хозяйка просто захлопнула передо мной двери.

Я решил выбрать наблюдательный пункт рядом с домом, в заброшенном особняке у железной дороги, в комнате, бывшей конторе, откуда Анино окно было как на ладони. Я приходил сюда каждый вечер. Приходил, садился за пыльный стол и ждал. От грохота электричек мутные стекла в комнате дребезжали. Звенела крышка старого чайника, подпрыгивала и брякала ручка пустого письменного ящика. А я сидел и смотрел через улицу.

Напротив одно за другим зажигались окна. Люди приходили с работы, дом наполнялся жизнью. Только Анино окно оставалось темным. Эта слепое пятно словно говорило, что Ани нет и не существовало. Что это не мы целовались на крыше над улицей. Не смотрели в чужие окна. Эти окна горели как прежде — неярким светом. Внутри там тоже ничего не изменилось — те же синие майки, мучнистые лица. Но теперь между мной и этими окнами стояла стена. Прозрачная, она отрезала меня от мира — вместе со старым особняком, где я прятался.

Зачем я бросил ее в редакции? Зачем сыграл роль мальчишка на побегушках? Зачем, зачем... Днем, забросив учебу, я бродил по улицам. Вматривался в лица —



вдруг что-то или кто-то подаст мне знак. Смеялся над тем, каким по-детски нестерпимым было желание, чтобы Аня сию минуту оказалась рядом. Иногда внутренний голос подсказывал, что ничего страшного не произошло. Надо просто забыть о ней, если она поступила так со мной, исчезнув. Выбросить из памяти, пусть время лечит. Но желание оправдать себя побеждало. Я отвечал себе, что ищу Аню только с одной целью — чтобы узнать, в чем моя вина. Что без меня Аня счастлива и спокойна.

Постепенно в моем воображении прочно обосновался образ Виталика, человека из редакции. Сколько ни гнал я его, сколько ни говорил себе, что это невозможно, она и он, — голос подсказывал: ответ на все вопросы рядом с этим человеком. Аня и он чем-то были связаны, еще задолго до всего, что случилось.

Единственной зацепкой оставалась Татьяна, но записку с телефоном я выбросил, а адреса не запомнил. Да и как смотреть в глаза после того как исчез и не позволил...

Каждый день я поднимался на последний этаж, барабанил в двери редакции, но те только безучастно гремели. Тогда я садился перед окном на лестнице и смотрел вниз на улицу. Двери оставались запертыми, а улица менялась. Привкус нового, непривычного, тревожного витал в воздухе. Даже люди изменились. Выражение беспокойства, неуют и надежды — вот что теперь читалось на их лицах. Глядя на людей, я испытывал зависть, ведь они могли жить внешней жизнью. А я жил внутри того, что произошло, внутри себя. Сидя на площадке с полукруглым окном, где еще не убрали пепельницу с окурками той ночи, я заметил, что идет снег. Но когда же осень сменилась зимой? Этого я не помнил.

Внизу опасно задирали головы прохожие. Чистил снег солдат из пожарной части — спокойными, размеренными движениями. Как же мне хотелось быть на месте этого солдата: ни о чем не думать, ничего не планировать, никого не искать, а только чистить снег и ждать, чистить и ждать...

И вот то, за чем я охотился, случилось. Как если бы своим многодневным ожиданием мне удалось выпросить у судьбы подачку. Это произошло вечером на улице Герцена. Сначала из магазина «Свет» вышел молодой человек — и я сразу узнал одного из тех, Гека. Гек держал в руке коробку, а другую протягивал Татьяне. Да, это была она. В короткой юбке и красной курточке, отороченной пегим мехом, Татьяна опасно переставляла каблуки по скользким ступенькам.

— Ба, пропащий! — она подняла глаза. — Здравствуй!

Сырой и снежный воздух тут же наполнился ее визгливой, торопливой речью.

Судя по тону, она не держала обиды на то, что после той ночи я так и не позволил, или умело скрывала. Гек стянул перчатку и коротко пожал руку. Втроем они потащились вверх к бульвару, утапывая снежную кашу.

— Чего не заходишь? — спросил Гек. — У нас новое место.

Имелась в виду редакция.

— А где?

— Новый Арбат. Ты ведь пишешь?

Пока он рассказывал о газете, Татьяна делала вид, что разглядывает фотографии в окнах ТАСС. Надо сказать, что этот Гек все больше раздражал меня своим развязным тоном и тем, что сразу перешел на «ты», что читал и даже запомнил мои заметки о книгах, что мешал поговорить с Татьяной.

«Сбить бы его школьные очки, дать по уху».

Словно читая мысли, он сунул мне коробку.

— Давай, держи. Всего хорошего!

Гек попрощался с Татьяной и развернулся в другую сторону. Оставшись вдвоем, мы пошли дальше к Пушкинской.

— Только ничего не говори, — сказала она и мягко взяла меня под руку, поправляя красный волосатый беретик.

Мокрый снег под ногами чавкал, коробка глухо стучала.

— Ты не переживай, — погладила по рукаву.

— Чего мне переживать... — грубо соврал я.
Она прижалась ко мне.
— Мы оба потерпевшие, — сказала, не глядя на меня.
Я зачем-то хмыкнул.
В глазах Татьяны мелькнуло что-то подлинное, тусклое и горькое. Жалость ко мне, к себе.
— Это даже хорошо, что ты... — недоговорила она.
Посмотрела из-под беретика.
— Она вернется.
— Что?
С коробкой в руке и открытым на полуслове ртом я стоял на бульваре и ловил воздух.
— Скоро!
Она поцеловала меня и тут же вытерла помаду. Забрала коробку и, не оборачиваясь, засемила к метро по бульвару. А я стоял и не знал, что делать, ликовать или плакать, потом развернулся и медленно пошел обратно к памятнику.
Сложив руки на животе и опустив голову, словно передразнивая памятник, у постамента ждал Гек.

9. ПРАКТИКА ГАВАЙСКИХ ЗАКАТОВ

Оказывается, Гек не ушел, а ждал на бульваре, когда мы расстанемся. Почему он решил, что я не поеду с Татьяной?..

— Выпьем? — предложил он. — Домжур?

Развязный тон сменился просительным. Теперь передо мной стоял обычный близорукий молодой человек в шапочке-петушке.

В Домжуре бывать мне не приходилось, да и перемена в тоне Гека заинтриговала. Чего это он?.. И я согласился.

По его «корочке» нас пустили в нижний бар. Пока Гек двигал табуреты у стойки, я с любопытством осматривался. Обстановка тут была как в советских фильмах про границу — джаз, ночники на столиках и зеркальный шар под потолком.

— Слава! — Гек поднял руку в приветствии.

Бармен невозмутимо кивнул и продолжил крутить полотенцем в стакане. Цепочка на его очках покачивалась в такт.

— Лучший в Москве, — зашептал Гек. — Про тебя рассказываю! — это он произнес громко.

Слава дотронулся до галстука и наклонил голову.

Денег хватило на водку, сок и пару бутербродов.

— Конечно, тут не Америка, — Гек поднял рюмку.

— Ты был в Америке? — мне хотелось подловить его — поездка в Штаты считалась событием.

— Да.

Я осекся, а он помахал кому-то рукой.

Дама в открытом платье в ответ улыбнулась.

— Ты знаешь, они... — он ткнул пальцем за спину, — меня заклевали. Татьяна эта, Виталий Вадимыч... Говорят, мы тебя отправили в Америку, а ты, что ты привез, что написал? Я пытался объяснить. Честно, что это главное. А Татьяна идет пятнами, за сердце хватается. Главный ржет как мерин. Будешь слушать?..

Неужели он ждал меня на бульваре только для того, чтобы рассказать про Америку?

— Давай.

Со слов Гека выходило, что в Штаты его отправил главный редактор, тот самый Виталик. Это была стажировка на Западном побережье. И вот теперь ему, Геку, надо было со мной посоветоваться.

— После курса, — продолжал он, — нам полагался творческий отпуск. На Гавайях. Чтобы там, на океане мы спокойно все написали. Ну... об американских ценностях. Вот я и написал. Что для меня... Что у них...

Он отставил пустую рюмку и открыл сумку.

На стойку легли исчерканные странички машинописи. Он поднял глаза, потом опустил голову.

— «Чаще всего человек думает, что о закатах ему все известно, — начал читать он. — Между тем, есть закат и закат, и разница между ними как между дачным спектаклем и оперой. Тихое увядание, исчезновение — вот классический русский закат средней полосы. Солнце садится долго, но его не видно. Оно там, за лесом, куда взгляду невозможно проникнуть. Русский закат — это всегда недосказанность, незавершенность, фон, на котором так хорошо предаваться мечтаниям или грусти. Другое дело — океан. Тут солнце не тихий гость, это уход с большой буквы. Так уходят даже не короли, а боги. Всесильные боги, которым нет дела, что на них смотрят. Русский закат всегда один и тот же, в этом его обаяние — фатум, милый нашему сердцу. На океане закат разный. Бог не повторяется, каждый вечер у него новое представление...»

Гек пропустил страницу:

— Ты слушаешь?

Я был идеальным слушателем.

— «В тот день на небе с утра бродили тучи. Низкие и однообразные, они не предвещали ничего интересного. Только опадали и надувались, опадали и надувались. И когда их разносило, они висели на небе как промокшие простыни. Пока, наконец, не случилось вот что: неожиданно брюхо самой крупной тучи лопнуло. Из образовавшейся дыры хлынул поток ослепительного солнечного света. Этот луч белого света обшаривал воду, а туча бороздила небо, как подводная лодка. Искала кого-то или охотилась.

Между тем, над самым горизонтом наметилась своя история. Нежные и белые, маленькие облачка плыли на фиолетовых тучках как парусные лодки. Они выстроились в ряд наподобие флотилии и тихо покачивались на воде, пока луч из тучи не ударил по головному суденышку и не расшиб его вдребезги. Потом второе, третье... Лодочную флотилию ждал бы разгром, но тут неожиданно выглянуло солнце. Тут же все разом переменялось. Солнце выглянуло из-за мыса, чтобы побыстрее исчезнуть в море, но не тут-то было! Заметив солнце, и туча-лодка, и полуразгромленная флотилия бросились за ним в погоню. Даже громадный дредноут, всплывший над горизонтом, и тот поплыл в сторону заката.

Он шел к месту сражения медленно, словно на буксирах, и вскоре перегородил полнеба. На палубе дредноута лежал человек-Гулливер. Он лежал навзничь, подняв голову-облако и выставив шишкастый нос. Он лежал с закрытыми глазами, а челоусть у него отвисла. Дредноут оказался катафалком, это были похороны.

Чем быстрее ускользало солнце, тем яростнее рычал океан. Уже не в один, а в два-три яруса громоздились волны. Валы шли один за другим, и стоило одному с грохотом рухнуть, как вырастал второй, а за ним третий, еще выше и страшнее. Шум океана складывался и распадался на тысячи громов. Не океан, но оркестровая яма, где рвет струны взбесившийся оркестр, вот что я слышал. Увертюру к оперной драме.

Но никакой драмы не было. В последний момент солнце ускользало, скатывалось за горизонт. Тут же подводная лодка и катафалк с Гулливером исчезали тоже. Всего несколько минут — и там, где мчалось полчище, теперь порхали комочки пуха. Не падая, они кружились, словно кто-то дирижировал ими, как будто художник набросал их в небо специально.

Так моя жизнь на океане превратилась в киносеанс. Каких только сюжетов, райских и апокалипсических, я ни посмотрел в этом кинотеатре. Какие только сражения, любовные и военные, ни развертывались передо мной. Однако самое интересное ждало впереди. *Green flash* — так называли это явление местные жители...»

— Все это хорошо и красиво, — перебил я. — Но идея? В чем смысл?



Он сложил листки:

— Разве этого мало?

Вид у него был обескураженный.

— Ты пишешь «бог», «божественное», — мне захотелось помочь ему. — Но, говорят, в палестинской пустыне закаты тоже фантастические. А боги у них с евреями разные.

Гек снял очки и посмотрел на меня тихими серыми глазами:

— По-моему, на Гавайях бога вообще нет.

— Тогда — почему?

Он нацепил очки.

— Может, идея божества возникает из отсутствия?

Пауза.

— В пустыне только на небе что-то. А внизу...

Снова снял очки, потер переносицу:

— Здесь ничего, там — все. Внизу — камень, жара, смерть. Наверху — движение, воздух, жизнь. Вода. А на острове человек протягивает руку и просто срывает то, что нужно для жизни. Там и там изобилие. Ты это имел в виду, нет?

— Для начала...

Идея увлекала его, хотя никакой палестинской пустыни он не видел. Это была очень русская вещь — такого рода заочные выводы. Иногда они приводили к открытию, но здесь... А еще меня смущало, что по какой-то неясной причине Гек считал меня и Виталика друзьями. Он говорил со мной так, словно у меня есть влияние на этого человека и я могу помочь ему. Так впервые в жизни я почувствовал себя самозванцем.

— Ты поэт? — пришло мне в голову.

Он смутился:

— С чего?

— Ты смотришь на мир как поэт.

— Ты не знал?

Теперь он заговорил прежним, небрежным тоном.

— Нет, откуда.

— Ну, может, Виталий Вадимыч...

Я снова почувствовал себя самозванцем.

— Нет, он ничего не говорил.

Пауза.

— Пишу.

— Печатаешься?

— Печатают.

— Книги?

— Пока нет. Но ты молодец, — он ушел от разговора, — что подсказал. Спасибо.

— Покажи, у меня есть издатели, — предложил я.

У меня действительно были знакомые.

Гек повертел пустой рюмкой, полез было в сумку.

— Да ну, — бросил листки обратно. — Лучше приходи на вечер.

— Стихи?

— Да-да, — в голосе звучало раздражение, как будто он жалел, что признался. — Что же еще.

— Давай.

Он назвал адрес на Чистопрудном, число — на днях.

— Постараюсь, — пообещал я.

Но про себя знал, что приду точно.

Самозванец я или нет?

На бульваре мы разошлись — он в сторону Нового Арбата, а я вниз по Герцена. Ничего не узнав о той, которую искал, я обогатился гавайскими закатами и знакомством с поэтом. В том, что Гек настоящий поэт, я не сомневался.



10. ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНый И СНОВА ЖЕЛТЫЙ

Этот клуб в Сверчковом переулке открыли недавно, и в подвале еще стоял запах штукатурки. Повесив куртку на железный прут, я двинул по коридору. Налево и направо открывались небольшие сводчатые залы. В одном стояли выкрашенные в красную краску стеллажи, тут размещалась книжная лавка. В другом работала кухня. Вход в третий закрывала черная портьера.

Я подошел к доске объявлений. Судя по очкам в тяжелой оправе, рисунок на афишке изображал Гека. К виску художник пририсовал пистолет, с другой стороны болталась на веревочке пуля. Пущенная из игрушечного пистолета, пуля прошла навывлет, что, по мнению художника, выражало суть поэзии.

В большом зале работало кафе. Ряды стульев делали полукруг у помоста, поэтически обрамленного кулисами. Остальное место занимали столики.

— Один? Заказано?

Это спросил подскочивший брюнет-коротышка.

— На вечер, — ответил я.

— Поэтический! — тут же согласился он.

Он вывел меня в коридор и приподнял портьеру. Тут находился зал для чтений, но ни Гека, ни слушателей пока не было.

— Здесь! — показал распорядитель. — Через полчаса начинаем. А пока можно скоротать время в баре.

Оценив его «скоротать время», я вернулся к стойке. В честь начала зимы в баре разливали глинтвейн (в то время — модная штука). Не зная, куда девать себя, я взял стакан и прижался к стене.

Не успел я пригубить, как меня окликнули. Это был Гек, он сидел слева от входа с каким-то типом.

Тип носил на голове поэтическую шевелюру и тянул пиво. Гек быстро пожал руку, а тот, второй, устало повторял, что «мы в восторге от ваших рецензий, просто в восторге».

— Тут и устроим, — они продолжали начатый разговор. — Сцена, звук. Мы что, зал не соберем? На одного Негодникова сколько придет... А будут еще и серьезные авторы.

— Да, да... — вяло тянула «шевелюра».

Так прошло полчаса. Все это время, пока они разговаривали, Гек озирался. Видно было, что он нервничает или кого-то ищет. Наконец, когда подошло время, к нам подскочил коротышка:

— Ну что, — он сделал приглашающий жест. — Начнем?

От этого лакейского, подсмотренного в каком-нибудь фильме жеста мне стало не по себе. Но делать было нечего, вечер начинался.

Только что пустой, зальчик наполнился. С трудом отыскав свободный стул, я устроился у выхода и помахал Геку, который проверял микрофон и пил из стакана.

На вечер собралась разношерстная публика, но почти все были знакомы между собой. То, что некоторые не подавали друг другу руки, бросалось в глаза тоже — в поэтическом мирке шли свои войны.

На первом ряду сидели совсем молодые люди, студенты, и господин чиновничьего вида. Сунув портфель под лавку, он поправлял в нагрудном кармане платок, а ногой проверял портфель.

Вдоль стен слонялись долговязые красотки в джинсах, непонятно как попавшие в этот угрюмый подвал. Рассаживались ученого вида дамы с авоськами на руках. Какой-то парень с косицей методично обходил их. Когда он наклонялся, чтобы вручить афишку, косица свешивалась. Привычным движением он убирал ее. Те благодарили и прятали афишки в авоськи с продуктами.

Справа от микрофона, почти на сцене, разговаривали двое. Дама с большими накрашенными губами что-то рассказывала немолодому, по плечо, человеку с мелкими, словно сдутыми чертами. Дама что-то шепотом доказывала, а «сдутый» делал вид, что внимательно слушает, не забывая кивать входящим.



Представляла Гека некая литературная дама. Судя по тому, каким благоговейным стало выражение у Гека, она была его редактором. Несмотря на возраст, редакторша носила зеленые обтягивающие брюки. Кривая полуулыбка, с которой она вышла к микрофону, не слезала с ее лица. Она выступала довольно долго и путано, хотя интонация чувствовалась хвалебная. Закончив, с той же неровно приклеенной улыбкой она разместилась в первом ряду.

Когда вышел Гек, раздалось несколько хлопков. Он поднял к лицу бумажки, они дрожали. Гек сначала читал тихо, но уже через минуту стихи зазвучали громко и отчетливо, без поэтических подвываний, которые мне меньше всего хотелось слышать. Недостатком было только то, что он спешил, словно стеснялся отнимать время.

Стихи Гека кишели яркими, иногда даже нелепыми образами. Тут было небо, которое колется как шерстяной свитер. Спящая на телефоне кошка. Челюскинцы, дрейфующие на льдине. Говорящий укроп и античные статуи. Как и с закатами, он нанизывал и нанизывал образы. Однако здесь они складывались в подобие сюжета, и этот сюжет не давал им рассыпаться.

Ритм и рифмы были традиционными, но стихи звучали свежо и ново. Эта свежесть заключалась не в экспериментах с языком, а во взгляде на мир. Как будто поэт видел мир и вещи впервые после долгого сна, после того как забыл о них. И это ощущение передавалось слушателям.

Вскоре после начала портьера бесшумно отодвинулась и кто-то вошел. Этот *кто-то* встал у меня за спиной, и теперь те, кто оборачивался, чтобы посмотреть на него, смотрели на меня тоже.

Я не выдержал и обернулся. Это был знаменитый Александр Коробко, поэт-шестидесятник, недавно с помпой вернувшийся из эмиграции. Несмотря на приглашающие жесты из первого ряда, он сел у стены. А Гек сделал вид, что ничего не заметил, хотя голос его осекся.

Что делал знаменитый поэт на подвальном вечере? Неужели пришел специально — чтобы послушать Гека? Не успел я подумать, как портьера поднялась снова. Между стихами, когда Гек пил воду, можно было пройти на свободное место, но тот, кто стоял за спиной, не двигался.

Я решил, что мешаю, и поднялся.

Это была Аня!

Ее нерешительный, выпрашивающий взгляд, тихая улыбка, блеск зрачков... и вот я забыл, кто и что вокруг, забыл все, что случилось раньше; обида и страх, ревность и злость — все это улетучилось, стоило мне увидеть ее.

Когда я посадил Аню к себе на колени, несколько взглядов тут же метнулось в нашу сторону. Но какое мне было дело до них теперь, когда я прижимался губами к ее затылку...

Снег колыхался над Чистыми мелкой сеткой. По той стороне летел похожий на аквариум трамвай, а здесь машины обдавали тротуар снежным месивом.

— Он не обидится, — спросил я, — что мы сбежали?

— Конечно.

Пауза.

— Как ты здесь?

— Пригласили.

— Кто?

— Кто и тебя.

Вышли на Покровку, встали на светофоре. Красный, желтый, зеленый, красный. Желтый, красный, желтый, зеленый. Мы целовались, и люди, чтобы перейти улицу, беззлively обходили нас.

Потом я ловил машину.

— Нет, пожалуйста, налево.

Она отстранялась, чтобы показать дорогу.

Машина поворачивала в другую сторону.

— Куда...

— Ты что, торопишься?

В окне засверкал Калининский проспект. Несколько секунд вагоны метро на Бородинском мосту летели вровень с нами, пока не исчезли в тоннеле. Потом потянулись каменные комоды Кутузовского. Когда дорога ушла на Рублевское, вокруг выстроились пластины многоэтажек.

— Здесь налево и снова налево.

В темноте Аня хорошо ориентировалась.

11. КВАРТИРА С ДВУМЯ ТУАЛетаМИ

Разлапистые, в засаленных пуфиках, диваны; полупустая, и от этого кажущаяся огромной «стенка»; нечищенные, хотя и не старые, с пятнами от сигарет, ковры, одинаковые в прихожей и гостиной; почти такого же рисунка, что обивка на диване, шторы; столы и кресла дорогого советского гарнитура; цветной, но по нашему времени уже несколько антикварный «Рубин» — вся эта обстановка в квартире, куда мы попали, обладала тем удивительным свойством, что ничего не говорила о своих хозяевах.

Через десять минут Аня вернулась из ванны и теперь стояла с полотенцем на голове — чужая, взрослая, в чужом халате с белыми яблоками.

— Нравится? — она улыбалась.

— Чья это квартира?

— Наша.

Я молча вышел в прихожую и взял куртку.

— Что ты как маленький...

Она встала в дверях.

— Ты ничего не рассказываешь.

— Ты тоже.

— Я ждал тебя, мне рассказывать нечего.

— Ну хорошо, хорошо, — она взяла меня за руку. — Прости.

Кухня была настолько большой, что в ней поместился диван. Мы сели. С ее слов выходило, что эта квартира Виталия Вадимыча, Виталика. Что в тот злополучный вечер, когда полгорода перекрыли, он просто привез ее сюда, поскольку имел депутатский пропуск.

— Больше-то проехать было некуда.

Сам он, продолжала она, в этой квартире не жил, а давно переехал к любовнице. Ее знал по театру — спектакль, где она с лилиями, ему понравился, они даже напечатали рецензию. А тут мы, такое совпадение.

— Он депутат от Украины. Съезда, первого — помнишь? Ну, бывший. Семья на родине, сам тут редакторствует. Любовницу ты видел, острая блондинка за сорок, Татьяна, тоже из редакции. Квартира ведомственная, по советской схеме — вместе с мебелью и посудой. Сдавать почему-то не хочет.

Аня открыла шкафчики, где аккуратными стопками лежала посуда с клеймами.

— Даже ножи казенные.

Погремела в ящиках.

— Все ж перекрыли, а тебя не было.

Она напирала на это «не было».

— Привез и к своей уехал. Посмотри, сказал. А понравится — оставайся.

Умоляюще посмотрела на меня.

— Сколько можно по углам? А тут ванна. Два туалета.

Потащила смотреть туалеты.

— В этом грибы, — закрыла дверь. — Он разводит. Свет не гаси, ладно?

— Ладно.

Чем дальше мы кружили по квартире, чем радужнее рисовались картины нашей совместной жизни, тем больше мне хотелось верить в то, что я слышал. Ревность



рисовала в воображении отвратительные картины, как она и *этом*... Но мечта спать в спальне, а не на топчане, завтракать в чистой кухне и говорить по домашнему телефону, а не бегать в таксофон на улицу — разве это не то, чего я хотел?

— Но почему... — мне не терпелось узнать, что она делала после той ночи. Но и это легко объяснялось. Утром после событий она уехала по срочному вызову на Валдай — что-то с разделом имущества и завещанием, поставить подпись. Хотела предупредить, но в моей университетской каморке меня не застала.

— Ты же там без телефона, — оправдывалась. — Не телеграмму же посылать... Зато теперь у нас изба в деревне. Можно летом. Ты печь топить умеешь? А баню? Хочешь? Я раньше умела.

— Хочу.

Единственной вещью, мешавшей принять новую жизнь, было то, что ночью тот самый Виталик ни у какой любовницы не ночевал по той простой причине, что эту ночь его любовница провела с другим человеком. И этим человеком был я.

Так, с недоговоренности, началась эта *семейная* жизнь. Зона безмолвия, где и Аня, и я запрещали себе что-либо спрашивать, стала частью этой жизни. Но сейчас, вспоминая ту зиму, я готов сказать, что именно в чужой квартире мы провели самое счастливое время.

В шкафу мои рубашки висели теперь рядом с ее платьями. Просыпались и укладывались мы тоже вместе. Ужинали, смотрели телевизор... Все это тривиально, но, испытанное впервые, навсегда остается в памяти. Вот и моя память зачем-то хранила Анину вечно расхристанную зубную щетку, то, какой маркой шампуня она пользовалась, как постоянно забывала закрыть крышку от тубика, и та вечно закатывалась. Желтая губка и бирка на пижаме, чашка, из которой она пила кофе, недокуренная сигарета со следами кофе или помады, то, в каком порядке стояла в коридоре обувь... Вот Анин зонтик с рисунком английского флага, вот ложка для обуви. Плетеные тапки со смятыми задниками. Я помнил бижутерию под зеркалом и само зеркало — с календариком под зажимами. Щетку с запутавшимся волосом. Часики «Чайка» на радио. Книжечку расписания репетиций и спектаклей в театре, прижатую магнитом к холодильнику. Магнит в форме лондонской телефонной будки. Пометки фломастером, сделанные в книжечке, и сам фломастер, висевший на леске от бус, которые я рассыпал. Следы зубов на колпачке — изучая репертуар, Аня держала колпачок во рту.

Большую часть времени в чужой квартире проводил именно я. Стучал на машинке, звонил в редакции, валялся перед телевизором. А потом ехал в город, чтобы встретить ее после спектакля.

Она играла часто, но все это были роли в массовках. Актерского роста они не давали, а времени отнимали много. Когда Аня уходила на утреннюю репетицию, я, полусонный, закрывал двери и снова ложился. Потом просыпался окончательно, завтракал и курил на балконе. Садился за машинку барабанить обзор в очередную однодневку.

Иногда я уезжал на несколько дней к матери, и Аня жила одна. Время от времени она уезжала тоже: на короткие гастроли в провинцию. Единственной просьбой, когда она уезжала, была просьба не подходить к телефону.

— Пусть думает, что я одна, — пожимала плечами. — Кому охота чувствовать себя идиотом?

Я обижался, но стоило Ане закрыть двери, как внутренний голос убеждал, что так действительно лучше. Что нехорошо лишать Виталика подобного мизера. Слова для внутреннего голоса находились легко, и я был рад верить им. Жизнь в отдельной квартире была слишком безмятежной, чтобы портить ее подобными мелочами.

Виталик звонил редко, но когда звонил, они с Аней часами болтали. Никакого подвоха, разговор только в приятельских тонах. Но катастрофа все-таки случилась. Это произошло весной, когда я вернулся от матери, а Ани еще не было. Я поискал ее расписание, но книжечка репертуарного плана завалилась за диван. Там и обнару-



жился этот проклятый ремень. Среди комков пыли — чужой мужской ремень; он лежал так, словно его только вчера бросили.

Конечно, да — конечно, Виталик. Кто же просто так отдаст квартиру? Все эти ночные разговоры, телефон, не отвечающий, когда он уезжал — те самые мелочи, ставшие вдруг кричащими. Воображение рисовало мне отвратительные сцены, которые происходили в квартире в его отсутствие. Я видел подробности так, словно сам снимал на пленку. Ревность и обида захлестывали меня, но через минуту тот же самый внутренний голос нашептывал, почему *еще* этот ремень мог здесь очутиться.

Когда Аня вернулась, ремень лежал на диване. Я специально положил ремень на видное место и теперь ждал. Но ничего, кроме досады, на лице Ани не отразилось. Она тщательно скрутила ремень, бросила в шкаф и насмешливо смежила ресницы:

— Где нашел?

— Там, куда вы его бросили.

Пауза.

— Что ты сейчас ищешь? — она.

Я ходил по комнате, невидящим взглядом скользя по предметам.

— Крышку от машинки.

Пауза.

— На подоконнике.

Пауза.

— Уходишь?

Замок на крышке щелкнул, я поднял и вынес машинку, поставил в коридор к ботинкам.

— Вещи потом, вот ключ, — на телефонном столике брякнула связка.

Аня пожала плечами и вышла на кухню, усевшись спиной к двери.

— Или ты хочешь что-то сказать мне? — не выдержав, крикнул я из коридора.

Она молчала.

— Это то, что я думаю?

— Какая разница.

— Какая?!.. — я опустил на пол.

— Если ты так думаешь, какая?

— Ты хочешь сказать...

Она резко поворачивалась.

— Я ничего не хочу сказать.

— Так я ухожу?

В тот же момент, как я задал этот беспомощный вопрос, сражение, не начавшись, закончилось. Теперь Аня могла придумывать что угодно... или не говорить ничего — никаких прав выяснять и спрашивать у меня больше не было. Не ей, а мне предстояло вымаливать прощение.

Однако история, которую рассказала Аня, превзошла даже те картины, которое рисовало мое воображение. Оказывается, ремень этот принадлежал не Виталику, а австрийцу, с которым Аня жила в прошлой жизни и о котором вскользь рассказывала. И вот на днях этот австриец вернулся, предъявив права.

— Не знаю, откуда! — кричала Аня, глядя в пустое окно. — Нашел, позвонил, напросился. Сказал, что у него есть что-то о моей бабке. Что хочет передать. Тебя же не было!

Монотонно, с паузами на глубокие затяжки, Аня рассказывала, а я сидел на полу в коридоре, оглохший от боли, и не понимал, как быть дальше, как жить.

Австриец, рассказывала Аня, ползал на коленях и клялся, что не может ее забыть. Готов увезти, взять замуж. Готов на все ради одной ночи. А когда Аня попыталась выгнать его, набросился и взял силой.

— Он массажист. Не руки — тиски.

Показала синяки.

— Потом сказал, что ждет в «Национале». Будет еще неделю, если решусь уехать.



Аня рыдала, а я молчал. Внутри все оцепенело, покрылось льдом. Что остается, когда жизнь кончилась? Жалеть? Ненавидеть? Простить? Если да, то за что? И кого? Чтобы ответить на подобные вопросы, нужен опыт, но никакого опыта у меня не было. Ни бросить ее, ни быть рядом я не мог.

Когда она заснула, я еще сидел на кухне, а ближе к утру лег на край постели. Уснул, тут же проснулся. Принятое решение было единственно возможным, и я, одеваясь, с наслаждением представлял, как врежу ремнем по холеной круглой роже (почему-то лицо негодя представлялось круглым), как австрийца перекосит от недоумения и боли. А я будет хлестать и хлестать...

Через сорок минут я вышел на станции «Проспект Маркса». Шел мокрый снег, пустую площадь покрывали огромные лужи. Отражаясь в лужах, гостиница «Москва» напоминала печатную машинку.

Я потянул дверь, та тяжело подалась. Из фойе ударил теплый воздух, пахнувший утренняя кофе, табаком и сдобой, наполненный бодрыми разговорами и звоном посуды.

Под настороженными взглядами привратников, оставляя на красной дорожке следы от снега, я прошел к стойке.

— У меня встреча с господином...

Губы с омерзением выговорили немецкое имя.

— Как вас представить? — человек снял трубку, другой рукой открыв журнал.

Я молчал.

Рука с трубкой медленно опустилась, рычаг щелкнул. Человек за стойкой еще раз прошелся пальцем по странице, покачал головой.

— Гостей с таким именем в нашем отеле нет.

Я попросил проверить, уточнить — может быть, съехал? Если да, то когда и куда?.. Но повторный поиск тоже результата не принес. Человека из Австрии с таким именем в «Национале» в прошедшем месяце не проживало.

12. МОСКВА — «МОСКВА»

С тех пор как я пришел на программу, Москва отодвинулась в дальний угол. Города, где я родился и вырос, который так любил, больше не было. То, как быстро он исчез под натиском нового времени, еще недавно причиняла боль. Но со временем эта боль притупилась. Раз города, который я любил, больше нет, пусть новый не будет иметь ко мне отношения. Если те, рядом с кем ты идешь по улице или едешь в метро, москвичи, лучше быть кем угодно, но только не жителем этого нового и некрасивого, населенного чужими и грубыми людьми, города.

Данте называл себя «флорентийцем родом, но не нравами». Так и мне, чтобы выжить в новом городе, требовалась дистанция. Нужно было приучить себя не принимать этот город, не впускать внутрь. Называть его и думать о нем *в кавычках*, отделить от себя. Возвращаясь в «Москву» со съемок и все меньше узнавая город, я убеждал себя, что рад этому. Чем хуже, тем лучше, пусть поскорей зарастет травой.

Боль проходила, но мне хотелось уничтожить даже память о ней. Будь в «Москве» гостем, туристом, говорил я себе. Смотри на все, как если бы тебя окружал Пномпень или Гонолулу. Наблюдай с бесстрашием исследователя жизнь во всех проявлениях, почаще напоминая себе, что исчезали и не такие города мира.

Но с каким трудом давалось мне это бесстрашие! Как некая буддийская практика, оно требовало ежедневной работы ума и сердца, памяти. Хотя никаких гарантий, что эта работа приведет к освобождению, не было.

Я жил в «Москве» постояльцем: от одной поездки до другой. Сидел в Интернете или за книгами, собирал материалы. И ждал, ждал — когда наш фургон выползет за ворота студии, а потом и за кольцевую, и дальше, дальше...

За «Москвой» нас встречала страна, чье прошлое лежало в руинах. Но это были руины, а не пустота. Эти руины завораживали, поскольку по ним, как по книге,

читалась история. Не та история, которую расписывали в книгах, придумывали в школе или показывали в патриотических фильмах. В полуразрушенных и заброшенных, никому, кроме нас, не нужных дворцах и монастырях, усадьбах и фабриках лежало настоящее прошлое. Это прошлое было свободно от настоящего. Но именно в нем заключался смысл того, что происходило сегодня — шифр, ключ. Но в чем? И какой? Этого я понять не мог.

Все это были новые и важные для меня вопросы. Встречаясь с друзьями, чтобы поделиться мыслями, я ждал отклика. Но за время на съемках те, кого я считал друзьями, превратились в самодовольных сытых людей, кому не интересно ничего, кроме собственного благополучия. А когда я говорил об этом, меня со смехом вышучивали. Мне было жаль их, но чаще я жалел себя. Ведь это я не сумел стать таким, самоуверенным и безмятежным. Это я — изгой, не вписавшийся в жизнь и новое время. Это я — неудачник, пропустивший свое счастье, если вообще знающий, что это такое.

Постепенно мы перестали говорить об этом. А потом перестали встречаться. Я бы остался совсем один, если бы не моя племянница Маша. Удивительно, что именно в компании ее приятелей для меня отыскалась отдушина. Пока я женился и разводился, а потом ездил по стране со съемками, Маша успела стать двадцатилетней красавицей-студенткой. Заехав как-то раз к ней на съемную квартиру — что-то взять или передать, не помню, — я попал на вечеринку. Среди таких же, как она, аутичных, улыбчивых и тощих девушек, нахмуренных и вечно ироничных, смотревших исподлобья юношей я впервые за много лет почувствовал себя дома.

Спорить с ними мне не хотелось. Не возникало даже мысли ухаживать за какой-нибудь девушкой. Просто сидеть в углу дивана на кухне, смотреть — на их жесты и улыбки, на то, как они готовят коктейли или салаты, неумело и решительно пьют водку, а потом играют в мафию или рассказывают по кругу истории — вот что мне нравилось.

Глядя на этих молодых людей, я видел новое поколение. Но впервые за много лет новизна не вызвала отвращения или ревности. Наоборот, эти люди оказались мне ближе, чем сверстники. И я радовался этому как ребенок.

По *своим* дням я гулял с дочкой. Мы ходили в зоопарк, на каток или на утренний спектакль в тот самый театр, так уж вышло. Но жизнь в разъездах давала себя знать. Я больше не находил в моей дочке той замкнутости и задумчивости, которые так меня трогали. Она слушала все меньше, а в ответах старалась говорить как мама, заранее отводя мне роль человека, который всегда что-то должен. Но нельзя было винить в том, что так вышло, никого, кроме самого себя.

Последняя улица в городе, не вызывавшая неприязни или тоски, была Большая Никитская, бывшая Герцена. Здесь прошла большая часть моего прошлого, и я возвращался сюда снова и снова, желая отыскать ответ, почему все случилось так, а не иначе, и какой в этом смысл. Улицы и скверы, подъезды и подворотни, кафе и магазины, дворы, где мы гуляли — все они давно изменились. Но именно то, что улица со временем преобразилась, давало надежду, что и у моего прошлого есть будущее. Чем меньше общего удавалось обнаружить с улицей, где мы с Аней были счастливы, тем отчетливей мерещилась возможность продолжения.

Что касается дневника, вывезенного с острова, в Москве я забыл о нем. Тетрадь нашлась, когда пришло время снова собирать сумку. И я с изумлением Робинзона развернул страницы в черном клеенчатом переплете.

13. ТАК ЭТО ТЫ?

Дневник неизвестного:

«Подробно рассказывая о пройденном пути, я ничего не сказал о любви. Да и зачем говорить о том, чего не было. В разные годы мне нравились две-три девушки, но разве можно назвать это увлечение любовью, тем всепоглощающим, сжигающим и возрождающим душу чувством, которого я ждал всю жизнь? И вот теперь, когда в прожитых днях осталась моя одинокая юность, она пришла — беспощадная и безысходная. Любовь, испепелившая душу.



7 марта 1935 года — этот день я запомнил во всех подробностях. Как зашел после занятий в нашу библиотеку; как увидел библиотекаршу и луч из окна; как он падал на лицо этой немолодой женщины и трескался в стелах ее круглых очков; как блестяли золотые корешки старых энциклопедий на полках у нее за спиной... И только потом ее — незнакомую девушку с книгой в руке.

Она держала книгу Чуковского о Блоке. Сперва меня заинтересовала именно книга, ведь Блок был моим кумиром. И вдруг — вот она.

— Берете? — спросил я.

— Вы тоже хотите? — она услышала в моем голосе разочарование.

— Ничего, возьму после.

Мне ничего не оставалось, как смириться.

— Я верну через пять дней, — она обрадовалась и смутилась. — Очень хочется прочитать.

Заглянула в глаза.

— Иногда ведь не думаешь, но найдешь книгу, правда?

Выбрав еще одну, она сложила книги на стол.

— Эти, — робко сказала. — Можно?

Поскольку стопка получилась большой, библиотекарша не разрешила.

— И ты хочется взять, и эту... — сказала девушка как бы про себя и снова подняла на меня глаза. Они были светлые, серовато-голубые. А волосы — русые, слегка волнистые и недлинные. Невысокая, легкая девушка. Невесомая, стремительная походка.

Вот и все. Но когда я шел обратно, никак не мог понять — почему до сих пор перед глазами ее взгляд? Почему во мне звучит ее тихий уверенный голос?

— Нет, но как же... — говорил я себе.

А в ответ видел, что все кругом преобразилось: стены, выкрашенные зеленой масляной краской; люди, безразлично бегущие в коридоре. И солнце, минуту назад косо бьющее в окна, а теперь вдруг залившее коридор ярким весенним светом.

Мне стало страшно и радостно, ведь в мою жизнь вошло что-то небывалое, вот так обыденно и невзначай, без всяких приготовлений и намеков, как что-то само собой разумеющееся. А в душе все пело. Стены в коридоре, полы и даже доска объявлений — они пели тоже.

— Так это *ты*? — ошеломленно повторял я.

Любовь с первого взгляда?.. Не знаю... Не может быть, что мы не виделись раньше. Но человек слеп, пока не окажется нос к носу. Глух, пока не услышит голос. Это мгновение взгляда, оно все и решило, все расставило по местам. А еще интонация, когда она сказала: “Хочется взять ту и эту книгу”. Оттенок сожаления и оправдания...

Где и когда я слышал эту мелодию? Ну конечно, так в моем воображении говорила любимая героиня — Тави из “Блестящего мира” Грина. И вот теперь эта мелодия звучала наяву.

Через три дня мы снова встретились. Она занималась в читальном зале, делала выписки. Взглянула, задержала взгляд, словно припоминая. Не узнала, опустила голову. Мало ли студентов, с кем перебросишься словом...

С того дня мир стал певучим. Отныне все вокруг пронизывала *музыка сфер*, о которой говорили древние. Пусть хоть что-то в этой девушке было не так — я перестал бы слышать музыку. Но она звучала, а значит... Каждое новое впечатление сливалось с первым и расширяло его. Музыка играла все громче. Мне нет возврата, понял я. Корабли сожжены!

Снова военные сборы на Карельском перешейке. Но в этот раз служба тяжело-вата. То ли сказались недоедания, то ли требования. Скорее всего, изменился я. Перебежки под воображаемым огнем, ползания и окапывания — все теперь казалось нелепой, глупой игрой. Внутренний голос говорил, что это нужно. Что готовиться к



войне надо в мирной обстановке. Но ползать по лесу, где бабы собирают ягоды... Или прятаться от вымышленной пули... В девятнадцать лет учиться легко, но что делать тому, кто из этой игры вырос.

Меня выручала стрельба — по меткости в роте я не знал равных. Но до срока мне все равно дослужить не дали. Однажды в жаркий день 13 июля меня вызвали. В штабе сидели двое — политрук Башаев и офицер НКВД.

Башаев просматривал бумаги:

— Садитесь. Курите?

Я взял предложенную папиросу.

— Тут поступили кое-какие материалы на вас.

— Какие? — папироса моя дрогнула.

— Кто был ваш отец?

— Дворянин.

— Сколько земли он имел? Сколько работников у него было?

И пошло, и поехало... Была земля у деда? Была, да и немало. Сколько именно? Не могу знать. Был ли дед помещиком? Бесспорно, хоть и разорился. Ваш отец пользовался доходами при жизни деда? Конечно. Много ли денег получили наследники с продажи имения? Не знаю. Каково было имущественное положение семьи вашего отца на вашей памяти?

Я мог много вспомнить, но оправдываться было противно:

— Неважное.

Тут встал офицер НКВД:

— Зачем ты запираешься?! — рявкнул он. — Я же вижу, жизнь твоя была не легкой. Тебе тридцать, а виски седые. Зачем укрываешь отца? Ведь он был помещик!

— Он был типичный деклассированный дворянин.

Офицер сел, закурил. Не глядя на меня, сказал:

— Придется сдать обмундирование. Все. Можете идти.

Так впервые за жизнь социальное происхождение встало мне поперек дороги. Впрочем, только поперек военной. Ведь опасаться исключения из университета не приходилось, там на очереди стояли троцкисты и зиновьевцы.

В университете было пусто, все на лето разъехались. Мне тоже захотелось к себе в Дубровичи, в нашу деревню. Каким же удивительным выдалось то одинокое лето в деревне! Я ловил рыбу, бродил по лесу, купался и загорал. Топил нашу старую баню, а потом выскакивал на улицу и обливался ледяной водой из колодца. Все вокруг — и баня, и сараи за деревней, похожие на жуков, и деревья на поле — были мне знакомы с детства. Но в этот приезд я впервые почувствовал себя в родных местах гостем. Почему? Потому что перед моим мысленным взором была она, моя любовь. И она меняла мир не только внутри, но и снаружи.

Иногда мне казалось, что судьба знает, куда ведет. Что все у нас сложится прекрасно. В такие минуты я шептал ее имя, не опасаясь, что его услышит кто-нибудь. Ну а деревьям можно доверить все. Это странное и новое ощущение, когда ты говоришь с лесом, а кажется, что обращаешься к ней. Что ты не один. Что мы гуляем вдвоем по нашим дубравам, по заливным лугам и взгорьям, взметнувшимся над Мстой крутыми отрогами, среди золотых берез по берегам Молодкинского озера... Разве я был один? Нет-нет...

И снова университет, и снова шумный круг молодежи. Редкие, мгновенные встречи с ней. Но если в деревне я был создателем своего мира, его всевластным повелителем, то здесь каждая встреча возвращала меня на свое место.

А она все та же, та же... И там, где она проходит, все также зацветают цветы. Если я не вижу этого, то лишь потому, что «глазам летучей мыши не дано зрения», как сказал поэт.

Ну а что занятия? Трудно с занятиями, трудно. “Весьма удовлетворительно”, — вот и все, на что я могу рассчитывать. Да, усилием воли заставляю себя записывать



лекции, слушать преподавателя, но рука машинально выводит на бумаге ее профиль, а язык бормочет новую строчку стихотворения.

Эти стихи — о моей любви. Как герой Джека Лондона отмечал зазубринками на палке встреченных людей, так и мне приходится вырезать в памяти каждое слово, которое от нее слышу. Их немного, этих слов, но каждое из них я повторяю про себя долго.

Моя прошлая жизнь, положение в коллективе в роли наблюдателя, приучили судить о людях не по долгим разговорам, а по случайно услышанным словам, по взгляду, жесту, поступку. По таким намекам я все больше узнаю ту, которую любил. Помнит ли она меня в лицо? Не думаю... Хотя в университете многие знают мою прическу *воронье гнездо* и рыжие гетры.

На улице февраль, стою у окна выдачи книг в читальном зале. Неожиданно подходит она. Решаюсь, заговариваю первым:

— Сегодня больше не выдают, читальня закрывается.

— Почему? — в ее прозрачных глазах веселая досада.

— Кто их знает...

Мы в один голос спрашиваем — почему закрывается? Нам отвечают — юбилей университета.

— А-а... — говорит она.

Улыбнувшись, выходит из зала.

Вот и весь разговор за целый год. Мало!

Еще осенью, в минуту отчаяния и тоски, я передал моей возлюбленной стихи. Я сделал это через подругу, инкогнито — потому что стихи недвусмысленно указывали на мои чувства. Эти стихи не были подписаны. И вот теперь, зимой, они попали на университетскую олимпиаду. Как? Кто предложил их в комитет? Не знаю, кто-то из сокурсников — тех, кому я показывал. Но только теперь я был участником, и это значило, что меня ждало разоблачение.

Подругу, через которую мои стихи попали к ней, звали Мира Гольданская. Она была симпатичной, маленькой и умной еврейкой. Что касается литературного жюри, туда вошли критики Иволгин, Алексеев и поэт Александр Прокофьев.

Уже в апреле состоялся вечер. Мне повезло, что к выступлению нас, *литераторов*, не допустили (жюри решило, что мы плохо читаем) — ведь на вечер она обязательно придет, и что тогда?..

В зале было очень людно. Она вошла, огляделась. Кивнула. Я вскочил, чтобы уступить место, но она схватила меня за руки — сидите, сидите! — и отошла к окну.

Она то стояла с подругами у окна, то уходила за сцену, а на моих ладонях горело ее прикосновение. Я ощущал это прикосновение и одновременно любовался ею: как она стоит, опустив голову, и о чем-то думает, покусывая губы; как смеется, запрокинув голову. Любовался темно-лиловой бархатной кофточкой, открывающей шею и начало тонких ключиц, восхищался узкой и длинной зеленой юбкой и тем, как выглядят из-под нее квадратные носки черных туфель с изумрудной пряжкой. Каким наблюдательным делает человека любовь! Сколько мелочей хранит она в своей копилке...

— Ты выступаешь? — спрашивала подруга. — Когда?

— Скоро, теперь скоро.

Так по обмолвке я понял, что она будет на сцене.

Когда конференсье, наш долговязый зоолог Андрей Франц, объявил, она стремительно вышла — и я пораился, насколько она преобразилась. Осанка, выражение лица, поворот головы, взгляд — на сцене стояла самая настоящая артистка.

Концертмейстер вступил, она запела “Шестнадцать лет” Даргомыжского. Помню только зал, взорвавшийся аплодисментами. Она отступила в глубину сцены, потупилась, а потом, выдержав паузу, вернулась к роялю. Теперь это был “Жаворонок” Глинки.

Потом выступали другие, но я ничего не слышал. В ушах у меня звучал только ее голос, остального мира просто не существовало. Так вот какой у нее талант...

Актриса! Да, в тот вечер мне открылось то, к чему лежала ее душа. Я был горд и счастлив этим, я задыхался, а внутри кипела ревность — ведь остальные в зале тоже видели ее.

Не помню, как закончилось отделение. В фойе шум, разговоры. Шипучка в стаканчиках. Все поздравляют: успех, какой успех... Ну же, вот же момент!..

— Спасибо! — только и сказал я. — За “Шестнадцать лет”...

Она улыбнулась и ответила:

— Как могла... Пожалуйста.

Мы разошлись, потерялись в толпе, а потом сразу началось второе отделение, литературное, пришла наша очередь. Когда я занял свое место, ко мне подошел критик Алексеев и попросил пересест поближе, в первый ряд. А через одно кресло устроилась Мира Гольданская.

Сначала со сцены выступили руководители и участники литературной секции. Наконец слово взял товарищ Алексеев. Перво-наперво он обвинил в плохой работе наш литературный кружок. Дескать, на факультете много пишущих, а мы и не знаем. А уж потом объявил первое место.

Зал, особенно мои сокурсники, стали всю хлопать, ведь первое место занял наш факультет.

— Да, товарищи! — Алексеев жестом остановил овации. — На этом факультете есть прекрасные поэты. И один из них — это...

Он с широкой улыбкой посмотрел на меня. Я не ослышался? Это мое имя? Озираюсь и вижу сотни взглядов. Сотни смеющихся, восторженных глаз. Растеряно улыбаюсь, а самому страшно посмотреть туда, где она. Хочется провалиться под землю от страха и счастья.

На сцену поднимается декламатор — и зал разом затихает. Мне слышно дыхание людей и то, как разрывается мое сердце. Он читает стихи, мои стихи — ей. Несколько мучительных минут стыда и радости. Снова аплодисменты, крики, овации. Опять Алексеев — теперь он поздравляет ту, которой посвящены “такие прекрасные стихи”. Говорит, что завидует. Зал хохочет, и я не сразу понимаю, что эти аплодисменты — мне. Что это меня вызывают, требуют на сцену. Но сил у меня нет. Только встаю, кланяюсь с места.

Перекивая шум, Алексеев заканчивает. По решению жюри, говорит он, мне присуждают первое место. В качестве премии мое стихотворение “Лесной ветер” — то самое, что написано в деревне, где я мысленно разговаривал с моей возлюбленной — будет помещено в “Литературном Ленинграде”, а потом войдет в альманах, посвященный олимпиаде.

Когда Алексеев закончил, ко мне подлетела Мира:

— Так это вы? — восторженно и заговорщицки шептала она. — Простите меня, что я читала... — она запнулась, покраснела. — Но вы не запечатали и не подписали... Я сразу сказала ей, что человек, написавший такие стихи, это лейтенант Глан. Самый настоящий Глан! И это вы...

Вечер закончился, все стали выходить из-за столов. А я, взрослый тридцатилетний человек, не знал, куда деваться. Теперь, когда меня полностью разоблачили перед любимой, причем прилюдно, перед всем залом — что мне оставалось? Убежать, исчезнуть? Спрятаться, как от взрослых прячется ребенок? Но Мира по-матерински крепко держала мою руку.

И вот она подошла, поздоровалась. Посмотрела исподлобья в глаза — нежно и весело, немного с грустью.

— Так это вы? — повторила ту же фразу.

Мира, заговорщицки улыбаясь, представила нас. Задыхаясь от волнения, я снова почувствовал ее ладонь. Меня снова обожгло ее крепкое и короткое пожатие.

Толпа вынесла нас в гардероб. В толкотне мы кое-как получили одежду, я помог ей надеть короткое пальто с каракулевым воротником. Мира в этой толчее куда-то запропастилась. Мы остались одни. Выходившие с факультета, завидев нас на сту-

пеньках, поздравляли. В глазах юношей читался восторг, в глазах девушек — зависть. Что и говорить, в тот момент мне и самому ничего другого не оставалось. Шутка ли, получить сразу и поэтическое признание, и счастье быть вдвоем с любимой...

По земле бежала февральская поземка, обвивая ноги. Миры все не было.

— Можно проводить вас? — услышал я собственный голос. Она кивнула, словно ждала этих слов, и взяла меня под руку».

14. БАЛАНСИР И ФЛЮГАРКА

«Долговое лежит на берегу озера на северо-востоке Валдайской возвышенности. Первое письменное упоминание о “сельце Долговое с церковью Усекновения главы Иоанна Предтечи” относится к Новгородскому периоду. Потом, в конце XV века, прилегающие к озеру земли входят в Московское государство. Будучи веками глухой провинцией, с переносом столицы в Санкт-Петербург Долговое неожиданно оказывается между главными городами империи. Вокруг царской дороги одна за другой возникают дворянские усадьбы, принадлежащие знаменитым фамилиям. Однако окончательно судьба Долгового решается, когда Петербургско-Московская железная дорога проходит именно через этот малозаметный населенный пункт. Тогда-то вокруг села и появляется комплекс железнодорожной станции. В 1885-м году на месте старого кладбища в Долговом возвели величественный собор Покрова — яркий памятник русско-византийского стиля, разрушенный большевиками в 1932 году. Именно этот собор — вместе с огромным куполом кругового депо — был архитектурной доминантой Долгового, полностью утраченной в наше время.

С конца XIX века станция Долговое продолжала укрупняться, постепенно превращаясь в важнейший железнодорожный узел страны, соединивший три дороги стратегического назначения: на Ригу, Псков и Великие Луки. Численность Долгового к 1901 году достигала шести тысяч человек, среди которых было более трехсот временных рабочих.

Надобность в железнодорожном сообщении с западными границами обозначилась накануне Первой мировой войны, тогда в нескольких километрах от Долгового была построена еще одна станция, Долговое-Полоцкое, давшая начало новой ветке».

За деревней Ложки свободно, можно набирать скорость.

— Возьмем? — спрашивает Игорек.

На обочине девушка в короткой курточке.

— Подбросим, — соглашаюсь я.

Машина, шелестя гравием, скатывается на обочину. Игорек мигает фарами: «Давай!» Та, сунув руки в карманы, неуклюже бежит.

— Вы что, — шипит Сева. — Это же проститутка.

Витя отворачивается к окну:

— Психи.

— Да ладно! — Народ в машине переглядывается.

Девушка привычным движением дергает дверь.

Быстро оглядев салон, залезает.

— До заправки, — голос у нее сонный.

Кабину окутывает запах пыли, табака и пота. Сквозь дешевые духи доносится другой, знакомый и забытый. Я стараюсь не дышать, чтобы прогнать его.

— Телевидение? — девушка оживает. — Астоцкую знаете?

— Из сериала? — оборачивается Витя.

Он знает обо всем, что происходит в «ящике».

— Наши девчонки ее обожают.

Она смотрит в зеркало. Серая сухая кожа, угри под косметикой. Малолетка, а на вид — убитая жизнью баба.



— Из Ложек? — спрашиваю.

Эту деревню из «Путешествия» Радищева знают все.

— Откуда? — она закашливается. — Что ли, вы про Ложки?

Наши смеются, а мне хочется, чтобы поскорее исчез запах. Где проклятая заправка?

Наконец Игорек притормаживает, и девушка, пригревшись в машине, нехотя вылезает.

— Ложки, — передразнивает.

В зеркало видно, как она перебегает трассу.

За избами, вдоль которых идет трасса, поля. Ключья жухлой некошеной травы похожи на свалывшуюся шерсть. Тут и там, как кротовые кучи, торчат ушедшие в землю баньки. Прозрительно желтеет лес — на фоне сизых, нависших туч. Когда выглядывает солнце, стекла в избях вспыхивают. От этого сочетания, праздничной желтизны леса, мрачных туч и до мельчайших трещин высвеченных гнилых срубов, на душе тоскливо. Вернуться бы в город, запереться в теплой квартире. Никуда не выходить, не видеть — ни пустого этого леса и деревни, ни людей с ведрами антоновки и картошки, ни серых картонок с чернильными надписями «Черви» и «Свежая рыба». Не чувствовать гнетущей, безысходной печали, которая разлита во всем этом...

Когда я просыпаюсь, Волочек позади, а поворота на Долговое все нет.

— Витя!

Тот кивает и включает свой навигатор.

— Двадцать километров, проехали.

Тон у него насмешливый: как будто заблудились мы, а он — нет. В ответ Игорек молча дает по тормозам. В спину истошно сигналият, водитель матерится. Дядя Миша, качая головой, с хрустом сворачивает пробку на бутылке.

Заброшенные фермы, склады, бараки, потом облупленные пятиэтажки — постепенно нежилая застройка образует городскую черту. Хотя никакой городской логики в Долговом нет, въездная дорога просто обрастает домами; теперь это улица, которая тянется вдоль железнодорожного полотна.

На пустыре, где раньше стояло депо, она делает петлю, а дальше развилка: одна дорога на стацию, другая огибает озеро и упирается в гостиницу. Гостиница в городе одна и называется «Долговое». Это бывшее общежитие железнодорожников, оно стоит прямо у озера.

Пока наши выгружают технику и регистрируются, я иду на берег. Трава у воды вытоптана. За мостками в осеке затонувшая лодка, чей контур похож на лютню. Среди отраженных звезд со дна поблескивает осколок стекла. Еще несколько пластиковых баклажек и пачки из-под лапши — у кострища.

Пахнет тиной и печным дымом. Гремит цепью по доскам невидимая собака. Со станции, раздвигая вечернее пространство, долетают гудки. Слышно, как лязгают вагоны и что-то выговаривает диспетчер. Из барачной форточки долетают голоса и звон посуды, грубый смех. Если бы не музыка, можно представить, что с пятидесятих годов тут мало что изменилось.

— Вы идете? — зовет Сева.

Мне предстоит привычная задача — выбрать пригодный для жизни номер в непригодной для жизни гостинице, которая находится в непригодном для жизни городе. Поскольку вставать рано и надо быть в форме, главное в гостинице — звукоизоляция. По этой части все гостиницы делятся на советские кирпичные и те, что построены в новое время из мусора. Кирпичные, само собой, лучше. Обычно в гостинице я прошу ключи от всех свободных номеров. Чаще всего консьерж идет навстречу, все-таки федеральное телевидение. Хорошо, если номер расположен подальше от лифта и лестницы, в конце коридора, в каком-нибудь закутке или кармане, в аппендиксе. Хорошо, когда номер с одной, а лучше двумя капитальными стенами — не так слышно соседей. Выяснить это не сложно: если стена капитальная, звук глухой, а пальцам больно. А если из мусора, звук будет гулким. Хорошо, когда номер



с предбанником — между комнатой и внешним миром будет не одна, а две двери. Иногда можно улучшить звукоизоляцию самому. Набить платяной шкаф подушками и придвинуть к двери, например. Или матрасом, если вставить его в дверной проем — по невероятному совпадению стандартов их размеры одинаковы. А на втором матрасе можно спать. Сгодятся одеяла, это ноу-хау, благодаря которому можно неплохо выспаться даже в самых жутких гостиницах. Надо просто попросить у консьержа, сославшись на холод, пару дополнительных и прибить их к двери одно поверх другого. Перед сном надо обязательно выключить холодильник и телефон, поскольку холодильник дребезжит, а по телефону будут звонки с предложением досуга. Снять со стены часы (ненавижу то, как они тикают). Все, можно спать.

Стены кафе обиты вагонкой. На досках висят серые сетки и голубые штурвалы. От сквозняка пластиковая акула, подвешенная к потолку, поворачивает в нашу сторону морду. Видно, как грубо она размалевана.

Официантка одета стандартно: черная юбка и белая блузка, передник. Стоит, ждет, когда мы выберем.

— Вино! — перекрикиваю музыку. — Есть?

— Конечно.

Они всегда говорят «конечно».

— Какое?

Она открывает меню.

— «По бокалам, Франция».

— А какое именно?

Сева укоризненно качает головой.

Официантка еще раз смотрит в меню:

— Красное и белое.

— Пожалуйста, шницель и морс клюквенный, — вворачивает Сева. Он привык к моим выходкам и хочет заказать побыстрее.

— Спасибо! — кричу я.

Смотрю прямо в серые плоские глаза-пуговицы.

— А какое красное?

Она держит меню как школьница дневник, прижав к переднику.

— Вы братъ будете?

— Конечно.

Прямая спина, вздернутый подбородок, исчезающая талия — не девушка, а солдат. Беззвучно шевеля губами, она уходит.

— Перестаньте, — Сева перехватывает взгляд. — Вы маньяк.

— Она не красотка, но... — мне нравится дразнить Севу.

— Ничего не хочу слышать, — он затыкает уши.

Сева голоден. Когда приносят шницель, он плотоядно обнюхивает мясо.

— Вот еще смешной случай, — говорю я, чтобы хоть как-то скрасить унылый вечер.

Сева делает вид, что занят едой.

— Сегодня вечером в сквере... — мне все равно хочется рассказать ему. — Где ротонда, помните?... На скамейке сидит баба. Курит, пьет пиво. Передних зубов нет, в ватнике. Пьяная. Подхожу, спрашиваю: где у вас тут кафе? Поужинать. Ночная жизнь, в смысле. Та сначала молчит, а потом хитро так подмигивает. Я и есть ночная жизнь, говорит.

Повторяю, вопросительно глядя на Севу:

— «Я и есть ночная жизнь»...

— С чувством юмора люди, — соглашается он.

В дальнем углу зала отмечают день рождения четыре девушки. Рядом с нами устроились местные молодые люди. В одинаковых куртках и кепках, они сидят, пригнув головы, изредка поглядывая то на нас, то на девушек. На столе водка и стаканы томатного сока. Локти отставлены.



— Давно хотел спросить, — меняю тему.

Сева мотает головой: «Ну что еще?»

— Почему у мужского населения признаки вырождения бросаются в глаза, а у женщин — нет?

Парни выпивают и скалятся.

Сева кашляет.

— Мне не нравится ваша формулировка, — говорит он. — Не «вырождение», а «злокачественная генная мутация». Тупиковая ветвь развития...

— А мне не нравится ваша корректность, — перебиваю я. — Все ведь сделано своими руками.

Сева смотрит на столик, где пьют и закусывают девушки. Потом на молодых людей, на то, как одинаково быстрыми движениями они заглатывают водку.

— Зачем? — продолжаю я. — Если считать, что в истории каждый ход имеет значение — зачем это самоуничтожение? Зачем мы были?

— Вы считаете себя выбракованным материалом?

Сева вытирает жирные губы.

— Нет.

— Вот и ответ.

По скатерти ползут блики от зеркального шара.

Сева придвигается ко мне и зловеще блестит линзами:

— А еще — чтобы показать человечеству, какой будет жизнь без бога.

Сева часто приплетает бога.

Он хочет сказать еще что-то, но официантка уже здесь:

— «Мерлот» и «Кабернет»!

На завтрак в гостинице стандартный набор: омлет с куском колбасы и чай. Можно ли заменить омлет на яичницу? Ответ тоже стандартный:

— Нельзя.

Загадка русской жизни.

Витя встал раньше всех и уже допивает чай. В другой руке у него брошюрка. Отставляя мизинец с перстнем, он читает:

— «Череп неандертальца был найден на берегах Долговойского озера археологами в начале XX века. От человека неолитического периода он отличался формой головы. Неандерталец имел развитые надбровные дуги и выдающийся нос».

Витя поднимает глаза на оператора.

— Ты пошутил, — мрачно кивает тот.

Дуги у него действительно крупные.

Все в сборе, не хватает только дяди Миши. Сева смотрит на меня, я киваю, беру в буфете пива, пару бутербродов и поднимаюсь.

Дверь в номер не заперта, Михал Геннадич лежит на кровати в одежде и ботинках, свесив морщинистую, словно отдельно от него существующую руку. Неразобранная сумка стоит рядом. На столе открыта консервная банка и стоят пустые бутылки. Пакет из-под сока.

Стараясь не вдыхать запах, сажусь. Что мне известно об этом человеке, с которым уже несколько лет мы не вылезаем из таких вот гостиниц? Ни-че-го.

— Михал Геннадич, — трогаю за плечо. — Дядя Миша...

Он приподнимается на локте. Берет стакан. Лязгая зубами, пьет пиво.

— Надо ехать, дядя Миша, — говорю как можно мягче.

— Не ругайся.

Он всегда говорит «не ругайся».

— Кто ругается, дядя Миша?

Я смотрю, как он собирается, и думаю: а если бы это был мой отец... и кто-то посторонний помогал бы ему, как я сейчас? Мне вдруг до слез, до дрожи на губах жалко и рано умершего отца, и дядю Мишу. Себя, что не сумел хоть что-то исправить... Чтобы Михал Геннадич ничего не заметил, выхожу из комнаты.

На той стороне тормозит «девятка». Из-за руля улыбается парнишка в кепке и комбинезоне. Заднее сиденье завалено рулонами рубероида. Дверь хлопает, над машиной возникает долговязая фигура. Не глядя по сторонам, человек переходит улицу, здороваются:

— Худолеев.

Это местный музейщик, который будет с нами на съемках. Мы по очереди пожимаем руки.

— Готовы? — улыбается. — Сейчас, только жене скажу.

Он возвращается к машине. Когда парнишка снимает кепку, я вижу, что это девушка. Он целует ее через окно, что-то говорит. Идет обратно.

Высокий и тощий, Худолеев одет в голубую «варенку», какие носили двадцать лет назад. На голове короткий, с проседью, ежик. Он переходит в щетину на щеках, отчего голова выглядит по-кошачьи круглой. На носу у него узкие очки в модной оправе.

Мы загружаемся в машину. Усевшись на переднее, Худолеев сразу достает мобильный. Под его крупными пальцами кнопки жалобно хрустят. Разговаривая, он поглаживает себя по щетине.

— К губернатору сам, — густые брови двигаются в такт речи. — А завтра — он.

В ответ трубка шелестит и лязгает.

— Знаю, что ляпнет, — Худолеев отстраняется. — Там можно.

История здесь, как и везде, одинакова. На реставрацию нет денег, земля под памятником уже продана. Расклад сил тоже незамысловатый: глава города и местное купечество против музейщиков и закона. Решающее слово за губернатором. Поскольку тот обычно в доле, финал предсказуем. Вот и вся арифметика. И Худолеев это знает, конечно.

С железнодорожной архитектуры, в которой он спец, Худолеев переходит на байки. Сева слушает вполуха, время от времени вставляя фирменные поддакивания. Этих междометий у него несколько, от чувственных причмокиваний до недоверчивых «ГМ-ГМ».

— И перевели! — Худолеев вдруг начинает говорить присказками. — И пошел царский поезд в феврале семнадцатого в другую сторону, да не в Петроград пошел, не в Царское Село, а на дно пошел, в расход, прочь с дороги истории.

В машине жарко, он расстегивает джинсовку:

— Знаете, почему мы город? — переходит на нормальную речь. — За что Временное правительство подарило статус этой, в сущности, дыре — не догадываетесь?

— Да вы что? — Сева.

— За перевод стрелки, за то, что беспрекословно выполнили приказ. — Худолеев злорадно посмеивается. — Все мы тут исполнители, потомки стрелочников.

Нечто похожее, про нехорошую судьбу Долгового, я читал на интернет-форумах. Мне немного странно, что Худолеев, историк по образованию, повторяет эти байки.

Машина переваливается на ухабах по центру города. За окном кричащие, набившие оскомину вывески мобильных операторов. Выложенные одинаково серой плиткой крылечки Сбербанка. Вывески «ДвериЛэнд», «Коси и забивай», «Нью-Йорк пицца». Между этими, напоминающими дешевую декорацию, фасадами зияют пустыри и пепелища. Заколоченные окна сгнивших бараков. Обгорелые остовы русских печей. Мусорные кучи. Такое ощущение, что город недавно сожгли или разбомбили.

— Вы знаете, — я называю Худолеева по имени. — Вот мы — разное видели. Правда, Всеволод Юрич?

Поворачиваюсь за поддержкой.

— Но такого, как здесь... — я пытаюсь найти слово.

— Убожества? — подсказывает Худолеев.



— У вас тут просто семнадцатый год какой-то, — говорит Сева, — продолжается.

— А у вас? — Худолеев пристально, словно прощупывая, смотрит. — А в стране?

Город кончился, машина летит по трассе.

— Ну что — страна, — отвечаю я. — Здесь вы сами...

— Сами, сами! — он снова ерничает. — С той царской стрелки — сами приемлем судьбы удары. За то, что не довезли царя-батюшку. Сплавили мать-Рассею. Покорно несем бремя, да-с!

Слушая Худолеева, я не понимаю, шутит он или серьезно о революции, которая не кончилась.

— Здесь, здесь поворачивайте!

Машина уходит на проселок, кофры гремят. Когда лес расступается, на прогалине видны семафоры и три-четыре товарных вагона. Красная водонапорная башня.

Высадившись, Худолеев берет дядю Мишу под руку. Смотрятся они комично: один высокий, другой по плечо. К тому же Худолеев много жестикулирует. Михал Геннадич разворачивает сценарий — видно, что они с Худолеевым друг другу понравились. А мы с Севой идем следом.

Станция с резными наличниками и деревянной башенкой-фонарем. Боковая стена в плюще, палисадник. Худолеев подпрыгивает на платформе, демонстрируя, как хорошо она утрямбована.

— Как говорится — до плотности садовой дорожки.

Дядя Миша делает знаки оператору:

— Снимем, снимем.

На фасаде сохранился знак царской нивелировки. Рядом керосиновый фонарь и столетние столбы «телефонки».

В окне станции кто-то пьет чай. Видно руку, которая подносит кружку к губам.

— «Шестьсот четвертый» без остановки, будьте внимательны. Без остановки! — неожиданно сипит репродуктор.

И молодой подлесок, обступивший полузаброшенную станцию, и жухлая трава, съевшая большую часть путей и откосов, и сами пути, ржавые и кривые, и заброшенная башня с гранитным цоколем, торчащая в поле как форпост исчезнувшей армии, и тишина, какая бывает только в глухих, удаленных от магистралей местах — никак не вяжутся с поездом, который по-театральному медленно плывет вдоль перрона. В этом поезде всего четыре вагона, но даже четыре вагона старый тепловоз тянет еле-еле, поминутно выпуская в прозрачный осенний воздух ошметки черного дыма. Вагоны мерно, торжественно стучат. Многие стекла выбиты, а рамы заколочены фанерой. Сами вагоны полупусты.

— Снимут, — Худолеев протирает очки. — Кого возить? Мертвые деревни.

В конце перрона стоит тетка в ватнике. Одной рукой она держит грязный желтый флажок, а другой грызет семечки. Когда последний вагон поезда-призрака исчезает, когда он сливается с бурым подлеском, теряясь среди деревьев как медведь или лось, рельсы еще поют, тихо полязгивая. Но потом и они стихают.

Сквозь тучи пробивается солнце. Оно висит над лесом, освещая сочную, ранней осени, желтизну березовой рощи. Та самая осень, финал которой мы застали на Белом море, здесь еще в самом разгаре, еще только входит с свою ослепительную фазу. От этой aberrации, от забегания вперед обычного хода вещей, вперед времени, во мне все сжимается и вместе с тем торжествует.

Худолеев, режиссер и Сева стоят вокруг стрелки.

— Сюда! — машут.

Это обычная механическая стрелка, такую каждый хотя бы раз в жизни замечал из окна поезда. Правда, большую часть таких стрелок давно заменили на электрические. Так что перед нами музейная ценность.

Сева достает платок, протирает рукоятку.

Рывок, другой — безрезультатно.

— Она, — Худолеев любовно оглядывает механизм, — изменившая ход истории.

Он снова насмешничает.

— Можно? — я перешагиваю через рельсы.

Худолеев показывает, как переводить:

— Сначала балансир, — поднимает груз, а другой рукой толкает рукоятку. —

А потом флюгарка.

Стрелка с лязгом передвигает рельсу.

— Фонарь. Видите, он повернулся другой стороной? Сигнал машинисту, что поезд направлен на главный путь, дорога свободна.

— А если другим боком? — спрашивает подошедший Витя.

— Тогда тупик.

Я протягиваю Севе перчатки:

— Давайте.

Рукоятка балансира ледяная и обжигает пальцы. Перед тем как сдвинуть груз, я представляю железнодорожника, который в ночь на 1 марта перевел стрелку с царским поездом.

Хорошо все-таки, что история не сохранила его имени.

После съемок нас приглашают на чай.

— Не раздевайтесь, холодно.

Без тулупа и платка баба с флажком оказывается курносой щекастой девицей.

Она без стеснения разглядывает нас, переводя светло-голубые глаза с Вити на меня, а потом на дядю Мишу и снова на Витю.

Стол придвинут к железной печке. Витя трогает царский герб и тут же отдергивает руку.

— Горячая.

Девушка показывает жестом: приложи к мочке.

Не глядя друг на друга, они улыбаются.

— А вы, — спрашиваю Худолеева, — сами-то в эти байки верите?

Сушка каменная, Худолеев показывает, что лучше размачивать.

— Какие?

— Про стрелку и ход истории. Самобичевание. Вы меня извините, но, по-моему, это бред какой-то. Вы же историк.

Худолеев продолжает помешивать чай. Дядя Миша от удивления замер с чашкой. Витя улыбается девушке. Остальные набросились на сладости и ничего не слышат.

— Послушайте, — говорит тихо, — ну кому сегодня нужна история?

Дядя Миша вздыхает и лезет за сигаретой.

— Людям не история нужна, а оправдание, — Худолеев показывает, что здесь не курят. — Собственной глупости и лени. Пьянству. Отсюда и самобичевание.

Он кивает своим словам и продолжает, глядя в чашку:

— Это как планка, прошлое. Или вытаскивай себя за волосы и соответствуй... Или перепиши к той-то матери. Вот почему гибнут памятники?

Он показывает чашкой в окно.

— Потому что они — свидетели. Указывают на наше ничтожество. А кому охота, чтобы его каждый день тыкали в собственное ничтожество?

По тому, как зло и напористо звучат фразы, как безапелляционно он произносит их, видно, что эти мысли его — безутешный итог, в котором он себе признался, но редко говорит вслух, поскольку в провинции, и мне это хорошо известно, за такие разговоры можно вылететь с работы с волчьим билетом.

— Виктор Вадимыч, но как же? — спрашивает дядя Миша. — На самом-то деле как было?

— А вы хотите?



Наши шумно придвигают стулья.

— Конечно!

Худолеев отодвигает чашку и сахарницу, словно расчищает место для сражения:

— Как вы, наверное, знаете, после роспуска Думы в феврале семнадцатого в Петрограде начались волнения. Поскольку законная власть оставалась у императора, тот приказал выслать на столицу карательные отряды, с целью подавить возмущение. Сам же выехал из Ставки чуть позже, чтобы самому во всем разобраться.

— А где находилась Ставка? — дядя Миша.

— В Могилеве, где...

Это неожиданно вставляет оператор.

— Утром двадцать восьмого февраля из Могилева выходит свитский литерный поезд «Б», за ним следует литерный «А», царский. Оба поезда идут в Петроград через Смоленск, Вязьму и Лихославль, по окружному пути, который пересекается с Николаевской дорогой как раз на нашей станции.

— А почему по окружному? — это Сева.

— Прямой держали для карательных частей Северного фронта, они шли в Петроград. Должны были идти, то есть. А царский двигался уже после. Первые полдня прошли без приключений. Губернские города, где о беспорядках еще ничего не знали, встречали императора со всеми почестями. Царь давал на станциях аудиенции губернаторам, правда, короткие. Они ехали дальше. Но уже в четыре часа вечера со свитского в царский пришло сообщение, что в Петрограде образовался Временный комитет членов Государственной думы. Некий думский депутат Бубликов по поручению этого комитета занял Министерство путей сообщения. И теперь он передает по железнодорожному телеграфу подписанные Родзянкой воззвания.

— Что значит «занял»? Кто он?

— Сейчас, — видно, что Худолеев волнуется, словно сам едет в этом поезде. — На этом надо бы подробнее.

Все молчат, чтобы не терять время.

— Дело в том, что с вечера двадцать восьмого февраля судьба царского поезда зависит от двух людей, занявших телеграфный аппарат в министерстве. А именно — от этого самого Бубликова и его помощника, члена инженерного совета по фамилии Ломоносов.

— Смешно, — перебиваю я. — «Ломоносов и Бубликов».

— Хармс какой-то, — Сева усмехается.

Худолеев продолжает:

— Следуя именно их указам, в ночь на первое марта царский поезд мечется с ветки на ветку. Да вот здесь, собственно, в этих местах.

Наши как по команде поворачивают головы. За окном тот же осенний пейзаж, но теперь мы смотрим на рельсы, словно с минуты на минуту покажутся голубые вагоны.

— Как эти ни комично, но судьба империи теперь в руках Бубликова с Ломоносовым. Ведь если бы царь прорвался в Петроград, кто знает, как бы все сложилось, кто встал бы за государя... и сколько бы их было.

— Сотни тысяч, — голос у Севы немного взволнованный. — Судя по Гражданской — сот-ни!

— А тут происходит элементарно вот что. Очутившись в министерстве, эти ребята берут под контроль связь по всем направлениям, всю страну. В лице начальников станций Ломоносов и Бубликов получают прекрасных осведомителей, имея обратную связь. Говоря по-нашему, только у этих людей в империи есть Интернет. Только они знают, что реально делается в Петрограде и его окрестностях. И только они могут рассказать об этом народу. Или не рассказывать. Или дать ложную информацию, понимаете? И вот Бубликов отправляет по всем станциям телеграмму, в которой оповещает начальствующих, что по поручению Комитета Государственной

Думы он, Бубликов, занял Министерство путей сообщения, и теперь будет объявлять приказы председателя Государственной Думы по всем станциям. И что первым указом будет следующий... сейчас...

Худолеев лезет во внутренний карман и достает электронную книжку. Дядя Миша выходит покурить, время от времени заглядывая в комнату.

Худолеев читает:

— «Железнодорожники! Старая власть, создавшая разруху во всех областях государственной жизни, оказалась бессильной. Комитет Государственной Думы взял в свои руки создание новой власти. Обращаюсь к вам от имени Отечества — от вас теперь зависит спасение Родины. Движение поездов должно поддерживаться непрерывно с удвоенной энергией. Страна ждет от вас больше, чем исполнение долга, — ждет подвига...»

Дядя Миша возвращается и подливает чай.

— Ведь что такое эта депеша? — Худолеев поднимает глаза. — Это заявление на всю страну, что в Петрограде революция. От Могилева до Владивостока, от Мурманска до границы с Персией — эта телеграмма теперь на каждой станции. Старая власть пала, ее больше нет!

— Пойдите, — говорит Сева. — Но ведь еще не было отречения. Что значит «пала»? Как люди могли эти принять?

— В том-то и дело! — Худолеев встает. — За двое суток до официального отречения царя как будто *отменили*. Задним числом сместили. Представили события, которых еще не было.

— Все мы живем в будущем, — вдруг говорит Витя.

Худолеев сбивается, смотрит.

— Будетляндия, мать их! — дядя Миша.

— Тут испытание веры, — вздыхает Сева. — Если власть от бога, никуда царя не денешь.

— Рассказывайте!

Худолеев продолжает.

— Вторым распоряжением Бубликова была телеграмма о недопустимости передвижения воинских поездов ближе двухсот пятидесяти километров от Петрограда. Что логично, ведь на столицу шли карательные отряды. Могли идти. И они это понимали. С этого момента Бубликов исчезает, уходит спать. Нет его. И на сцену заступают Ломоносов. В министерстве звонок, это начальник нашей станции. Спрашивает, как быть с царским литерным «А», который имеет назначение Лихославль — Тосно — Александровская — Царское Село. Само собой, Ломоносов не хочет брать на себя решение, бежит к Бубликову. А тот уже спит, дрыхнет — буквально. «Разбудить его нет никакой возможности», — как он потом в дневнике напишет. Что остается? Звонок в Комитет председателю Родзянке. «Императорский поезд в Малой Вишере! — докладывает Ломоносов. — Что прикажете делать? Везти в Царское? В Петроград? Держать в Вишере? Ждать? Чего и сколь?»

Но Комитет тоже не хочет брать на себя решение такого дела. Там тоже не знают, что делать с поездом. И решение принимает сам поезд. Он отправляется на Петроград самостоятельно, не дожидаясь разрешения. Правда, далеко он не уехал, уже через несколько часов из свитского, который впереди, в царский летит депеша: Малую Вишеру заняли мятежники, ехать в Петроград нет никакой возможности. И инженер Керн, находящийся при царском, решает ради безопасности государя вернуть царский поезд на нашу станцию.

— На самом деле там просто буфет разграбили, — неожиданно вставляет оператор. — В Малой Вишере. Так, пьяное отребье... Одного выстрела было бы достаточно.

Худолеев рад как ребенок:

— Вы вот знаете! Тогда дальше, ладно?

Оператор мрачно прихлебывает из чашки.



— Утром первого марта Ломоносову сообщают, что царский поезд вернулся. Тому ничего не остается, как передать информацию в Комитет. Что прикажете делать, спрашивает он у Родзянко? Как быть? И тот приказывает задержать поезд до своего приезда к нам в Долговое на переговоры. То есть, на неопределенный срок, делая сложную ситуацию патовой. Чисто русский метод решения проблемы, кстати. Но тут опять неувязка! В ответ управляющий нашей дороги доносит, что из царского поезда раньше поступило другое требование — дать назначение на Псков. Что делать? Кого слушаться?

— Момент истины, — Сева.

— Ломоносов понимает, зачем царю во Псков. Он едет к генералу Рузскому, которого держит за надежного человека и на чью армию рассчитывает. Комитет на запросы не отвечает, Родзянко самоустранился. И Ломоносов вынужден принять судьбоносное решение на свой страх и риск. «Ни в коем случае не выпускать поезд!» — телеграфирует он. То есть, самолично идет против царя и закона. Но тут — снова зигзаг: телеграмма опаздывает! Империя получает еще один шанс. В телефонной записке, которую приносят в ответ Ломоносову, сказано, что поезд литер «А» уже вышел на Псков, «без назначения», самовольно. Все! Момент упущен, царь ускользнул. Ломоносов проиграл, теперь он преступник. Как спасти шкуру? Только доведя дело, перехватив поезд по дороге во Псков. Задержать на пути, по которому он движется. На любом разъезде — например, на ближайшем. На станции Дно.

К этому времени на сцену возвращается проспавшийся Бубликов — и Ломоносов спешно передает дело с рук на руки. Пусть и Бубликов получит свою порцию. Пусть он тоже станет звеном цепи, где виноват каждый и никто. А сам устраняется. Посвежевший Бубликов берется за дело с двойным усердием, поскольку на кону такая ставка. Он телеграфирует начальнику движения Виндавской железной дороги, по которой едет царь, с требованием не пускать царский поезд дальше станции Дно, для чего разрешается применить — внимание! — любые действия, вплоть до крушения. Вот текст этой телеграммы...

Худолеев снова открывает электронную книжку:

— «По распоряжению Исполнительного Комитета Государственной Думы благоволите немедленно отправить со станции Дно навстречу царскому поезду два товарных, чтобы занять ими какой-либо разъезд и сделать физически невозможным движение каких-либо поездов в направлении на Дно — Псков. За неисполнение или недостаточно срочное исполнение настоящего предписания будете отвечать как за измену перед Отечеством».

Такое же предписание у начальника станции Дно. Тот подчиняется и отправляет со станции Дно, как ему и приказано, два товарных состава на перегон Дно-Полонка, в лоб царскому поезду. Казалось бы, крушение поезда и убийство царя неизбежны. Но! Империя получает еще один шанс, теперь уже в лице стрелочника. Этот стрелочник — обычный железнодорожник — ничего не знает о революции и просто *не переводит* стрелку, резонно решив, что наверху либо спятили, либо перепились. Ошибка, оговорка! Нельзя же в трезвом уме приказывать пустить один поезд на путь, по которому шпарит встречный? Никак невозможно, нет у честного железнодорожника такой инструкции. И поезд, в котором спит царь, благополучно доезжает до станции Дно, а потом и до Пскова, где его встречает генерал Рузский.

В комнате тишина.

— Значит, — Сева трет переносицу, — стрелка его спасла.

— Его, но не империю, — тон у Худолеева грозный. — Если бы царь погиб при крушении, никакого отречения и *отказа* от народа и страны на следующий день не было бы. В случае смерти престол переходил к наследнику, на передачу ушло бы время, это целая церемония. А время в те дни решало все.

— Но вообще... они зря старались, — говорит Сева, — Ломоносов и Бубликов. Слабым звеном оказался тот, на кого царь рассчитывал. Генерал Рузский, это же он организовал отречение.

— Ну он и поплатился, — разводит руками Худолеев.
 Сева рассказывал мне о страшном конце Рузского.
 — А это не странно, — спрашиваю я, — что одних людей возмездие находит, а других — нет?

Все смотрят на меня.

— С большого человека — большой спрос.

— А что с генералом-то стало? — Витя.

Сева, изображая голос за кадром:

— «Осенью 1918 года шестидесятитрехлетний генерал Рузский, находящийся на излечении в Кисловодске, был взят чрезвычайной комиссией в заложники и приговорен к расстрелу. В связи с нехваткой патронов бывших генералов царской армии было приказано изрубить шашками на пятигорском кладбище. Могилу генералы вырыли сами. Им приказали снять одежду, встать на колени и вытянуть шею. Казнь длилась несколько часов. По воспоминаниям сторожа, никаких звуков, кроме ругани красноармейцев и хруста разрушаемых костей, он не слышал. Ближе к рассвету могилу засыпали, но поскольку многих зарубили не намертво, земля некоторое время шевелилась».

Тишину в комнате заполняет зуд электрической лампы. Слышно, как в печи догорают угли.

Первым приходит в себя дядя Миша. Он и оператор выходят курить. А Худолеев, подперев рукой волосатую щеку, смотрит в стену, где висит график.

— Яму копал кладбищенский сторож, — наконец говорит он. — Но в целом вы правы. Могилу эти люди вырыли себе сами.

15. КНИЖНЫЙ МИР

После истории с австрийцем нам оставалось сделать вид, что ничего не случилось. Ведь если никто не виноват, надо забыть. А злополучный ремень куда-то сгинул.

Но жизнь изменилась — сама наша связь и ее смысл лишились какой-то важной нити. Еще один узел оказался распущенным. Руки развязаны — вот что я с этого времени чувствовал; я свободен той вольной, веселой свободой, отвечать за которую ни перед кем, кроме себя, не надо. А с собой человек всегда сможет договориться...

В Анином голосе тоже появилась новая интонация. Это была интонация снисходительности и насмешки. Как будто мы оба провалили экзамен и ждали каникул, чтобы исчезнуть каждый в свою сторону. Только она это знала, а я — нет.

Иногда в приступе раскаяния и нежности она целовала меня, просила прощения. Умоляла, чтобы я всегда был рядом. Без тебя я брошусь из окна, говорила она. Я не смогу одна. Еще что-то такое, нелепое и страшное. За что простить? Почему из окна?..

Но чаще в голосе мелькала досада и раздражение. Ничего напрямую Аня не требовала, ни о чем не просила, но по отдельным жестам или тому, как целый вечер она могла провести в кресле, не проронив ни слова, я понимал, что все меньше соответствую человеку, которого она нарисовала в воображении.

Наверное, проживая на сцене чужие жизни, Аня и в жизни хотела, чтобы спектакль продолжался, чтобы ей подыграли, дали возможность побыть разной. Аня ждала от меня импровизаций, новых масок. А я не понимал этого — и оставался собой.

Она все чаще намекала, что у нас плохо с деньгами. В газетах, куда я писал, платили немного, но этих денег все равно хватало. Я понимал, что, говоря о деньгах, Аня имела в виду что-то другое. Но что именно?... И я решил этот вопрос буквально: мне пришлось в голову продать старые книги, найденные когда-то в комнате-пенале, отнести их в книжную лавку. Кто бы мог предположить, что скоро судьба свяжет меня с этой лавкой...



Сколько меня не было здесь — пару месяцев, полгода?.. Сидя на топчане и глядя на чемодан с барабанами, в тишине старого дома я вдруг понял, как соскучился. Как все это время мне не хватало этой комнаты, письменного стола, покрытого зеленым сукном в чернильных пятнах, серого гранитного подоконника со сколотым и уже сглаженным от прикосновений краем. Как я соскучился по двору, куда выходило окно, и по желтому фасаду университета, бросавшему на обои золотистый отсвет. По звяканью курантов, долетавшему через форточку, когда ночью стихало движение — как будто в небе тихо переключивали столовые приборы. По тому, как привычно шаркают в коридоре шаги соседа-карлика. По голосам первокурсниц, сбежавших с лекции пить пиво. По паркетинам, шелкающим и скользящим под ногами. По высоким кривым плинтусам и пыльной, почти неразличимой от побелки лепнине, где запуталась голая лампа в газетном абажуре. По вспученному линолеуму в непроглядном коридоре, изгибы и выступы которого я мог повторить с закрытыми глазами. По запахам и звукам — отсыревшего картона и пыли, ржавчины на железных трубах, где пугающе отчетливо журчала и плескалась ледяная вода.

Это была тоска по одиночеству. По тому времени, когда я жил один, свободный и никому не нужный. Когда еще не появилась женщина, изменившая мою жизнь. Та, о которой в каморке напоминала книжечка репертуарного плана, забытая на подлокотнике старого кресла. Кроме этого блокнотика все в комнате осталось неизменным — а я был другим. От этого несовпадения, от этой невозможности вернуться в старый угол прежним человеком, от того, что я разминулся с самим собой, на душе было особенно тоскливо.

Очнувшись, я отобрал книги — почище, потяжелее. С картинками, таблицами и папиросными бумажками, эти фолианты по зоологии и ботанике принадлежали университетской профессуре, жившей в доме до революции. А книжная лавка находилась в Калашном.

Во дворе лавки загружался зеленый фургон. Протиснувшись между коробками из-под бананов, я поднялся на крыльцо и затащил сумку с книгами по деревянной лестнице. Отсюда, через окно, двор лежал как на ладони. Мой взгляд снова наткнулся на зеленый автомобиль. Мне показалось, что на переднем сидении сидит Гек. Хотя откуда ему было здесь взяться.

Одного приемщика, длинного и тощего, звали Карл Карлыч. Он был молчун и курильщик со впалыми серыми щеками. А второй, пухлый и невысокий, заросший по губы густой черной бородой, представился Мишей. В отличие от вечно насупленного Карлыча, Миша любил побалагурить. Со своей бородой он смахивал на Маркса, имя Карл ему подходило больше. А Карл только молчал и пыхтел трубкой.

Пролистав пару книг, Миша хохотнул:

— Библиотечные!

Я покраснел, растерялся:

— Как библиотечные?

Миша, посмеиваясь в бороду, открыл разворот со штампом «Из библиотеки Императорского Университета». Неодобрительно покачал головой. Но это была шутка, потому что Карлыч уже отсчитывал из бордового портмоне деньги.

За книги дали гораздо меньше, чем я думал. Но даже этих денег хватило, чтобы сходить с Аней в кафе и купить что-то из тряпок и музыки. Однако на этом разговоры о финансах не закончились.

Я бы не замечал их, если бы не одна фраза:

— Жалко, что я не взяла у него денег! — бросила в сердцах Аня. Тогда образ австрийца, с трудом вытолкнутый, выжитый, вытертый из памяти, водворился обратно. Но теперь я уже не хотел отгонять этот образ. Чем хуже, тем лучше, пусть — так я думал. Австриец так австриец.

Хлопнув дверью, я вышел на лестничную клетку.

Под скрежет лифта, который спускался на землю, мир наполнялся прежним отчаянием. Мелочи нашей совместной жизни, даже самые ничтожные, теперь сно-



ва увязывались с этим злосчастливым человеком из Австрии. Так вот откуда эта блузка, злорадно говорил я себе. Эти духи. Эта сумочка... Вот на какие деньги мы гуляем!

Из метро я пересел в троллейбус, «двойка» медленно тащилась по Калининскому. В окнах проплывали рыцари «Военторга», и мне захотелось стать одним из них, окаменеть и ничего не чувствовать, смотреть на жизнь, в которой больше нет смысла, из-под железного забрала.

Меня толкали, дергали за рукав. Два пожилых контролера спросили билеты и вывели на улицу под мелкий дождик, бубня про «штраф платить будем» и «как вам не стыдно». А я смотрел на них и не мог сообразить, что случилось, чего от меня хотят эти люди.

— В милиции поулыбаешься! — изменил тон один, с приплюснутым подбородком.

— Сколько? — неожиданно спросил кто-то.

Бумажки кочевали из рук в руки, контролеры довольно проворчали:

— Повезло тебе, парень.

А я наконец сообразил — Гек.

Не говоря ни слова, Гек затащил меня под козырек Почтамта и усадил на коробку. Теплая водка, выпитая махом из крышки термоса и запитая такой же теплой газировкой, мгновенно смазала мир вокруг. Теперь и троллейбусы, и пешеходы, и очереди у табачных киосков, и афиши кинотеатра — все они были отделены от сознания прозрачной, но непроницаемой пленкой. Эта же пленка склеила между собой то, что не укладывалось в голове раньше: и австриец, и контролеры, и рыцари «Военторга», и книжная лавка, где не зря мне в машине померещился Гек, и развал, на котором они с Казахом, оказывается, торговали — больше не противоречили друг другу. Наоборот, и угол под козырьком, занятый раскладными столиками с книгами, и кучки покупателей, и Казах, колдовавший над ящиком из-под книг, совместились в моем сознании со мной самим, Аней и вообще всем тем, что хранила моя память.

Снаружи донесся голос:

— Ну, будь здоров!

Казах кивнул, улыбаясь узкими азиатскими губами, и опрокинул, отвернувшись к стене.

Я очнулся. Теперь, когда первая волна опьянения прошла, я почувствовал себя за лотком... как на сцене, будто это театр — и все на меня смотрят, словно нужно что-то играть, хотя ни Казах, ни толпа покупателей не обращали на меня внимания.

Тогда я спустился со сцены, успокоился, закурил и стал наблюдать. Гек стоял на дальнем конце и заигрывал со студентками. Те купили «Новую жизнь» и приценивались к Фрейду, а он предлагал сборник «Сумерки богов» в придачу. Казах ни с кем не разговаривал, он стоял на углу и смотрел на книги и покупателей. Он был рослым и широкоплечим, а когда садился на корточки перед коробкой, словно втрое складывался, только далеко вперед, как чужие, торчали колени. В коробке лежала выручка. Беззвучно шевеля губами, Казах с наслаждением перетасовал купюры и сложил их.

— Это что, за все?

Он ворчал, потому что Гек отдавал книги вполцены.

— Не жмотничай.

Гек запустил в коробку руку:

— Вермут или водка?

Казах протянул зонтик.

— И сосиски у Шептухи.

Так началась моя жизнь на книжном развале.

Для начала я перетасил на развал и баснословно выгодно продал свои старые книги. Потом мне предложили поработать на погрузке, подменить днем. Я не возражал, почему бы и нет — и постепенно втянулся.

Книги на лотке продавались букинистические и новые, в основном переиздания — философия, психология, история и поэзия, до этого запрещавшиеся. Казах

получал книги в лавке, от которой они работали. Пенсионеры, как правило интеллигентного вида тетушки в старых плащиках, часто привозили книги прямо на лоток, в тележке. Тогда лавка в схеме не участвовала. Пенсионеров привлекало, что книга оплачивается сразу наличными. Деньги выходили небольшие, но тех, кому не хватало на хлеб, схема устраивала.

Книга тут же выставлялась на лоток, вдвое-втрое дороже. Случались выезды на дом, когда клиент хотел сдать библиотеку, и тогда я стоял на лотке один, подменяя того и другого. Сколько денег уходило в лавку, сколько оседало в карманах — в эти тонкости меня не посвящали, а платили в зависимости от выручки. Другая часть прибыли уходила на милицию и чеченский рэкет в лице Руслана. Этот Руслан влезал на своем белом «мерседесе» прямо на тротуар и угрюмо скалился из окна машины. Потом, когда его застрелили в «Жигулях», к нам повадились два вертлявых и жидкотельных дагестанца. И тот, и эти приходили строго раз в неделю; менты расписания не признавали и обходились дороже. Часть денег пропивалась просто так, без учета.

Гек с Казахом пили постоянно. Водка или портвейн, пиво, мадера, кубинский ром — их устраивало все, что выбрасывали в ларьке напротив. После бутылки Гек преображался. Он чувствовал уверенность. Он мог обсуждать книгу, забыв обо всем на свете, с удовольствием показывая покупателю, что перед ним человек, который знает и любит литературу. Это была его стихия, хотя по разговорам я понимал, что познания Гека в литературе небезукоризненные. Он мог перепутать века и фамилии или вообще не иметь представления о книге, не знать которую было невозможно. Но то, что задело его и засело в нем, почти всегда получало самую неожиданную интерпретацию. Неполнота знаний как будто давала ему возможность устанавливать новые связи внутри того, что известно. Иногда он попадал пальцем в небо. Но чаще угадывал вещи, которые ученому человеку никогда бы не пришли в голову.

Обычно разговор начинался из-за конкретной книги. Это мог быть «Медный всадник» — как, например, сегодня, когда Гек и покупатель, сцепившись языками, сдвинулись на край лотка, устроив настоящий диспут.

— Вчитайтесь же, посмотрите!

Гек наугад распахнул книгу.

— Готовый сценарий, кино! — он поднял глаза. — Нет?

Заинтригованный покупатель поспешно выдернул из рук книгу.

— Что вы имеете в виду, молодой человек?

Гек говорил о чередовании общих и крупных планов, «невероятном для того времени, просто невероятном». Показывал «перебивки» между планами, то, насколько тщательно «кадры» озвучены, как неживое сравнивается с живым, чтобы заставить читателя увидеть и услышать то, что происходит.

— Не зря же он назвал ее *повесть*!

Часто к разговору подключался третий — из тех, что копался рядом. «Да что вы такое говорите!» или «Ну это уже совсем никуда не годится». И Гек, постояв еще минуту, с победным видом отчаливал, оставив спорщиков.

Казах встречал его с недовольным лицом — «сколько можно, иди работай», но во время таких диспутов я часто перехватывал его восхищенный взгляд. Чем пристальней наблюдал я за этой парой, тем больше убеждался, что Казах хоть и обходится с Геком запанибратски, хоть и попрекает и понукает его, но в душе испытывает пиетет. Он прощал Геку прогулы и то, что тот норовил прихватить лишнюю сотню. Прощал, когда Гек присваивал книгу, которая ему понравилась. Он закрывал глаза на то, что Гек срывался с лотка за девушкой, что мог не прийти на погрузку, потому что в «Рекорде» крутят «Жену керосинщика» или какой-то Ганелин играет в музее Глинки. Он, этот Казах, хоть ругался, хоть и говорил «нет», «не хаами» — в душе все равно уступал. Видел это и Гек — и пользовался.

Пару раз на книжный развал заходила Татьяна с Виталиком. Она хитро улыбалась и крепко держала того под руку. А он, посмеиваясь, изучал свободной рукой книги. Оба они выглядели влюбленной парой.



Торговля за прилавком вернула меня к жизни. С усмешкой вспоминал я ревность к Виталику, да и австриец забылся. Когда карманы под вечер набиты разноцветными купюрами — может ли быть иначе? Наоборот, Аня стала тихой и уступчивой. Теперь, задерживаясь допоздна или ночуя в своей каморке, мне больше не надо было оправдываться, я просто ставил ее в известность. Чем чаще я чувствовал в себе эту свободу, чем чаще позволял проявлять ее, тем покладистее и нежнее была со мной Аня.

Иногда Татьяна заходила одна. Они с Геком ворковали на краю развала, а потом возвращались к машине. Сидя на коробке, я исподволь разглядывал Татьяну. Мне не верилось, что именно с этой красивой, изящной женщиной я провел ночь. Теперь мне нравилось в ней все — стройная фигура и как будто помолодевшее, уже не такое вострое лицо, то, как она улыбается мне, как переступает с ноги на ногу, прижимая сумочку, или откидывает со лба волосы, обнажая чистый лоб. Как вспыхивают темным блеском ее глаза, когда наши взгляды встречаются. И то, что от этого взгляда я больше не испытываю неловкости.

Книжный развал, на котором я очутился, был частью торговой системы, процветающей вокруг «Дома книги» на Калининском. Нелегальной, разумеется. Среди «жучков», отирающихся вокруг нашего лотка — бомжеватого вида, без возраста и с одинаково плохими зубами — имела своя иерархия. За несколько дней мне удалось изучить ее. Верховодил на проспекте Коля из Королева, бородатый рябой детина с лицом кээспэшника. Пока наука не рухнула, он работал в КБ, а теперь перешел на книги. Специализировался Коля на редких словарях. Англо-русский по химии или арабско-русский по нефтедобыче, испанский математический — они были редкими, поскольку не переиздавались с семидесятых, а теперь, в девяностых, вдруг многим понадобились. «Жучки» говорили, что словари казенные, и Коля на пару с королевским библиотекарем просто распродает фонды. Правда, никаких библиотечных отметин на книгах не было. Но смыть штамп в то время тоже ничего не стоило.

Другим заводилой был Шурик из Отрадного. Он работал с томами из собраний сочинений, которые добывал по окраинным букинистам, куда не забредали скупщики из центра. Книги он возил в клетчатой пенсионерской тележке. Ухоженный, откормленный малый, он отличался от большинства книжных скупщиков, больше похожих на бродяг или нищих. Говорили, что раньше он играл в оркестре на флейте и что его жена работает в кооперативном кафе. Поскольку из собраний пропадали как правило одни и те же томики — с «Грозой», «Анной Карениной» или чеховскими пьесами, — работа у Шурика была довольно однообразной.

Третий тип, невзрачный паренек по кличке Крысеньш, занимался «литпамятниками». Он мог достать любую, даже самую редкую книгу из этой серии. Например, «Тараса Бульбу». Этот мифический «Бульба» фигурировал в разговорах часто. Те, кто хоть раз держал книгу в руках, считались небожителями. Что объяснялось просто — ведь этот «Бульба», выпущенный в пятидесятых к юбилею писателя, остался нераспродан и пошел под нож. А Крысеньш брался найти даже суперобложку (все «Литпамятники» первоначально имели суперобложку). Конечно, не все суперобложки ценилась одинаково. Например, «памятник» Фолкнера почти всегда шел *одетым*, а достать «супер» под Пополь Вуха считалось невозможным, поскольку «супер» к нему печатался подарочным тиражом только для членов Академии.

Альбомами по искусству заведовал Мордатый — книжник, работавший прямо у «Дома книги». Мордача недолголюбивали, поскольку, курируя мелких альбомщиков, он нещадно обдирали их. Как ни странно, альбомы по искусству в те годы оставались востребованными и стоили хороших денег. Бывшие дефицитом при совке, они и сейчас уходили быстро. Покупали такие альбомы люди интеллигентные, сумевшие сохранить достаток — или новые русские, по советской инерции считавшие издание по искусству хорошим подарком.

Особый спрос был у фотоальбомов «Москва» на европейских языках. Их скупали туристы, повалившие в страну, чтобы своими глазами увидеть, как зарождается

свобода на обломках Империи Зла. Самыми щедрыми слыли немцы — эти покупали, не торгуясь. А самыми сквалыжными считались французы — и это притом что в пересчете на европейские цены альбомы обходились и тем, и этим почти даром. А еще Мордатый мог достать каталоги выставок, приехавших в Москву в те годы чуть ли не каждые полгода — Кандинского, Миро, Малевича, Шагала, Пикассо, Дали.

Еще один тип специализировался на советской периодике. Книжники почему-то звали его полным именем — Володя Григорьев. В любое время года этот высокий и лысоватый, с редкими усиками на губе, господин носил длинное черное пальто и был увешан авоськами. Пальто под мышками давно прорвалось, оттуда торчал ватин. На голове Володя носил красную бейсбольную кепку, перехваченную из гуманитарной помощи. Он мог под заказ отыскать «Известия», вышедшие в день смерти Сталина, или «Огонек» с Гагариным, «Ленинградскую правду», где напечатали ждановское постановление о журналах «Звезда» и «Нева», или «Вечерку» со статьей «Околотирагурный трутень».

Поскольку мобильные телефоны еще не появились, все эти люди, чтобы не пропустить клиента, отирались поблизости от лотка — ведь тот, кто искал книгу, сначала приходил к нам. Тут-то его и цеплял «жучок». Цены на подобные книги были астрономические. Но поскольку официального прејскуранта на услуги такого рода не существовало вовсе, покупатель рано или поздно соглашался.

О самих «жучках» говорили, что они скряги и подпольные миллионеры. Глядя на немых и нечесаных, не совсем психически здоровых людей, можно было поверить в первое. Но миллионеры...

Кивая на пылающий закат, Казах предрекал снегопад и поторапливал. Мы принялись укладывать книги в коробки, а Гек побежал вызывать машину. Вскоре на тротуар, лязгая железом, взобрался наш зеленый ЕРАЗ. За рулем измятого и облупленного фургона сидел Василий Иванович. Этого немолодого, хитрого и вечно поддающего мужика Казах называл *Чапаев*. Тот был веселым малым, блестел стальным зубом и охотно помогал с коробками, взамен требуя выпивки.

По жребию место в теплой кабине выпало мне, а ребята загрузились в кузов. Отрыгивая нашим вермутом, Иванович сел за руль и дернул костыль. От резкого старта в кузове посыпались коробки.

— Чапаев! — двинул в стену Казах, но тот только оскалился.

Выскочив в темный Мерзляковский, Иванович тут же зацепил одну, а после нее — другую машину, стоявшие на обочине. Обе тут же завьили, запиликали.

— Карлу скажу! — орал Казах. — Заканчивай!

— Не ссы на ляжки, — цедил в ответ Чапаев.

Закончив с разгрузкой, Казах объявил, что знает, где у Карла коньячная заначка. Бутылку можно было выпить, если завтра вернуть такую же до пяти вечера — чтобы Карл ничего не заметил. Пить он начинал именно в это время, а гастроним, где продавали коньяк, находился на бульваре.

В первом часу Казах опомнился и побежал на метро — оказывается, на Сходненской его ждали жена и дочка. Мы с Геком остались и допили бутылку.

Улица, два часа назад по-весеннему голая и сухая, лежала в снегу. Он сыпался комками, заполняя ночную тишину глухим стуком. Эта быстрая смена весны на зиму остро передавала само время. Казалось, его даже можно потрогать — как снег на побелевших карнизах. Это время беспощадно отмеряло и отрезало куски жизни, моей жизни. Оно безвозвратно стирало их, превращало в ничто, в снег и черный воздух.

Мы вышли по Калашному на Калининский.

— Давай ко мне, — почти приказал Гек. — Чего будить?

Это он говорил о моей Ане.

— Поздно, машину все равно не поймаешь.

Его тон поменялся на просительный.

— Телефон есть? — спросил я.



Он кивнул.

Мы молча шли по Воздвиженке на Боровицкую. Темные фасады нежилых зданий напоминали старую мебель, опасливо отодвинутую от Кремля. Машины ехали редко и медленно, отчего следы успевало занести снегом. Не площадь, но белое поле лежало перед нами.

Прямой и короткий, Лебяжий напоминал питерскую перспективу. Мы спустились в переулок, Гек дернул первую от моста дверь. Та, сгребая снег, с лязгом подавалась.

На последнем этаже он достал ключи и предупредил, что это коммуналка. Из коридора пахло кошкой, пригоревшим луком и какой-то краской. Щелкнув выключателем, Гек быстро втянул меня из коридора в комнату, словно боялся, что нас заметят.

Пенал, где мы очутились, был еще меньшим, чем мой на Грановского. Знакомая картина — тот же электрический чайник, радиоточка, пишущая машинка «Москва». Только вместо топчана — диван.

— Ляжешь в соседней, — он показал на дверь.

За дверью имелась еще одна клетуха.

В окне висела Боровицкая башня. Ее звезда светилась сквозь снежное марево бурым бутылочным осколком. А мост взмывал трамплином и терялся вместе с домом на набережной в сумерках.

Аня не подходила к телефону — наверное, спала. Пока я накручивал диск, Гек вытащил из-за окна авоську и декламировал, орудуя над сковородкой:

— Коробка с красным померанцем —

Моя каморка.

О, не об номера ж мараться,

По гроб, до морга!

На столе лоснились два куриных окорока и пачка масла, стояла бутылка «Сибирской», желтел батон хлеба.

— Твои стихи? — спросил я.

Он снисходительно усмехнулся:

— Пастернак, старина.

На печной стене, куда он показывал, из-под облицовки тянулись рваные полосы.

— Обоев цвет, как дуб, коричнев...

Цвет старых обоев был, действительно, темным.

— С померанцем просто: в тот год на спичечных коробках печатали апельсины, я проверил. Отсюда образ.

Он бросил ледяные окорока на сковородку:

— У настоящего поэта за каждым образом конкретные вещи.

Вода под окороками шипела и пузырилась.

— Добро пожаловать в комнату Пастернака. Ты запиваешь?

Курицу ели руками, оставляя на рюмках жирные пятна. Мне хотелось услышать от Гека что-то в духе гавайских закатов или о стихах и вдохновении, о том, каково это — быть поэтом. А он говорил о рыжей кожанке из Италии, об альбомах по искусству, что их надо хорошо перепродать, чтобы купить эту куртку. Гек спросил меня, держать ли деньги в «МММ» дальше или пора вытаскивать от греха подальше, набрал телефонный номер точного времени, где сообщали курс акций, потом поинтересовался, могу ли я помочь с загранпаспортом и сколько это стоит.

— У тебя с Анной — как?

Вопрос прозвучал неожиданно, я даже не сразу понял, кто это — Анна.

— Хорошо, — я пожал плечами. — А что?

В ответ Гек сделал вид, что занят курицей.

Чем дольше мы разговаривали, тем больше я убеждался, что Гек держит меня за другого человека. Но за кого? Спросить в лоб не хватало духа, а продолжать игру в прятки становилось невыносимо. Я пошел спать...



Утром при свете дня комната преобразилась. Над кроватью появилась репродукция иконы, древнерусский святой со страдальческим ликом (рамку вокруг вырванной страницы чья-то рука нарисовала прямо по обоям). Между окон виднелась еще картинка, абстракция в духе Клее или Кандинского. Над круглым, спиленным с одного бока столом стояли на железных полках книги — подшивка «Иностранки» за 1989 год с «Улиссом», несколько антологий современной американской и английской поэзии, детективы на газетной бумаге, рядом томики «Русской философской мысли», бордовый томище «Божественной комедии» 1940 года издания и разрозненные тома Достоевского из собрания 1895 года. Под столом лежали выпуски газеты, где Гек работал.

Я поднял одну, развернул. Пробежал глазами. Подвал полосы занимала фотография, на которой я с удивлением узнал сцену из спектакля, где играла Аня. Автором заметки был Гек.

16. ОБЩЕСТВО РУССКОЙ ЕВРОПЫ

Автобус № 111 подъехал через минуту — видно, Гек знал расписание. Мы пробили билеты. Резиновый тамбур заскрипел, «Икарус» потащился на мост.

Москва утонула в снегу. Слева почти сливались с белым небом заснеженные луковницы Воскресенской церкви. Чуть дальше поблескивали колпачки Климента. С другой стороны парил бассейн, то открывая, то пряча в клубах пара кафкианский Замок — силуэт Министерства.

На 1-й Градской мы вышли. Проспект еще шипел и брызгал снегом, а здесь потянулись тихие улицы. Деревья почти касались тяжелыми ветками земли. Между автомобилями с белыми шапками на крышах лежал сметенный в пирамиды снег. Квартал пустовал, только несколько человек топтались у дверей винного магазина.

Между деревьев виднелась красная кирпичная стена. Башня на углу напоминала шахматную ладью, а сама стена с бойницами — древнюю крепость. То, что вокруг хрущобы и чахлаый заводик, делало их похожими на декорацию.

— Ты что, не знал? — Гек снисходительно посмотрел на меня.

Я не знал.

Мы вышли на аллею.

И черные липовые стволы, образующие эту аллею, и розовые зубцы стен, и еле слышные шаги по рыхлому снегу — все складывалось в ритм, и этот ритм пронизывал утренний воздух. В этом ритме, словно вторя ему, катила коляску юная мамаша. Бежал из подъезда в подъезд мужик в сером ватнике. Кралась, брезгливо трогая снег лапой, рыжая кошка. Отрывисто и отчетливо каркали, тоже в такт, вороны. И когда они прыгали с ветки на ветку, сбивая ломти снега, те падали на землю тоже через равные промежутки.

Этот ритм (или гул) был настолько явственным, что я слышал его даже внутри. Говорить, думать, шагать — все хотелось делать, подчиняясь этому ритму.

— Первая сцена, — Гек обвел рукой аллею, — здесь.

Мы остановились, он снял шапку.

— Мой новый роман! — вытер пот на лбу. — Герой, погруженный в себя, бредет вдоль монастырской стены. Он одинок и никому не нужен...

Обернувшись, девушка с этюдником улыбнулась.

— Сцена вторая: видение рыси, льва и волчицы, — Гек кое-как нацепил шапку. — Или он видит их в самом деле? Рысь могла сбежать из зоопарка...

Про сбежавшую рысь писали недавно в «Комсомольце».

— Похоже на Данте, — предположил я.

Он смахнул варежкой снег с лавки.

Мы остановились.

— Опоздал я как-то зимой на последний трамвай, — начал он. — Вот здесь опоздал, на Шаболовке. Что делать? На улице минус тридцать и никаких подъездов. Местность такая, что только гаражи и фабрики. А идти пять остановок. И вот я иду.

Чертыхаюсь про себя, что свалюсь с воспалением — ну и подбираюсь потихоньку к кладбищу... Тут недалеко кладбище.

Гек, не оглядываясь, пошел по аллее.

— А на кладбище горит огонь, — его голос долетал словно ниоткуда. — Прямо перед храмом — такой яркий, что купол в темноте видно. Это был не костер, как я сначала подумал, а Вечный огонь. У обелиска. На кладбище есть обелиск павшим. Я бегом к огню — подхожу, протягиваю руки, подставляю лицо, спину... Блаженство, в общем. Спасение. И вдруг слышу, что рядом возня какая-то. Голоса, кашель. Как в зрительном зале, просто из-за яркого света не видно. Оказалось, что это бездомные, бомжи. Когда глаза привыкли, я увидел, что у них тут вокруг огня целый симпозиум. Тушенка на ящиках, водка. И вот один мне протягивает банку. Майонезную, с водкой. Выпей, согрейся. Что лучше, менингит или сифилис? И я пью. Лиц из-за тряпок не видно, только белки блестят. Мужики или бабы, непонятно. Но вонь такая, что даже на холоде чувствуется. Хотя был там и другой запах.

Под самой башней Гек снова остановился.

— Этот странный цветочный запах, понимаешь? Он перебивал даже их миазмы. Как будто духи или одеколон разлили. Но откуда? Пили-то они водку... Пока один не ткнул в небо. Наверх посмотри, говорит. Я поднял голову и обомлел: прямо над Вечным огнем качалась цветущая ветка. Вся ветка в белых цветках-свечках. Каштан от тепла зацвел! Кругом минус тридцать, сугробы — а она цветет.

Гек остановился перед воротами.

— То есть, все эти люди, бомжи — они не в Москве уже давно, они...

Он шагнул в ворота и провалился в темноту.

— «Иди за мной, и в вечные селенья...» — гулко донеслось из-под сводов.

Огромный, с серыми пузатыми куполами, храм вздымался в небо. Утаптывая снег, мы бесшумно поднялись по широкой лестнице. Гек навалился на дверь, та подалась. Под ногами захрустел битый кирпич и камень, в нос ударил запах штукатурки. Я увидел рассеченный столбами и сведенный куполом храм. Чем дальше я вглядывался в своды, тем отчетливее мне казалось, что храм вращается. Иконостас, подсвеченный слабым светом из разбитых окон; снег, наметенный на пол; силуэты святых, парящие на столбах; реставрационные леса и даже пар изо рта — вращались, словно отделяя храм от города, откуда мы пришли.

В шапках снега, надгробия торчали вкривь и вкось, а стволы кладбищенских деревьев, наоборот, стояли ровно.

Гек уверенно протоптывал тропинку между могил. Вскоре мы вышли на свежий след, а между крестов замелькала красная кепка и цветастый платок. Это были друзья Гека.

— Господа, знакомьтесь!

Мы протиснулись к заметной снегом могиле.

— Это близкий друг нашей... — прозвучало Анино имя, — и мой добрый товарищ.

Здороваясь, юноша в кепке как следует тряхнул меня за руку. Девушка в дубленке с красивым худым лицом улыбнулась (это она носила платок). Третий, без шапки, представился:

— Яков.

Пока мы выясняли, где виделись (на поэтическом вечере), Гек вытащил из-под крыльца часовни веник. Вскоре из-под снега появился угол каменного фундамента и могильная плита.

Я наклонился, чтобы расчистить буквы. «Петр Яковлевич Чаадаев», — значилось на плите.

«Вот к кому в гости он притащил меня!»

— Ждем? — Гек обвел глазами.

— Ждем, ждем, — откликнулась девушка. — Нехорошо без них.

Под дубленкой она прятала гвоздики и теперь раскладывала их на могиле.

— Жарко... — она не застегивалась. — Весна, да? Пахнет.

Она повернулась к Геку, словно демонстрируя, как красиво серая кофта обтягивает грудь.

— Идут.

Это сказал Яков.

Среди крестов замелькали фигурки людей, два или три человека.

— Сюда, здесь! — Гек сделал несколько шагов.

Его фигура заслоняла тех, кто шел, но я уже знал, кого увижу. Через минуту мы стояли напротив, как дуэлянты, я и Аня. Аня хмурилась, растерянно оглядывая всех и тщательно отряхивая снег с перчаток. А я брнчал в кармане мелочью.

Наконец она улыбнулась, как будто только узнала меня. Шагнула, оступилась. Я подхватил ее, обнял.

— Быстро нашли? — буркнул Гек.

— Да, — Аня провела подбородком по моему воротнику. — В метро встретились.

— От Левы! — в воздухе засверкала бутылка. — Дома, стол готовит.

Шампанское протянула крупная дама, тоже знакомая по вечеру.

— Ну и где? — искала глазами. — Показывай.

— Да вот.

— Боже, — она отступила, сняла малахай. — И вот она вся в этом, вся — наша Россия...

Слова резали слух, но в этой нескладной женщине — как она сутулится в своей шубе, как смотрит на плиту невидящими глазами — все говорило о том, что человек говорит именно то, что думает.

— Ну, — она уже командовала. — Молодые люди...

Гек хлопнул пробкой от бутылки.

— Деревянная, — показал пробку.

Девушка достала из холщовой сумки стаканы.

Ледяное шампанское лилось густой струей и почти не пенилось.

— За русскую Европу, — дама подняла стакан. — Какие вы молодцы...

Она приобняла Якова, помахала Геку, улыбнулась нашей паре.

Отпивая шампанское, я обнимал Аню. Сколько мы не виделись, сутки? А будто прошла жизнь. В новой жизни, которая началась утром без нашего ведома, другой человек перенял черты моей Ани. Но это была прежняя Аня, только еще ближе, роднее. Как если бы, забыв о том, что мы вместе, судьба снова свела нас.

Обнимая Аню, я любил и эту крупную даму в малахае, и незнакомых молодых людей, собравшихся на заброшенном монастырском кладбище, и само кладбище. Я чувствовал, что между мной и Аней натягивались новые нити. Они были прочными, потому что ничего не скрепляли, никакими узлами, кроме переживания этого снежного утра с галочьим криком, не связывали. Но именно они держали прочнее всего то, чем занимались наши тела и что мы говорили друг другу.

Гек перешептывался с девушкой в платке, поглаживая рукав ее дубленки. Яков о чем-то рассуждал с дамой. Остальные разбрелись.

— Смотри-ка, — закричал молодой человек в красной кепке, — Василий Львович!

Он смахнул снег, расчищая надпись.

— Это общество Русской Европы, — Аня кивнула на могилу. — Западные ценности и русская душа, новый тип человека. Индивидуализм и всемирная отзывчивость. Ты прости, я плохо в этом понимаю. Лучше спроси Гека, он все придумал. Я только знаю, что они в этот день собираются на его могиле. Что-то вроде клятвы на Воробьевых горах — шуточной, конечно. Но и нет, не шуточной. Не знаю!.. Все это, наверное, глупо, но люди милые. Тебе с ними должно быть интересно. Издатели, поэты... Потом пойдем в гости к философу. Он только что из Германии, это его шампанское. Ты хочешь?

Я хотел.

Философ жил на Донской улице. Он выглядел ровно так, как можно представить философа в наше время: небольшого роста человек с аккуратной бородкой и тяжелыми роговыми очками. В дверях его узкоплечая и тонкокостная фигура казалась подростковой.

Пол в квартире покрывали струганные доски, бросавшие на белые стены золотистый свет. Книг почти не было, зато на стене висели африканские фигурки и деревянные русские ложки.

Гостиная переходила в кухню, где стоял круглый стол.

— А где Аля? — спросил кто-то.

— В больнице.

— Жена, — шепнула Аня. — Сезонное обострение.

Мы расселись. Приборы и посуда лежали на столе ровно и симметрично, и этот военный порядок из тарелок, ножей и вилок хотелось поскорее нарушить, пустить в сражение. А философ, как полководец, смотрел на стол с мрачным восторгом. Он сидел во главе, но немного сбоку, оставив еще одно место, словно кто-то придет или только что вышел. Когда, протянув узкую ладонь, он опустил абажур, лица гостей ступевались. Я снова посмотрел на философа. Теперь меня поразили его глаза, настолько выпуклые, что хотелось обернуться, словно он смотрит тебе за спину.

— Интерес огромный, — он говорил негромко и монотонно. — В Германии настоящий бум, это правда. Но без того, что сейчас происходит в нашей политике, это искусство не существует.

— То есть?

— Спрос есть у того, к чему можно прикрепить серп и молот. Буквально — прибить, пририсовать, приклеить. Да — интересно, нет — нет.

— Разве к искусству можно что-то приклеить?

Это спросил Гек, а Яков вертел головой от одного говорящего к другому.

— Получила вчера, — сказала дама философу.

Она повернулась к нам:

— Письмо от Дмитрия. Разрешил нам «Дон Кихота».

— Она издатель, — снова шепнула Аня. — Издает Набокова.

— Обложка — ничего лишнего, — уточнила дама. — Фотография. Мы ему, кажется, нравимся.

Философ кивнул, делая паузу.

— Ситуация любопытная, — продолжил он. — Сегодня тысячи, но завтра — сотни тысяч. Только в нашем заштатном университете уже три турка.

Речь шла об иммигрантах.

— Немцы, конечно, в ужасе. Но, как и всякое смешение, это любопытно.

Он рассмеялся и тут же закашлялся:

— Мусульмане в Европе — мечта османских султанов... Откроете?

Гек взял штопор и бутылку.

— Ведь что такое ислам в нашем понимании? — философ кивнул ему. — Это кадры с бесноватыми арабами по телевизору. Но когда живешь бок о бок, когда быт и семейные отношения, тогда другое... У меня рядом с домом мечеть. Обычная застройка, сразу и не заметишь. Я познакомился с имамом, мы разговорились. Знаете, что меня поразило? О своей религии он говорил так, будто Пророк только вчера умер. Как будто все это вчера было.

Гости, ждавшие рассказов о Германии, слушали.

— Потом я немного почитал о Пророке, на немецком много издано. И мне вдруг пришло в голову: это же поэт. Возьмите предания о первых годах. Все эти экстатические видения, голоса. Ритмическая речь. Юношеское изгойство, неумение жить и работать в общине. Тяга к одиночеству. Женитьба на вдове-богачке и снова затворничество. Голодание, галлюцинации. И все — ради голоса свыше. Вдохновение, по-нашему. Оно было сильнее земных радостей. Но тогда все сходится. Это же

описание творческого акта, если не брать в расчет мусульманскую догматику. Возвышенная, ритмически организованная речь в те времена воспринималась как чудо, как проявление божественной силы в земной оболочке. Что соответствует и пророкам, и поэтам, людям с сильно развитой интуицией и воображением. Посмотрите под этим углом на Коран — это набор толкований: сколько жен, как делить имущество, что делать с пленными, как погребать, какую пищу вкушать и т. д. Разбор конкретных ситуаций, с которыми мусульмане сталкивались в первые годы ислама. Поскольку он был пророком, ему следовало объяснять конкретные вещи через образы. Но ведь и у поэта за каждым образом, трижды темным или прекрасным, всегда есть что-то четкое, вещь или мысль. Просто с течением времени эта вещь забывается, а образы — они остаются. И можно наполнять их новым смыслом, как наполняет стихотворение каждый новый читатель. Коран, как стихи, можно читать по-своему и по-новому. И дальше возможностей для толкования будет только больше, это же время. Единственно постоянная величина в Коране — ритмическая возвышенность тона, красота речи. Накал. Во всем остальном Коран невиданно лоялен для постороннего восприятия. Почти как стихотворный сборник.

Говоря все это ровным и мягким, даже немного равнодушным тоном, он также ровно и мягко смотрел на всех и ни на кого в отдельности.

— Как ваше общество? — тем же тоном спросил Гека. — Исповедуете?

— Да.

— Вы считаете, наш путь — это русская Европа?

— Конечно.

— Естественное право?

— Разумеется.

— Как же вы хотите сделать этих людей европейцами?

— Откроем границы, пусть едут. Учатся.

— А если не захотят?

— Как это? — Гек не понимал.

— Денег не будет или охоты... Да что угодно. Картошку надо копать или на блины к теще ехать.

— Тогда надо сделать, чтобы поехали. Заставить.

— Как Петр Первый, например?

— Хотя бы.

— Не есть ли это повторение истории?

Гости за столом сочувственно смотрели на Гека.

— Знаете... зачем казуистика? — Гек не смутился. — Я же об идее говорю, не о картошке. Когда набьют брюхо, понадобится смысл. Через пять-шесть лет — *зачем жить?* — понимаете? Кто мы... откуда... куда идем? Без ответов на эти вопросы нет человека. А тут — русский европеизм. Взять идею... как всеобщую, как государственное направление. Есть же рынок национальных идей, американских или арабских, израильских. Одних советских сколько было... Идея русского европеизма могла бы стать бомбой на этом рынке. Посильнее, чем балеты Дягилева или Ельцин на танке. Это ведь наша культурная основа, заимствовать. Никто лучше нас этого не умеет делать. Возьмите то, что осталось от старой культуры. Архитектура и живопись, музыка, литература — все это пересажено с европейского. Но как расцвело у нас!

— Но зачем, — грустно перебила его девушка. — Это же вторично, где развитие...

Она посмотрела на Якова.

Тот помотал головой, откашлялся.

— Не понимаю, — сухо сказал он. — Как можно рассуждать об истории, не учитывая религии. Наша основа — это православие. Вся русская история разворачивалась внутри православия. Оно и есть суть нашей истории. Без религии, без нравственного аспекта ничего не возможно. Вся жизнь в религии — и она в жизни. Так было и должно быть.



Все замолкли, а Яков говорил, помогая себе ладонью, прямой и напряженной:

— Семнадцатый год был не против капитализма, а против петровских реформ. За старую историю. За возрождение религиозного сознания. Просроченный бунт, революция как контрреволюция. Потому что нельзя было разделять русскую жизнь на светскую и религиозную. Нельзя было подчинять Церковь. И те, кто пришли в семнадцатом, просто вернули старый уклад, снова сделали жизнь страны литургической. Все эти съезды — это же Соборы. «Крестные ходы» на парадах... Я уж молчу про нетленные мощи на Красной площади. Сталин — Бог-Отец. Но теперь-то, когда советская власть кончилась, почему не вернуть власть обратно, не возратить ее Церкви? Зачем эта подмена?

Яков замолчал, поджал губы.

— Революция как контрреволюция... — медленно повторил философ.

— Левочка, это что за вино? — спросила издательша.

— Это чилийское, Оленька.

Аня прошептала:

— Яков учится на физика. Физика и религия, нет?

Философ задумчиво скатывал и раскатывал салфетку.

— Вот вы собираетесь на могиле Чаадаева, — сказал он. — А Чаадаев видел смысл истории в том, чтобы каждый народ выразил свою суть. Он считал, что у русского народа эта суть... или, по его словам, «поэзия» заключается в обожествлении и повиновении власти, какой бы и откуда она ни была. И тут мы прямые наследники Византии.

Обвел взглядом:

— «Общество русской Византии» — как вам? Шансов больше, по-моему.

— Лучше «Новое евразийство».

Это подсказал Яков.

— Смеетесь... — обиделся Гек.

— Да! То есть, нет, конечно. О том, что вы говорите, много писали в начале века, — философ обернулся к окну. — Вам не к Чаадаеву, к Бердяеву надо.

Гек пожал плечами:

— Просто хорошее время. Не сто лет назад, а сейчас. Идея же должна вызреть? Вот и вызрела, подтвердилась. Когда же еще?

Гек говорил почти умоляюще.

— А вы знаете, я с вами согласен, — философ с усилием поднял глаза. — И с вами тоже.

Он посмотрел на Якова.

— Даже полностью разделяю. У меня только одно сомнение... — Он втянул волосатые щеки. — Нет материала. Куда пересаживать — что евразийство, что европеизм? Или православие... Солончак, пустыня. И дальше эта пустыня будет только расти. Убивать вокруг себя все живое. А сколько десятилетий потребуется, чтобы оживить эту почву?

— «Свободы сеятель пустынный...» — издательша подняла рюмку. — Давайте!

— Да, — философ впервые за вечер улыбнулся. — Вы, Ольга Михайловна, как всегда в точку. За нашу вечную преждевременность.

— Ничего, ничего, — та подцепила вилкой с тарелки. — Вот издадим Набокова, издадим Бродского, потом Гека, других молодых и талантливых — и будет вам русский европеизм. Будет русская Европа.

— А Баркова?

— Кого?

Все рассмеялись.

— Пушкин говорил, что свобода — это когда издадут Баркова.

— Да издали уже, — проворчал Яков.

Философ, улыбаясь, потянулся к полкам.

Томик пошел по рукам.

Шли, растянувшись цепочкой, мимо монастыря. Подморозило, и обледеневшие ветки тихо позвякивали.

Издательша поймала машину, Яков остался ждать трамвая. Мы подошли к метро.

— Поеду, — сказала девушка.

— Держи.

Гек протянул жетон.

С жетоном в руке она вдруг принялась рассказывать о выставке. Что будет презентация журнала, который она оформила.

— Забыла, — достала из сумки журнальные книжки. — Вот.

Она боялась наскучить и говорила скороговоркой:

— Это первый номер, а я художник. Такой новый тип журнала, литература и картинки. Наша, переводная, архивы...

Из дверей метро обдувал теплый воздух. Аня листала журнал, то и дело поглядывая на огоньки Шуховской башни. Гек угрюмо смотрел то на нее, то в сторону.

— Я провожу, — перебил ее.

Девушка на полуслове замолкла. Он взял ее под локоть и, не прощаясь, увел к метро.

— Домой? — спросил я и раскрыл журнал.

Номер открывали новые стихи Гека.

17. ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ

Дневник неизвестного:

«На каникулах в Дубровичах я посвятил в свою тайну Поршнякова. В университете о моей любви знал только Ростислав Залесский.

— Очень рад за тебя, — сказал он, когда я открылся.

Если бы это сказал другой, я бы удивился. Почему рад? Но мысли у Ростислава шли особыми путями, и я просто крепко сжал его руку.

А с ней мы встретились только в октябре.

Быстрый взгляд, несколько слов на бегу:

— Вы? А я только приехала! — она говорила быстро, возбужденно. — Из восточной Ферганы... Нет, вы не представляете! Смешной вы человек... Экспедиция! Ночное небо Азии! Прах веков!

Он мечтательно запрокинула голову.

— Вот только малярия.

Она снова улыбалась, поправляя волосы, перехваченные белой лентой.

— Болела, выздоровела. Ну, прощайте!

Она уходила, а я ошеломленно смотрел вслед. Люблю ли я ее? Нет, это не то слово. Оно не годится. Это не любовь, а больше. Это религия. Если бы она приказала взойти на костер, я взшел бы с восторгом. С великой радостью. Как всходили на костер сподвижники Аввакума. Ведь даже в дерзких мечтах я смел только коснуться поцелуем ее одежды. Но поцеловать в губы?.. Нет, нет! Мысль просто останавливалась перед подобным святотатством.

Яркие минуты встреч — и тяжелые, медлительные раздумья. Как все-таки нелепо я веду себя. Как глуп перед ней. Не умею сказать ничего путного той, которая так ласкова. И тоска, дикая тоска. Только бы увидеть, услышать. Сейчас, сию минуту. А когда вижу — теряюсь. Не могу подойти и сказать прямо. Иду домой, гляжу в учебник. Ем, сплю, живу как во сне. Терзаюсь. Зачем ты ей? Если у нее своя жизнь, свои думы, свои мечты? Чья тень лежит на ее пути — зачем?..

Я блуждал по улицам Ленинграда. По темным переулкам и по мостам, содрогающимся от хода поздних трамваев. В скитаниях по городу мне часто вспоминался тот удивительный вечер, когда после стихов и пения я провожал ее. Как мы шли рука об руку, и передо мной открывался мир, хотя ничего особенного передо мной не

было. Как говорили о книгах и путешествиях. О городе, который свел нас. О моей любовной лирике, которую она отказывалась принимать на свой счет, потому что считала себя недостойной подобного вдохновения.

Мы говорили обо всем и ни о чем. И вот это — идти рядом и говорить ни о чем — стало теперь высшим счастьем. С того вечера я несу это счастье, как самое дорогое в жизни. Обращаюсь к нему в самые тоскливые, черные минуты. Беру у памяти бережно, по крупице — чтобы хватило надолго. Как скряга из Дубровичей, собираю и храню минуты, когда счастье переполняло меня. Эти минуты, они мой музей. Лучшее, что есть в нынешней жизни. Да и в будущей тоже, поскольку мне все чаще кажется, что ничего более счастливого со мной уже не случится.

Правда, с недавних пор меня угнетает мысль, что наши разговоры ей в тягость. Что наши короткие встречи уже не веселят ее как раньше. Конечно, она никогда не давала мне оснований так думать. Но по логике вещей это было неизбежно. Она просто не хотела обижать того, кто посвятил ей стихи. И втайне обрадовалась бы, провались он сквозь землю. Но если для нее это усилие, быть приветливой и нежной, какое право я имею на него?..

Жизнь шла своим чередом. В этой жизни я старался выглядеть прежним человеком. Правда, товарищи по комнате замечали, что со мной что-то неладно. Но на все расспросы я отшучивался или молчал. Смешно, но они даже не догадывались, как меняет мир любовь. Теперь я смотрю на них другими глазами. И вижу такими, какие они на самом деле.

Вот Игорь Громов, его путь понятен. Отличник из отличников, крепок физически, великолепно владеет собой. На экзаменах преподаватели от него в восторге. Еще бы — выводя в матрикуле пятерки, им не надо идти на компромисс с совестью. И в литературе, и в поэзии, и в науке Игорь силен. Он образован, умен, находчив, по любому поводу имеет свое мнение. Но почему наши добрые отношения не перешли в дружбу? Наверное, меня отталкивает именно эта его уверенность. Теперь-то я понимаю, насколько она иллюзорна.

А вот Ваня Олигер. Нам легко и хорошо вместе, в разговоре мы даже подтруниваем друг над другом. С иронией жить легче. Он говорит — как фехтует: легко, точно, быстро. Не то что я, растяпа. Но почему к нему я тоже не чувствую душевной близости? Потому что в нем нет *трецинки*.

Миша Авербах... трещин в нем я тоже не замечал. Жизнерадостный, но не шумный — он, как и я, любит стихи. Но друг ли он? Нет.

Настоящая *трецинка* была у Толи Козлова. Он имел талант к живописи и занимался ею. Но бывает талант и *талант*. Исключительный талант помогает человеку найти себя. Но как быть не исключительно талантливым людям? Их жизнь обычно складывается неудачно. Строй души таких людей влечет их в сторону искусства. Только там они чувствуют себя на месте. Но обстоятельства жизни и та самая *неисключительность* мешают окунуться в избранную стихию полностью. Создать в ней что-то по-настоящему стоящее, свое. Как знакомо мне это чувство! Поэтов много, но настоящих — единицы. В удел остальным достается драма неудавшейся жизни. Толя Козлов переживал эту драму так же глубоко, как и я. Мы, как два неизлечимо больных, знали о себе все. Знали — и ничего не могли исправить.

После олимпиады я был причислен к лику поэтов. Так слава чудака, которая у меня имела, получила законное обоснование. Известное дело — поэт, что с него взять...

Мне все чаще стали приносить стихи собратья по перу. Думаю, их привлекал либерализм моих оценок. В самом деле, зачем обижать людей и поселять в их души зависть... Ведь люди напишут-попишут — и сами бросят.

Обычно я имел дело с неумелым творчеством. Кто-то безуспешно пытался подражать Пушкину, другие повторяли Есенина или Маяковского. Третьи писали, как бог на душу положит. И те, и другие, и третьи чрезвычайно высоко расценивали свое творчество, болезненно реагируя на критические замечания.



Случались эпизоды комичные, расскажу об одном таком. В числе моих знакомых была студентка пятого курса, умная и энергичная еврейка Вера Рольник. Она пообещала свести меня с неким Ривиним, молодым поэтом с филфака. Так вскоре и случилось. Однажды вечером в дверь нашей комнаты № 100 постучали. Вошел незнакомый молодой человек в широком, очень потертом пальто зеленого цвета. Он снял шапку с наушниками и бросил на койку. По плечам рассыпались длинные черные волосы. Вместе с тонкими чертами лица они придавали его облику романтический оттенок.

— Твой адрес мне дала Вера.

Усевшись на мою койку, он заскрипел сеткой.

Я поздоровался.

— Ты пишешь стихи, — сказал он. — Но я пишу лучше. Давай читать...

Так узнал я Алика Ривина. Он стал посещать меня довольно часто. Когда он приходил, из пальто у него вечно торчали измятые тетради со стихами, а во внутреннем кармане лежала бутылка водки. На мизинце он носил черный перстень. Он читал стихи, подвывая и раскачиваясь на койке, отчего сетка еще громче скрипела, а стихи звучали зловеще.

Когда я просил почитать рукопись, он всегда отказывал. Но на слух его стихи были необычными. В них были невозможные, несуразные сравнения, вывернутая логика, рваный ритм. Помню, одна строчка произвела на меня особенное впечатление: “По щекам ее ходят рыбы длинных слез...” И другая, где было “козье небо”.

— Козье небо? — мое сомнение его возмутило. — Неужели ты не понимаешь, что это такое?

Я не понимал.

— Когда по небу мелкие облака, сплошь и рыжие...

Он общипывал воздух пальцами.

— Если образ надо объяснять, он неудачен.

Но от моих слов он отмахивался.

Вскоре Алика исключили. Это меня несколько не удивило, поскольку он не мог уместиться в любых рамках. Однако в университете остались люди с подлинным дарованием. Об одном из них я должен сказать особенно. В университетском коридоре мне часто встречалась веселая, живая девушка с черными вьющимися волосами. Мы познакомились на олимпиаде, девушку звали Наталья Латышева, Тася. Как и Алик, она училась на филологическом.

Вскоре после знакомства Тася дала мне тетрадь стихов. Первым впечатлением при чтении было — господи, как хорошо она пишет! Конечно, в ее стихах еще оставались слабые места. Но это были стихи поэта милостью божией. В них я чувствовал душу, привыкшую носить маску беззаботности.

Стихи Таси были певучими, они звучали той подлинной искренностью, тем незамутненным переживанием, что жадно и бесславно ищешь в книгах современных поэтов. А еще в ее стихах читалась тайная печаль, это была печаль человека, который переживает трагическую любовь.

Стихи Таси высоко ценил литературовед Гуковский. Даже прочил большую будущность — правда, если она избавится от *упадничества*. Но ничего не вышло, в один из осенних дней университет потрясла новость: Тася покончила жизнь самоубийством. Она отравилась, мучилась двое суток. И умерла.

С этой смертью какая-то часть во мне умерла тоже. А стихи Таси, наоборот, заполнили меня и стали жить самостоятельно. Удивительное, горькое и светлое, чувство.

Вскоре настал и мой черный день, 7 декабря. Как его забудешь... Изнывая от тоски, я пришел на лекцию, которую слушал *ее* курс. Пришел, чтобы только увидеть ее. Читал профессор Бауэр — умно и четко, почти без акцента. Но лекции я не слышал. Она была здесь... и была не одна. То, как заботливо этот молодой человек смотрел на нее, как преданно она отвечала, не оставляло сомнений, что это любовная пара. Мне ли не чувствовать этого?

Не помню, как оделся и вышел на улицу. Темно, дождь, ветер. Или нет его? Ни дождя, ни ветра я не чувствовал. Во мне было только одно желание — уйти. Но как? Из университета? Из Ленинграда? Или, как Тася, из жизни?..

— Жизнь! — хотелось мне кричать во тьму Невы. — Скажи напоследок, в чем я виноват перед тобою? Научи оправдывать тебя — чтобы я мог расстаться с тобой. . .»

18. ИСКУССТВО РАССЕЛЕНИЯ

Рейс задерживают из-за кофров — не хватает каких-то бумажек. Сева звонит на канал, подключает контору, чтобы решить проблему.

Наконец старенький Ту-154 взлетает.

— Вы что? — Сева улыбается. — Бойтесь?

Я сижу, вцепившись в подлокотник.

— Давайте в города. . . Где были — хорошо?..

Он называет курортный город, пункт нашего назначения. Я облизываю пересохшие губы:

— Архангельск.

Снимали там когда-то.

— Калуга.

— Издеваетесь?..

Через час под крылом открывается невероятная по красоте картина. Кругом, сколько хватает взгляда, лежат линзы воды. Они покрывают полуостров густой сетью протоков и бухт, лагун и затонов, озер и заливов. Настоящий лабиринт.

— Вот, — Сева показывает вниз. — Сравните.

Открывает атлас:

— Эта кривая кишка — Боспор, видите?

Я пытаюсь разобраться в карте.

— На той стороне Керчь, а это. . .

Самолет плавно уходит на разворот, и Сева, чтобы не потерять вида, перегибается через кресло.

— Молодой человек.

Голос у девушки спокойный, доброжелательный. Извинившись, Сева возвращается на место. Тут же поворачивается обратно:

— Просто хотел успокоить нашего ведущего.

— Бойтся летать? — она смеется. — Правда?

— Прекратите, — толкаю Севу.

— Это коса Чушка, а там Меотийское болото, — говорит она.

— Так греки называли Азовское море, — поясняет Сева.

— Римляне, — поправляет она. — Греки называли его Меотийским *озером*.

Сева опешил и замолкает. Мы знакомимся. Девушку зовут Ася. Коротко стриженные волосы и веснушки под глазами, детская улыбка — Ася открыта и обаятельна, и вместе с тем по-взрослому серьезна. Такое ощущение, что мы давно знакомы.

Самолет ложится на бок, под крылом распаивается море. Видны жидкие барашки волн и бесконечный песчаный берег.

Когда багаж получен, в зале прилетов уже пусто. Сева беспомощно озирается — но нет, Ася исчезла. Мне тоже досадно, что больше мы не увидимся.

На море теплая осень — третья за два месяца съемок. Можно снять бейсболку, расстегнуть куртку, сесть на кофр, подставив лицо к солнцу.

— Сюда! — машет Сева.

По аллее шагает плечистый парень. На лбу у него подпрыгивает чубчик. Руки в карманах, кепка. Шаровары пузыряются от ветра.

— Ваня, — говорит он. — Будем знакомы.

Это наш водитель, арендованный вместе с фургоном.

— Угостишь, Ванюша? — спрашивает дядя Миша.



«Ванюша», скрипя кожанкой, лезет в карман:

— Не против? — достает местные сигареты.

От аэропорта тянется прямая дорога через ровное, как стол, поле. Обсаженная тополями, она похожа на коридор. От ветра тополя нежно шелестят, а опавшие листья выются по асфальту.

Мой номер угловой. Я закутываюсь в одеяло и сажусь в забытый на балконе шезлонг. Круги от стаканов, остатки лета. Ветер по-осеннему холодный, но когда тихо — припекает.

Свет мигает, я приоткрываю глаз. Это на соседний балкон вышел Витя. Он разглядывает меня неподвижными плоскими глазами. Бесшумно уходит.

Я иду в город. В городе пусто, сезон закончился. Людей в парке почти нет. На досках висят старые афиши, и я по привычке читаю имена актеров. Но эти имена ничего не говорят мне.

Аквариум и карусели закрыты, но кафе работают. Хозяйева забегаловки, разризованной синими штурвалами, обещают «сказочный вид на море с террасы». Но терраса закрыта на зиму.

Девушка приглашает в помещение.

— Шпионите?

Это Сева, он один в пустом зале и сидит у окна. Сева ждет барабульку. По части еды на него можно положиться, я заказываю то же. Официантка, приняв заказ, уходит за стойку и оттуда выжидательно смотрит. Но нам пока ничего не надо. Она пожимает плечами и включает музыку. Это Жан-Мишель Жарр, «Магнитные поля».

— Пластинки нашей юности! — улыбаюсь я.

С улицы долетает глухое постукивание. Сева мрачно смотрит в окно, где, подложив под колени сиденье от стула, работает пожилой усач в синем комбинезоне. В одной руке у него деревянный молоток, в другой — каменная плитка.

— Как называется? — Сева показывает вилкой на молоток. — Эта штука, не помните?.. Смешное слово.

— Не помню.

Когда обед закончен, девушка приносит счет. Чек лежит в деревянной коробочке. Я пересчитываю деньги, а Сева покусывает зубочистку.

— Василий Иванович, — вдруг говорит он. — Наш учитель труда.

Продолжая пересчитывать купюры, я поднимаю глаза.

— Психованный человек был, совершенно.

— Работа опасная... — соглашаюсь я.

— Ключом могло захватить, — Сева словно очнулся. — Или руку оторвать, если рукав затянет.

Протягиваю девушке коробку.

— Этот Василий Иванович был фронтовиком, — начинает Сева. — Воевал под Москвой, был контужен. Имел награды. Нам, мальчишкам, он часто рассказывал, как тяжело приходилось тогда, в сорок первом. Когда одна винтовка на десятерых. И что они были такие же мальчишки, немного только старше...

Сева гладит скатерть ладонями.

— Сейчас-то мы знаем, что там творилось. А тогда смеялись. Думали, он чокнулся. Как это — одна винтовка на десятерых? Если Красная Армия всех сильнее... Нам же в кино другое показывали. И он видел, что мы потешаемся. Что для нас это анекдот, а не трагедия.

Сева складывает из зубочисток домик.

— Особенно его с этой винтовкой доводил Шиздик, Артурчик Шизденко. Вертлявый такой, белобрысый. Однажды Иванович не выдержал и схватил молоток — вот такой точно. Бросился за Шиздиком по цеху. Мне тогда показалось, если догонит — убьет. Размозжит насмерть, такая свирепая рожа.

Мы смотрим на старика с молотком.



— Надо было что-то сделать, остановить их. А вместо этого я улюлюкал. Со всеми кричал. Потом Иванычу поплохело. Сел, хрипит. По карманам руками водит. И слезы, мутные такие. По серой коже. А мы стоим и разглядываем его — как раненое животное. Как дикари. Мы и были дикари.

Сева замолкает.

— И что?

— Да ничего, — пожимает плечами. — Вызвали доктора, отпоили валокордином. Через неделю все было по-старому. По цеху, правда, больше не бегал, багровел только. А потом токарные станки вообще убрали. Заменяли на что-то — не помню. Я вообще ничего этого не вспомнил бы, если бы...

Он кивает на окошко.

— Так зачем? — Сева придвигается. — Этот молоток мне зачем? К чему все это помнить? Шиздик, Иваныч... Как они бегают... Бред какой-то.

Если честно, я не знаю, что ответить ему. У каждого свой учитель труда, свой токарный станок. Свой молоток. Из них и состоит человеческая память, наверное.

— Во сколько завтра?

— Выезд в восемь.

Сева сморкается, мы встаем.

Старик тоже заканчивает, складывает инструмент в коробку.

— Киянка, — говорит Сева.

Старик в дверях оборачивается.

На море штиль, и Сева, кряхтя, опускает в воду руки. Мокрыми ладонями проводит по лицу и подставляет лицо под ветер. Я делаю то же самое. Теперь мы похожи на двух мусульман, готовых к молитве.

На пути обратно Сева, увязая в песке, ускоряет шаг. Он кому-то улыбается. Это с лестницы машет Ася.

У Аси белая куртка и голубые джинсы. Она в кедах, улыбается, обнажив мелкие и блестящие, как бусины, зубы. Веснушек почему-то не видно, пропали. Зато на лбу, когда вскидывает бесцветные брови, морщинки.

На лице у Севы плавает глупая улыбка. Я тоже рад нашей встрече. Где-то в душе мне очень хотелось снова увидеть эту девушку.

Взявшись под руки, наша троица идет по аллее, как в старых советских фильмах. По дороге Ася рассказывает, куда едет завтра. Оказывается, ее родная станица рядом с раскопом, где мы снимаем.

— Давайте с нами, — предлагаю. — У нас машина.

— Вещей много, — неопределенно отвечает она.

Несколько минут идем молча.

Она говорит:

— А вы заходите... После съемок — на чай, ладно?

Сева кивает.

— Спросите Горюновых. Моя бабка — учительница, все знают.

— Ася... — галантно осведомляется Сева. — Вы так и не ответили, чем занимаетесь... Или просто каникулы?

Мы останавливаемся у экскурсионной будки.

— Я историк архитектуры, — спокойно говорит Ася. — Тема — «Расселение на полуострове».

Сева отступает, всплескивает руками:

— Историк? Архитектуры?!

— Система расселения в древности. По какому принципу...

Ася не понимает, что так взбудоражило Севу.

— Чтобы копать, надо принцип, — объясняет она.

Поворачивается ко мне:

— Если у геометрической фигуры некоторые вершины утрачены, то, зная, что это был, например, шестиугольник со сторонами определенной длины, можно вычислить расположение недостающих вершин. Так и тут.

Сева переминается, поглядывает на меня.

Ему не терпится поговорить с Асей.

— Ладно, до вечера, — говорю. — Ася, до завтра!

Городской рынок завален корольком, море королька. Пирамиды из фруктов — желтые, оранжевые, малиновые. Я набираю целый пакет королька и зачем-то серые носки из собачьей шерсти.

В гостинице, не разбирая покупки, валюсь на кровать. Мне снятся те же горы королька, только на самолетных креслах. Ася в форме стюардессы. Проснувшись, вижу в окне сумерки и незнакомую комнату. Отсвет фонаря на потолке. Секунда панического ужаса («где я?!») — и вспоминаю. Все нормально...

— Ваши в бильярдной, — услужливо сообщает буфетчица. Все уже знают, что из Москвы приехала группа.

В бильярдной дым и стук шаров. Все здесь, даже трезвенник Сева стоит с огромной, с детское ведро, кружкой.

Я тоже беру пива. Играют дядя Миша с оператором. Михал Геннадич с наслаждением кладет один шар за другим. Оператор только мрачно топчется. Наконец его очередь.

— *Своечка* давай, — дядя Миша подсказывает.

Но оператор назло лупит другим шаром.

Партия сыграна.

Я незаметно подхожу к Севе:

— Есть успехи?

В бильярдной душно, лицо у Севы покрыто каплями пота. Протягиваю салфетку.

— Что-то случилось?

Не говоря ни слова, он выходит. Когда я выхожу следом, в коридоре пусто, только на балконе чернеет мешковатый силуэт.

Я встаю рядом. Сырой воздух пахнет тиной и соснами. Голоса, — это официанты курят у выхода. Обрывки мелодий из пустого парка.

— Все бессмысленно, — неожиданно громко говорит Сева. — Господи.

Фонарики от ветра качаются.

— Зачем?

По правде говоря, мне не очень понятно.

— Что произошло?

— Она же видит сквозь землю, — шепчет Сева. — Кошка, встроенный локатор. Как будто древние греки — ее соседи или родственники.

Он говорит об Асе.

— Она же здесь выросла... — примирительно говорю я. Но Сева, расплескивая пиво, кричит:

— В том-то и дело!

Мне становится понятно, что его задело. Ведь это его университетская тема, античные поселения. Диссертация, которую он бросил.

— Сколько лет, боже мой, — в голосе у него слезы. — В библиотеке, на курсах. Выучил язык. А потом все это оказывается ненужным. Все это надо, оказывается, бросить. Снимать, чтобы прокормить семью, исторические анекдоты.

Сева поднимает глаза.

— Я эту поездку год пробивал, — тон у него умоляющий. — Думал, снимем хоть одну настоящую вещь. Чтобы не стыдно приличным людям... А тут она... И все мои планы к черту. Потому что, если по-хорошему, надо выбросить мой *научный* сценарий и снимать только эту девушку. Что она придумала. Что нашла...

Сева снимает очки и сжимает переносицу.

— Ведь это пытка для историка, наша передача. Упрощать, сводить к формулам... Стрелка, патриарх Никон... О чем говорили ночью.

— Ася же не виновата, — отвечаю я. — К тому же миллионы людей про стрелку и патриарха вообще не слышали. Где Белое море — не знают... Ну а библиотека...

Сева кладет мне на плечо руку.

— После Аси сидеть в библиотеке глупо.

Он хочет идти, тычется в стеклянную дверь, ищет ручку.

— Скажите, это тяжело, когда бросаешь то, что много лет искал? — спрашиваю вдогонку. — Тему...

Это жестокий вопрос, особенно в такую минуту — я знаю. Но вдруг?..

Он отвечает:

— Сначала конец жизни, но потом сразу легче.

Сева вдруг успокаивается, устало улыбается:

— Не самое тяжелое, в общем.

— А что тогда *самое*?

Мне хочется дожать его.

В отблесках фонаря мерцают наши пустые кружки.

В его голосе звучит ирония:

— То, когда понимаешь, что можно прожить и без этого. Без того, что считал главным в жизни.

Он смотрит в темноту:

— К тому же... взамен ты кое-что получаешь.

Он, наконец, выходит. Я вспоминаю, что не спросил другое — что же нашла Ася, что так взволновало Севу?.. Но поздно, лифт закрылся.

С одной стороны, его жалко, но что сделаешь... А с другой — не терпится поскорее увидеть девушку.

С ранним выездом ничего не выходит — Ванюша все утро вытаскивал машину тестя, которая «села у Субботина ерика». Только приехал.

Сева, глядя себе на ботинки и краснея, делает ему выговор. Водитель, довольный, соглашается.

— Севолод! — говорит он. — Больше ни у коем случае.

Около полудня мы, наконец, выбираемся. Дорога медленно огибает балки и холмы, плоские впадины в белых, как лед, соляных разводах и черные полосы виноградников. Огромная дуга, по которой едет машина, почти не ощущается, как если бы машина спускалась по террасам на дно кратера, чьи размеры настолько велики, что глаз просто не замечает их. И рядом, и внизу вдалеке — кругом курганы. Они пологие, с плоскими, словно срезанными вершинами. А между курганами — вода, линзы голубой воды. Продолговатые или изогнутые, круглые как блюдце, они лежат в камышовых плавнях, по которым видно, как пробегает ветер.

Где-то на той стороне проплывет автомобиль или трактор, размером с наперсток или насекомое. Машину все равно можно разглядеть до мельчайших подробностей, настолько чист и прозрачен воздух. Уменьшенная перспективой, эта игрушечная машина помогает пространству затянуть того, кто смотрит, в свою воронку. Ведь других ориентиров, высоких деревьев или зданий, в этом месте нет.

Картина в окне завораживающая, все наши притихли. Даже техник не фотографирует, а сидит молча, как будто мы спускаемся не на полуостров к морю, а в гигантский котлован ада.

Большая вода открывается за поворотом вокруг холма, который мы огибали. Эта светло-голубая, цвета фресок, вода — проток. А сам пролив синее совсем внизу, у горизонта.

Постепенно вода сжимает клещи, теперь машина идет по узкой полосе между двумя протоками. А дальше видно пролив и над ним — рыжие горы, утыканные вышками. Это самое узкое место, граница между Европой и Азией. На европейской

стороне пейзаж четкий, в горах видна каждая складка. А здесь земля вогнутая и пустая, пахнувшая травами и гнилью.

Холмы, где стоял город, травяные, они выдаются вальками в море, как волнорезы — через равные промежутки. Один из холмов основательно разрыт, весь склон в ямах. Остальные, заросшие бурьяном, тоже изъедены копателями. Среди шурфов и рвов видны куски мостовой и стены, сложенной из камней. Камни почти сливаются по цвету с глиной, да и похожи на бесформенные глиняные куски. А между стенами — колодцы. Они ведут на следующий уровень города, но даже там не его начало, не пристань или крепостные стены, поскольку то, что было в начале, давно съедено морем и лежит на дне.

Кое-где на подмытых уступах отчетливо видны разноцветные полосы. Эти пласты из черепков, камней и глины тянутся один поверх другого вдоль берегового уступа и похожи на слоеный пирог. Так время измельчило и спрессовало то, что когда-то было греческим городом или турецкой крепостью.

Я спрашиваю себя: можно ли хотя бы на секунду представить ту жизнь? Понять ее, почувствовать... Примерить на себя... Нет, невозможно. Глядя на изъеденные ветром и солью осколки и черепки, в которых еще угадывается работа человеческих рук, которые рано или поздно станут песком или илом, не испытываешь ни сожаления, ни страха, ни скуки, только удивление перед временем. временем, которое, наконец, избавилось от человека, освободилось от него.

Долины, где стояли храмы, описанные Страбоном, и сами храмы, холмы с маяками, акрополи и агоры, пристани — затоплены реками или размыты морем, занесены илом или покрыты плавнями. Исчезли, стали частью пейзажа, растворились во времени. А то, что время и море пощадило, превратилось в фундамент для новых цивилизаций, на месте которых возникали другие новые, следующие новые и новые за новыми, тоже давно ставшие мифическими и не оставившие после себя ничего, кроме полоски в береговом уступе, глядя на которую, человек испытывает бессилие, ведь совладать с таким количеством времени он неспособен. Это бессилие радует, поскольку это радость — знать, что существует нечто большее, чем разум, память и воображение. И это одновременно угнетает, ведь ничего так не погружает в тшету разум, как вид того, что время оставляет от человека...



Марина КУДИМОВА

ДЕТСКАЯ ТРАВМА

* * *

В раю или в райке,
На каждом языке,
Который мне давался,
В карете и возке,
Вися на волоске,
В колодках, в ритме вальса,
В бла-бла, в ни ме ни бе —
Я только о тебе...
Прости — звонок прервался.

КАНАТ

На свистка фиоритуры
Отзывалась вся страна,
Но для школьной физкультуры
Не была я создана.

Курс наук перемежался:
Гоголь-моголь, Гог-Магог.
Надо мною потешался
Мускулистый педагог.

Паства лъстивая смеялась
И сползала по стене,
Глядя, как канатный фаллос
Не дается в руки мне.

Разгорался день урочный,
Изошрялся юный ум:
Забывала я нарочно
Тренировочный костюм.



Физкультурник тлел в обиде,
Размышлял об отомстить,
Но не мог в цивилижном виде
На урок меня пустить.

Тут, к несчастью, как талоны
В кухню мирового зла,
Мать цветные панталоны
Мне из Польши привезла.

Гром победы раздавайся,
Роковой звени звонок!..
Повелел мне: «Раздевайся!»
Мускулистый педагог.

И со всем своим покровом,
Чтобы каждый рассмотрел,
Я предстала перед строем,
Как на фронте самострел.

Ненавижу травмы детской
Спекулянтское нытье!
Да, скупенек строй советский
Был на нижнее белье.

Но не он толпе сдаваться
Научил, бия под дых,
И послушно раздеваться
По приказу при чужих.

После будут кабинеты
С медицинской наготой,
Но сдается мне, что нету
Возмутительнее той.

Мама дочку облачала
В заграничное белье,
Чтобы женское начало
Вытравляли из нее.

И кукожусь на поклонах
Я — беспольный пионер
В трикотажных панталонах
Производства ПНР.

НА СМЕРТЬ М. П.

Вероятно, приятно писать эпитафии
Тем, кто много моложе тебя.
Ветераны словесной мафии,
Профессионально скорбя,
Все равно не ускорятся, не поспеют
За борзыми плачами с их тату
Или пирсингом. Дни Помпеи



Провели на славу. За рататуй
Благодарны. А там уж — ратуи или ратуй.

Даже если уконтрапулен в Битце
И ни в жисть не пил, не курил,
Всякая смерть есть самоубийство
(Не припомню, кто говорил).

И, глотнув просроченного декокта,
Поумерись спесь.
И в ответе не тот, кто лгал, а тот, кто
Так говорил, как есть.

СВЕКРОВЬ

Прелюбодейный пережной
Мешу, от крови чермный.
А стыдно женщины одной,
Вдобавок чужеземной.

Как домогался Антиной,
Так и в груди замлело...
А стыдно оргии одной —
В которой захмелела.

У Книги Мертвых выходной —
Все вынуты закладки.
А стыдно Родины одной,
С которой взятки гладки.

Ах, бабий век, прогал сквозной!
Супруг насупил брови...
А стыдно матери одной —
Не личной, а свекрови.

Она, в исподнице до пят,
Не спит — за всех в ответе,
Пока со мной мужчины спят,
А ей мужчины — дети.

И потому, как стол и кров,
Очаг и ужин,
Пошли нам, Господи, Свекровь —
Мать Мужа.

* * *

Сглотни пельмешку, погляди кинца,
Упейся совершенством стиля,
Как мучили детей у Диккенса —
За собственное детство мстили.

Пересчитай все плюсы-минусы
Растленья как бы, между прочим,

Когда родной отец откинулся
И правит воспитаньем отчим.

И нету сдавленному крику мер,
И впредь отеческий не мил дом.
И если бы не честный Микобер,
Что стало б с юным Копперфилдом?

Под суету мудрия побасенок
О прибыльности полигамий
Он — ноль под палкой, вечный пасынок,
Мешающийся под ногами.

Но не престанут (вот же крен же ведь!)
Переустраивать, дербанить,
Зафренживать, потом отфренживать
И при любой оплошке — банить.

* * *

Поникли аффрикаты и соноры,
Как отведенный взгляд, как мокрый сад. . .
Вы ничего не поняли, синьоры,
И я беру свои слова назад.

Из первых уст — и «кто там?», и «спасибо»,
И «добрый день», и «говорит Москва».
На милость не рассчитывайте, ибо
Верну я только данные слова.

По мне, так начинайте все сначала —
С агуканья пешком из-под стола.
А я вам ничего не обещала
И громких обязательств не брала.

За азбуку садитесь, за уроки
Беритесь, но в тактильной темноте
Я буду красться по большой дороге,
Прислушиваясь к вашей немоте.



НИТЬ АРИАДНЫ

Р а с с к а з

I.

Мало ли, по какой неаккуратной случайности можно лишиться возможности мыслить здраво — так, как это проделываем мы с вами изо дня в день, не отягощая мозг утонченной работой. Причин для этого существует множество, только вот последствия этих причин могут быть куда серьезнее словесного каламбура, вдруг вырвавшегося на волю, и принести его несчастному обладателю массу неприятностей. Однако N. не воспринял случившееся с ним как неприятность, соглашаясь с тем, что его поместили в лечебницу, и одобряя необходимость врачебного вмешательства, как, например, при воспалении слепой кишки. Кстати, используя именно это сравнение, ему и была предложена помощь от добродушного вида доктора с чеховской бородой, постепенно оформившегося во Владимира Павловича, с плавной изогнутой курительной трубкой в руках, на костяном мундштуке которой отпечатались следы все еще крепких зубов. Свежий докторский облик неверно указывал на его возраст, как испорченный барометр тычет своей глупой стрелкой в «ясно», когда всюду уже льет дождь. Владимир Павлович имел прочную репутацию удачливого специалиста, и, авторитетно пользуясь пушистыми фразами и мягкими оборотами речи, посоветовал N. пройти курс лечения.

Пациент с подозрительным взглядом от начавшей развиваться мании неожиданно для себя выдал вяло-безразличное согласие — учуял, что сможет наконец избавиться от прилипчивого присутствия окружавших его назойливых человек и побыть в одиночестве, которое ему с избытком предоставляла лечебница вслед за смертью так и не сумевшей разродиться от их позднего брака жены. N. отправили в лечебницу родные, как избавляются от вдруг пришедшей в негодность вещи, от чего-то лишнего, неуклюжего и ненужного; отправили, после того как N. провел несколько недель в добровольном домашнем заточении, точно заблудившись в своей — теперь уже в своей — двухкомнатной квартире.

Как произошло это? Что стало этому причиной? Кто знает... Уж точно не те, кто отправлял его в лечебницу. Да и сам он говорил нечто невнятное, сумбурное, что-то вроде «не знаю даже, как это случилось... просто не было необходимости выходить из дома... да и погода — сами знаете... что там делать-то?». И верно, делать там ему было нечего, ведь все эти люди, суета и сутолока жизни отвлекали N. от сложной задачи, вдруг свалившейся на него.

Быть может, свалилось это и не совсем вдруг. Какое-то время после смерти жены N. часто задавал себе вопросы — «что же делать?» и «как теперь быть?». Не то чтобы находились какие-то ответы, удовлетворяющие N., нет, их не было, но все эти тревожащие его вопросы исчезали сами собой. А теперь вот — нет, не исчезли; напротив, началось нечто удивительное — N. стал отчетливо осознавать, что его желание найти ответы на простые, казалось бы, вопросы не ослабевало, как прежде,



а крепло, усиливалось с неимоверной быстротой, только почему-то всегда натыкалось на тупики лабиринта, куда он забрел самым непонятным для себя образом. N. удивился этому, ведь никакого лабиринта здесь прежде не было! Да и откуда взяться этой изощренной, нездешней штуке в обычной двухкомнатной квартире? Это было очень-очень странно...

«Что толку удивляться, — решил N., — надо выбираться из этого лабиринта поскорее». Да не тут-то было! Теперь, когда он признал существование этой штуковины, он попался окончательно. Понять, как же он угодил туда, было непросто, только вот сам лабиринт был сделан превосходно, и выбраться из него никак не получалось.

Потом — пошло, поехало... Стало не хватать времени на поиски выхода. N. стал отовсюду урывать драгоценное время — у сна, у работы, которую он забросил, у прогулок, от которых он постепенно отказался (свежий воздух будоражил и мешал сосредоточиться). А тут еще эти люди — с их вечными делами, какими-то глупыми расспросами, телефонными звонками (позже телефонный шнур нашли вырванным из гнезда)... Потом N. случайно подметил, что думал и чувствовал он себя гораздо лучше в сумерках, ночью, когда дневной свет не докучал ему, отвлекая от сложных поисков. Он был точно герой древнего мифа, угодивший в хитросплетения старого лабиринта, в недрах которого обитал кто-то ужасный и грозный, встреча с которым была неотвратима. Ну и что ж, пускай, это не важно! Если так должно быть — пусть будет, но только... где же она, та самая ниточка?

N. сидел в комнате с опущенными шторами, засыпая только под утро, и все пытался нащупать ослепшим мозгом нить, которая может привести к выходу из головоломного лабиринта, куда его занесло. Он привык к темноте, которая его теперь окружала; в голове у него было сумрачно и тесно, и что-то притаилось там, внутри, укрытое мраком. N. смутно догадывался, что там укрылось то, до чего ему так хотелось добраться (вперед, потому что назад дороги не было), и силился совершить невозможное — выползти из своего ужасного, мрачного лабиринта, в который он так нелепо угодил. Иногда ему казалось, что вот он — путь к выходу, что еще одно усилие, и он вырвется из лабиринта наружу... Но обманчивая дорога, которая, казалось, вела прочь из перепутанной темноты, вдруг обрывалась безнадежностью тупика.

N. не знал, сколько утекло времени. Впрочем, время перестало иметь всякое значение, когда его изнеженное и истонченное сумраком зрение ошпарил яркий свет, заставив вскрикнуть от боли и надежды. Однако коварный лабиринт снова ловко подменил на ощупь отыскиваемый выход туповатым тупиком, воплотившимся в упрямую мать его мертвой жены, мускулистого молодчика, выломавшего дверь под присмотром представителя власти, торчавшего из своих казенных ботинок, и, конечно же, вечно любопытных соседей за ними. Эти добровольцы, коротким приступом выполнившие стоящую перед ними задачу, со всем своим здравомысленным изумлением уставились на давно не мытое, обросшее щетиной, еще недавно знакомое им существо, прикрывавшееся ладонью от раскаленного в вакууме вольфрама.

Доктор задавал ему вопросы, мягко требуя на них ответы, и N. поначалу раздражало то, что его принимают за умалишенного. Как он отвечал на эти вопросы, впад или же не совсем, мало его заботило сейчас. Он размышлял над тем, что неужели можно сделать вывод, что человек лишен возможности мыслить здраво, оттого только, что скрученный мозг его занят сложной, невероятно сложной задачей поиска выхода из сумрачного лабиринта, куда его занесло помимо воли. N. отметил, как доктор смотрел на него, и влажная мысль отпечатала копию шекспировской фразы — из зеленого тома с тисненым золотом Пегасом над золоченым шаром, изображающим нашу скорбную планету — о том, что полоумные гораздо находчивее понятливых; N. улыбнулся, впервые подумав о себе, как об умалишенном. Его ничуть не заботило, что улыбка эта мало вязалась с заданным вопросом.

По мере того, как менялся характер задаваемых вопросов, N. понял, что его рассудок сочли нездоровым, но это лишь веселило его, потому что он выбрал план,

согласно которому в завершение беседы должен был ошеломить доктора, открыв ему, что вовсе он не сумасшедший, и объяснить причину своего странного поведения поисками выхода из коварного лабиринта, куда он попал по совершенному недоразумению. Но когда добродушный доктор, отложив угасшую трубку и потрогав аккуратную бородку короткими пухлыми пальцами, мягко, точно накрывая до подбородка теплым одеялом, предложил ему пройти курс лечения, N. понял, что скажи он то, о чем хотел поведать, снова угодит в распростертые тупиковые объятия лабиринта, и, стараясь не дать доктору обнаружить, что проник в этот паутинный план, ответил вялым согласием.

Все произошло достаточно быстро. Согласие N. было получено, согласие его родственников, собственно говоря, уже лежало подписанной бумагой на столе у доктора. Собрать вещи не составило труда, ведь задача как раз и заключалась в том, чтобы избавиться от всех этих вещей, как, впрочем, и от всего, что связывало N. с прошлой его жизнью.

N. поступил в лечебницу под наблюдение милейшего Владимира Павловича и стал четырнадцатым жильцом (слово «больной» старательно избегали здесь) с начала нынешнего года. Его поместили в палату, где обитал мальчик, мысль которого не смогла вырваться из давно минувшего малолетнего возраста в распахнутый перед ним мир, плотно забравшись куда-то в дальний угол своего заостреннее сознания, как насмерть перепуганная улитка. Третья кровать одиноко пустовала, скучая своей туго натянутой сеткой по облежанному больничному матрасу и тяжести обернутого в линялую пижаму тела. Кто-то рассказал N. — он не старался запомнить рассказчика-добровольца, — что мальчик этот жил раньше вместе со своей матерью, убиравшейся в лечебницу, в одной из палат на первом этаже, переделанной в жилую комнату, пока однажды весною, в разгаре понятной только ему одному игры, не вытолкнул свою мать с подоконника третьего этажа, когда она мыла окна, а потом, перегнувшись и болтая ногами, смотрел, улыбаясь, как она неподвижно лежала там, внизу, и, быть может, думал, что она играет с ним.

Сначала мальчик был у него в подозрении, но потом N. решил, что тот не представляет опасности, потому как тоже был загнан в лабиринт, только не сознавал этого своим убогим умом, уютно обосновавшись там, в одном из тупиков. Когда N. понял это, то перестал обращать на мальчика внимание, если только тот сам не отвлекал его своими непонятными играми, но N. быстро открыл безотказный способ усмирить разгулявшегося шалуна. Способ этот был весьма прост и состоял в безмолвном встряхивании вытянутого пистолетом указательного пальца, эдакого грозного перста. Мальчик неизменно застыл с выражением ужаса на лице и, плаксиво поджимая губы, забивался куда-нибудь подальше от грозившего ему ужасного пальца. Забавнее всего было то, что боялся он именно пальца, а не его изобретательного обладателя.

Хитрый и изворотливый мозг N., находясь в подполье, соорудил план. Согласно плану, N. должен был помогать доктору в восстановлении своих покачнувшихся умственных способностей, перехитрив здесь даже того проницательного лиса, который умудрился попасть на место сторожа в курятнике, и не дать тем самым никому возможности помешать ему упорно искать желанный выход из темных тупиков и узких пространств сложного лабиринта. Чтобы не быть застигнутым врасплох, он обдумывал эту мысль вечерами и по ночам, когда находился в палате один (не принимая в расчет того мальчика, с чудной мешаниною в голове), тщательно маскируясь и скрывая от хитрого доктора и простаков-санитаров тайную работу своего мозга. N. старался высыпаться днем, после обеда, чтобы потом, ночью, лежа в постели, когда ничто не мешало ему, напряженно продираться сквозь мглу и тупики лабиринта к выходу, который сулил ему небывалый покой и желанный отдых от этой мучительной работы ума. Иногда N. казалось, что вот он — ослепительный выход, несущий ему избавление от трудов, только в действительности это оказывалось досадным миражом желаемого в облике вдруг зажегшегося уличного фонаря или же светом фар неведомо откуда катящего в этот поздний час авто напротив окна палаты. Засыпал N. под утро, совершенно выбившись из сил, которых уже не доставало даже

на сны. Вместо снов в голове его проносились какие-то обрывки, наполненные болезненными ощущениями, которые N. не запоминал; его больная память не особенно и старалась запоминать что-то постороннее, ненужное, кроме того что ей было необходимо, как воздух для тонущего.

II.

N. сидел на своей койке, свесив ноги, обутые в больничные туфли, и глазел на дождь за окном. Он качал ногами и смотрел, как прилипшие к стеклу капли, немного повисев и напитавшись влагой, проворно соскальзывали, оставляя после себя быстротягивающийся, как по волшебному знаку, след. В слегка замутненном от дождя воздухе были видны мокрые деревья, дальше — потемневшая каменная ограда, а за ней — влажный, блестящий спуск дороги, с домами по обе стороны; тянулись дома эти от начала спуска и до того места, где дорога расщеплялась и как бы обнимала каменную ограду лечебницы.

Дождь лил несколько дней, и N. подолгу смотрел в окно. Дождь не мешал ему, напротив, монотонный шум долгого осеннего дождя точно какой-то невидимый метроном задавал ритм мыслям...

В палату вбежал мальчик; мокрые от дождя волосы облепили его голову. Он стал бегать вокруг стола, волоча за собой коробку из-под лекарств, привязанную к грязной капроновой веревке, и от его башмаков на полу оставались мокрые следы. N. рассеянно наблюдал за этой игрой, и когда коробка на капроновом поводке зацепилась за ножку стола, а грязная веревка туго натянулась и затем ослабла, у него в голове, в самой глубине мозга, начало что-то отворяться; это что-то влекло его, а когда оно совсем отворилось, его сознание устремилось навстречу тому, что ему открылось. Он изумился своему открытию после стольких дней блуждания в лабиринте, с облегчением приняв это решение мучившей его задачи. Вот эта грязная веревка должна была стать той самой нитью, что вызволит его. Решение было очень простым и бесхитростным, и N. подумал о том, как удивительно, что оно так ловко ускользало от него прежде, но теперь-то он крепко ухватится за него.

N. оттолкнулся от кровати, быстро встал на ноги и схватил веревку, точно та и впрямь могла, извиваясь, ускользнуть. Мальчик заплакал. Часы с металлическим браслетом, обнимавшие запястье N., были переданы в туземный обмен.

Какая-то невидимая волна подхватила его, и все что N. делал, он делал так, точно всегда знал, как и в какой последовательности все должно происходить; как будто он вдруг вспомнил забытый ритуал во всех древних подробностях и теперь исполнял его. Мальчик решил своим обкусанным умом, что тот, большой, играет в какую-то непонятную ему игру, и увлеченно смотрел за ним, держа двумя руками блестящую железную лепешку, под стеклом которой быстро бегала по кругу длинная черточка.

Засунув голову в веревочный круг, N. почувствовал, что выход из жуткого лабиринта где-то очень рядом, и нужно торопиться, чтобы опять не упустить его. Тогда он прислонился спиной к стене и, крепко упершись в нее, оттолкнул ногой (с которой тотчас свалился туфель) стол. Стол вежливо отодвинулся, скрипнув, точно извиняясь за неловкость; ноги N., потеряв опору, задергались, сам он, увлекаемый спасительной нитью, устремился прочь из лабиринта, к выходу, освещенному чем-то ярким и далеким, и, по мере того, как он приближался к этому обретенному выходу, свет становился ярче, был он все ближе и ближе, пока N. совсем не растворился в нем, отыскав наконец то, чего желал.

Мальчик немного посмотрел, как смиренно повис на веревке тот, большой (чуть позже и вторая туфля упала с его ноги на пол), и, быстро утерев к нему интерес, принялся слушать тихий звук, который издавала скачущая по кругу черточка в игрушке, которая была ему вручена.

Баир ДУГАРОВ

АЗИЙСКИЙ АЛЛЮР

Анафорические стихи

ЭХО

Два полушарья Земли — словно две первозданные юрты,
Дымкой галактик одетые, слитно в пространстве плывут.
Утро кентавровых саг, золотые уста Заратустры,
Ультрамарин поднебесья и вещей травы изумруд.
Эра могучих сказаний зачем мою песню тревожит?
Эхо анафор степных ощущаю дыханьем своим.
Лад стихотворный — от родины. Горы как вечный тренажник.
Ланью промчались столетья. Небес можжевеловый дым.

ЛЕБЕДЬ

Леди небес — моя белая Лебедь ...
Лепет лесных лепестков собираю в элегию снов и легенды.
Лезвие молний мои обжигает уста, обращенные к небу.
Люстрой хрустальной росинки увенчаны травы на утреннем склоне.

Любо с высокой скалы мне пропеть сокровенные нежные гимны.
Лютня из рук выпадает, и в бездну летит, чтоб о камни разбиться.
Лебедь серебряным взмахом крыла ее для меня возвращает.
Лета стремится свои воды, и в каждой волне — лебединая песня.

ИНДИЯ

Индия, родина истин, возжегших лампаду во мраке вселенной.
Искорки вечности в сутрах твоих оседали, легендах и притчах.
Издавна к дивным святыням твоим тянулась тропа пилигримов.
И довелось мне однажды к просторам твоим прикоснуться.

Иссиня-дымчатым зноем дышали равнины, но благосклонно
Индра дождинкой чело окропил мне, и бездна разверзлась столетий.
Исподволь кальпы кружились во мне, и мерещилась тень Гаутамы,
И Тадж-Махал серебрился во тьме, как слеза на щеке Кали-юги.



КРЫШИ ПАРИЖА

Крыши Парижа плывут предо мною на все стороны света.
Крылья расправив извилистых улиц, Монмартр поднимается к небу.
Набережной Сены прохожих поток растекается Латинским кварталом.
Нотр-Дам де Пари — только руку протянешь, коснешься, как чуда, собора...

Жак, мы с тобою парим над Парижем, как ангела два сумасбродных.
Жаль, из мансарды твоей поднебесной не видно Байкала.
Эльфы из перистых облачков кружат вокруг коновязи ажурной —
Эйфелевой башни, и ветки каштанов им машут с Полей Елисейских.

КЕЛЬН

Клёкот времен затихает, но прошлого тени витают над Рейном.
Кёльнский собор вздымается ввысь монументом Европе вечерней.
Колоколов слышится перезвон, словно в пространстве за облаками
Кони небесные скачут, позванивая стременами.

Клики гуннов доносит легенда веков об Урсуле прекрасной.
К лику святых приобщенная дева хранит древний град от напастей.
Клёнов опавшие листья, как свитки мгновений, шуршат под ногами.
Кёльш — хмелящий напиток забвения — пью я за Кёльн на прощанье.

ПОСОХ

(венки восьмистиший)

1.

Донкихоты ушли, как уходит за даль горизонта караван бактрианов.
Долг, не оплаченный вечности, рушит песчаные замки потомков.
Посох мой вырастает из стебля встревоженной ветром былинки.
Посолонь горы бредут, и простор открывается с каждой тропинки.

Думы мои, как перистые облака, проплывают над ширью планеты.
Дунет ли ветер в песках аравийских — былинка моя всколыхнется,
Душу наполнит тоской, непонятно откуда пришедшей,
Дуньхуанские тени отшельников опять замаячат в пространстве.

2.

Дуньхуанские тени отшельников опять замаячат в пространстве.
Дупла пещер проступают в скалах отвесных, порыжевших от зноя.
Гроты тысячи будд, словно древности тронные залы, тонут во мраке,
Гробовой тишиной оттеняя чудесные лики божеств рукотворных.

Девы небесные, слышится мне, лютней слух услаждают бессмертных.
Демоны ветра и грома летят, оседлав облака, над горами и долом.
Маревом хвост свой, как веер, расцвеченный радугой красок,
Майский павлин распускает на фресках — феникс подземного мира.

3.

Майский павлин распускает свой хвост, словно феникс подземного мира,
Магия древних молитв отдается в каменных стенах темных святилищ.

Рай Амитабхи души хранит безымянных монахов, ушедших в нирвану,
Радужный свет под землей оживает в святящихся нимбах провидцев.

Время здесь замедляет свой бег, и паломник на себе ощущает дыханье
Вечности, скрывшейся от суеты в желтых холмах Дуньхуана.
Мрак отступает, и тысячи будд вырастают до звезд мироздания.
Мантры Востока сами в моих оживают устах у подножья Вселенной.

4.

Мантры Востока сами в моих оживают устах у подножья Вселенной.
Маятник тысячелетий раскачивается, замирая лишь на мгновенье.
Дюны плывут, океаном шафрановым обнимая все стороны света.
Дюйм за дюймом песчаный прибой накатывается на оазис.

Такла-Макан обжигает дыханьем пустыни асфальт и деревья.
Толпы туристов, стекая с барханов, бредут по лабиринтам подземного града.
Щелкают фотоаппараты, призывно гудит на весь мир автострада.
Шелковый путь продолжается, и бодисатвы глядят на Восток и на Запад.

5.

Шелковый путь продолжается, и бодисатвы глядят на Восток и на Запад.
Шепот пустыни несет миражи Дуньхуана и тает в пространстве.
Снова дорога ведет меня, путника, родом из отшумевшего тысячелетья,
С посохом в руке, мне сдается, я пришел однажды на эту землю.

Видно, жажда пространства бродит во мне, кочевнике от рожденья.
Выдох неба, верится, планиду мою осеняет в круговерти сансары.
Шорох листьев опавших мгновений наполняется вечности гулом.
Шторы миров раздвигает летящая птица, подавая мне знак путеводный.

6.

Шторы миров раздвигает летящая птица, подавая мне знак путеводный.
Шоры спадают, и даль на себе замыкает мой посох, рожденный дорогой.
Вслед ли ушедшим векам я иду по извечному кругу с востока на запад,
Встречи ищу ли с самим собою в тени пирамид или небоскребов,

С Аполлинером беседую ли в тихом уголке Монпарнаса,
Сад ли камней обхожу с потомком Басё под вишнями Нары,
Сами приходят ко мне стихи, и еще не допит посошок на дорожку.
Сага времен продолжается в каждом мгновенье, улыбке и жесте.

7.

Сага времен продолжается в каждом мгновенье, улыбке и жесте.
Сказка ко мне обернется — окажется былью, поросшей травой забвенья.
Пути пространства рвутся под гул поездов и лайнеров серебристых.
Пыль параллелей и меридианов на дорогах моих оседает устало.

Вновь засыпаю, под голову подложив подушку из скифских курганов,
В утренний час восходящему солнцу, вечером луне — поклоняюсь.
Самую малость я у Неба прошу и попутного света в кочевье.
Страннику много ли надо в пути обретенья себя через посох.



8.

Страннику много ли надо в пути обретенья себя через посох.
Стоит лишь оглянуться, и вижу былинку мою, встревоженную ветром.
Дробь осенних дождей мне отстукивает чье-то послание с неба.
Дротик судьбы опять надо мной пролетает со свистом тысячелетним.

Думы свои пилигрима веряю в пути одиноким деревьям:
Доверху кроны увиты серебряным отблеском молний,
Донизу корни омыты росой несбыточных снов и желаний.
Донкихоты ушли, как уходит за даль горизонта караван бактрианов.

9.

Донкихоты ушли, как уходит за даль горизонта караван бактрианов.
Дунхуанские тени отшельников опять замаячат в пространстве.
Майский павлин распускает свой хвост, словно феникс подземного мира.
Мантры Востока сами в моих оживают устах у подножья Вселенной.

Шелковый путь продолжается, и бодисатвы глядят на Восток и на Запад.
Шторы миров раздвигает летящая птица, подавая мне знак путеводный.
Сага времен продолжается в каждом мгновенье, улыбке и жесте.
Страннику много ли надо в пути обретенья себя через посох.

ВОСПОМИНАНИЕ ОСАМАРКАНДЕ

А как давно все это было. Кажется, что это сон.
Айраном пенятся фонтаны, в звездных брызгах — небосклон.
Над тополями — грустными детьми обыденного века
Афросиаба тень витает дымкой сказочных времен.

Полна спокойствия, встает над майским городом луна.
Пока луна на свете есть, пребудет в мире тишина.
Иду по скверу, привычно светят фонари ночные.
Под каждую звездой мне слышится поющая зурна.

Полночный Самарканд, брожу, брожу по улицам твоим.
Покой и красота исходят от руин Биби-Ханым.
А над лазоревой куполовидной юртой Гур-Эмира
Полотнище небес струится, как костров походных дым.

Алел восток, и пели стремена мгновений, Тамерлан,
Арей азийский вел твой дух сквозь тьму сражений, Тамерлан.
Казалось, мир готов был пред тобой, воителем, склониться.
А где теперь твой трон и ширь твоих владений, Тамерлан?

Дерзал ты — тень Чингиса — повторить путь короля степей.
Держава — это воля неба, а не прихоти вождей.
Джамшида чашу, что дается в знак свершения желаний,
Не удержал в своих руках ты — оказалась смерть сильней.

Победоносный тюрк из племени монгольского барлас,
Померк твой образ у потомков, блеск твоей звезды угас.
И лишь нефрит увенчивает — сумрачный надгробный камень —
Последний твой приют, сокрытый от людских неверных глаз.

Небес гончарный круг творит миры из призрачных картин.
Необъясним калейдоскоп Творца, а время — властелин.
Пирующий сегодня мнит себя пупом вселенной,
Не ведая о том, что превращался сотни раз в кувшин.

Превратности судьбы — удел всех смертных, живших на земле.
Прекрасен был Мавераннахр — растаял дымкою во мгле.
И только Гур-Эмир небесно-синей юртой Тамерлана
Пространство осеняет будничных проспектов и аллей.

Полночный Самарканд, прохладой дышит уличный асфальт.
Под кроною карагача цветов вдыхаю аромат.
И красным флагом над горкомом о себе напоминает
Последний в этом бренном мире евразийский каганат.

Равниною небес плывет над майским городом луна,
Разбрызгивая свет на все мгновения и времена.
Прохожий, странник, поклонился я святыням Самарканда.
Размывчатый векам внимая, пела в небесах зурна.

БРОНЗОВАЯ РОЗА

Проза будничная тает в миг, когда сжимает сердце тайна.
Бронзовая роза расцветает у подножья скифского кургана.

Руки протяну тебе, плывущей к снам моим из облаков навстречу.
Руны тридцать пять веков назад сказали мне, что еще не вечер.

Каждый день готов снимать твою сережку в золотистый час заката.
Капелькой гранатовою любоваться — камешком волшебным из агата.

Я не знаю, что сказать тебе, и зову твой долгий взгляд себе на помощь.
Яркие твои уста, храня молчанье, обещают нежность в полночь.



Владимир БАЗАНОВ

ВЫДУМКИ

Р а с с к а з ы

СИЛЬВЕР И ДРУГИЕ

Дочери Евгении

Давно было, но правда. С того случая и рухнула моя вера в уникальность и исключительность человеческого разума на земле.

Начало истории было в жанре анекдота.

— Мужик, купи кота, на трех языках говорит.

— А на каких?

— Да на всяких...

— По-русски может?

— Лучше Троцкого!.. Вася, скажи дяде по-русски: «Опохмелиться надо...»

Честное слово, черная морда сахалинского каторжника, выглядывающая из потертого механизаторского бушлата строителя коммунизма, открыла пасть и хрипло сказала: «Мяу!»

Сомнения в нужности приобретения исчезли.

Вот так, за бутылку водки, у меня появился кот Сильвер, названный в честь знаменитого героя романа Стивенсона.

Это было огромное черное животное с литыми мускулами, белыми носочками на лапах и белыми же кончиками ушей. Широкою морду его украшали фантастической желтизны глаза и пышные усы.

Неторопливо обойдя комнаты, обследовав все углы, Сильвер добрался до кухни, запрыгнул на стол, потрогал лапой стоявшую на столе масленку, понюхал бутылку молока и прыжком достиг холодильника. Здесь он удивил меня во второй раз за тот день: встав у дверцы на задние лапы, оперся передними и неожиданно застучал ими по холодильнику, вперив в меня, о боже, прямо-таки вопрошающий взгляд. Не слишком сложно было понять, что он хочет. Торопливо приговаривая: «Сейчас, киса, сейчас», — я вытащил из морозильника пакет с казенными котлетами и, намучавшись с обдиранием смерзшихся, бросил их оттаивать на сковородку. Все это время кот сидел на краю кухонного стола и довольно мурлыкал, не сводя взгляда с котлет.

В процессе приготовления кошачьего ужина мне пришлось поставить сковородку на стол — нужно было найти кусок газеты, поскольку кошачья посуда в доме отсутствовала. Какая там газета! Не успела сковорода очутиться на столе, как кот неторопливо запустил в нее лапу, подцепил котлету когтем, поднял над краем, взял



горячую (!) в пасть и прыгнул на пол. Опешив от такой наглости, я не стал ругать кота в первый же день знакомства, скормив ему оставшееся. Котлеты коту понравились, о чем он незамысловато сообщил, потеревшись о мои ноги, мурлыкая и поглядывая на меня. Ну а когда я попотчевал его молоком, Сильвер и вовсе расчувствовался — взобрался мне на плечи и стал тереться о мою голову. С тех пор плечи стали его насестом — он сидел там, когда я ел, читал, писал, умудрялся прыгнуть на них, улучив момент, когда я заходил домой, и только ночью кот устраивался у меня в ногах. Одна моя знакомая по этому поводу заметила:

— Это не кот у тебя Сильвер, а ты сам. А кот — попугай на плече. Так и кажется, что он сейчас заорет: «Пиастры! Пиастры!»

В отличие от соплеменников своего пола, Сильвер оказался отменным охотником: мало того что переловил всех мышей дома, он с ловкостью необыкновенной ловил даже голубей и воробьев. Здесь у него была одна особенность, очень трогательная — кот никогда не ел «дичь» до тех пор, пока не приносил ее домой. С горящими глазами он врвался в открытую дверь и стрелой мчался на кухню. Там затаскивал добытое в трудах (а это могла быть мышь или крыса) на стол и садился рядом, изредка мяукая и трогая лапой трофей — приглашая таким образом меня к трапезе. Когда «дичь» выносилась мною за дверь, он понимал — дар принят, только тогда приступая к пиршеству.

Однажды я поймал Сильвера за ужением рыбы. Засунув лапу в аквариум, он ждал, когда подплывет золотая, с роскошным хвостом, рыбка, и резко подсекал ее когтем — хлоп, и та уже на столе! Так открылся секрет таинственного уменьшения числа обитателей аквариума.

Кот понимал все — настроение обитателей дома, что можно и что нельзя делать, разбирался в оттенках наших голосов, отличая ласку от гнева. Но стоило мне только сказать Сильверу: «Брысь!» — и последующая обида могла длиться несколько дней. Обида выражалась в равнодушии к хозяину, отводе от него глаз — в общем, в отношении к нему, как к пустому месту. И только повинившись (в самом буквальном смысле), обидчик удостоивался прощения, которое выражалось в засыпании Сильвера на коленях или на плечах.

Были у кота и другие дела вне дома — например, поддержание порядка в подъездах, где Сильвер верховодил; ну и любовь, конечно же.

Однажды, когда на хриплое мяуканье Сильвера дочь открыла входную дверь, кот кинулся вниз по лестнице на площадку между этажами — там сидела серенькая невзрачная кошка. Коту пришлось несколько раз бегать вверх-вниз, пока кошка решилась: низко присев, словно на охоте, она скользнула вслед за ним и юркнула под диван. Только спустя полтора часа Сильверу удалось выманить кошку на кухню, к блюдцу с едой. Демонстрируя хорошие манеры, кот отобедал вместе с ней в неурочное для него время дня, после чего гостя все такими же опасливыми перебежками добралась до двери, и они с Сильвером исчезли.

Так появилась в жизни кота его великая любовь — Муська.

Они постоянно были вместе — сидели рядышком на перилах балкона или на дереве, охотились на голубей и поедали добытое, сновали по подвалу и дрались с чужаками. Однако оставаться у нас Муська не желала, считая своим домом подвал, потому кот стал пропадать с ней на три-четыре дня, пока не начинал скучать по нас. Но возвращался он неизменно с Муськой, все так же дичившейся и не позволяющей себя погладить. Забавно было видеть их рядом — могучего черного красавца и худенькую серую замухрышку, казавшуюся котенком рядом со своим суженым.

Так длилось два года. У нашей пары уже трижды появлялись очаровательные котята, которых мы, к счастью, удачно пристраивали по своим знакомым. Поразительно, что Сильвер и Муська не думали расставаться, как это обычно бывает в их племени. Они по-прежнему ходили дружной парой, ели из одной тарелки и сидели рядышком на перилах балкона. Вот только Муська по-прежнему не хотела жить в уюте, спать на мягких подушках и обитать среди людей.

Удивлялись мы, удивлялись соседи, удивлялись знакомые.

— Хоть распиши, — вздыхали, — вот же какая любовь! У людей так редко бывает...

Они были правы.

Я хорошо помню тот ноябрьский снежный день, когда открыл двери, увидел Сильвера и понял — что-то случилось. Кот мяукал, вился у моих ног, потом вдруг бросился вниз по лестнице, остановился, вернулся ко мне и, оглядываясь, снова побежал вниз. Все было предельно ясно: «Иди за мной!» И я пошел, спустившись в подвал — там у отдушины лежала Муська. Струйка крови запеклась у рта, бока тяжело и часто вздымались. Видимо, ей попал в голову камень — рана была глубокой и рваной. Я бережно отнес Муську домой и устроил в самом темном углу, позвав знакомого ветеринарного врача. Тот покачал головой: «Сломаны шейные позвонки, не выживет». Мы испытывали настоящее горе, видя, как мучается Муська. Но помочь ничем не могли.

Кот не уходил от нее. Он смотрел на Муську жалостливыми глазами, трогал лапой, тыкался носом в ее тяжело дышащий бок. А однажды мы увидели, как, взяв Муську за шиворот, Сильвер тычет ее мордочку в блюдце с молоком. Мы не удивились, зная о поистине человеческих способностях кота. Нам было только мучительно стыдно за что-то необъяснимое...

А потом настал день, когда мы похоронили Муську, тайком от Сильвера. Но он все понял.

Кот не ел две недели, только пил воду и молча сидел на подоконнике, неподвижно глядя желтыми глазами куда-то за горизонт, будто в вечность. Такими ваяли из черного гранита своих священных кошек древние египтяне, помнил я по Эрмитажу.

Никогда не забуду взгляда кота, когда я выпускал его из дома — в глазах у него была такая тоска, что у меня перехватило дыхание. Я понял — Сильвер шел умирать, ничего уже не могло спасти его.

Он спустился по лестнице, медленно переставляя ослабевшие лапы. Больше мы его не видели.

Но разве он исчез бесследно?..

КАРТИНА В БАГЕТНОЙ РАМЕ

— Так вы утверждаете в канун Рождества, что чудес не бывает? — спросил художник Северин, обводя нас пристальным взглядом. — Я докажу обратное. Может быть, моя история заставит вас образумиться... но вряд ли, ведь вы закоренелые скептики и рационалисты.

Он помешал бронзовой кочергой в камине. Взметнулось пламя. Я вздрогнул, горбоносое лицо Северина стало зловещим и узнаваемым — Люцифер, вылитый дьявол с картинки!

— Похож? — ожег меня Северин нечеловеческой пронизательностью.

— Да-а... — смешался я.

Северин рассмеялся:

— Я знаю... — И уже ко всем: — Согласны выслушать историю в рождественскую ночь?

Мы были согласны.

Северин откинулся в кресле, раскурил от уголька трубку, пыхнул ароматным дымом, разогнал его рукой и стал неторопливо рассказывать — выразительно, выдерживая паузы и точно расставляя логические ударения.

— Так вот... Случилось это со мной. Поэтому в достоверности истории можете не сомневаться. Впрочем, сомнений ваших не удержишь — слишком фантастическая эта история. В ночь перед Рождеством, как вы понимаете, гадают — кто как знает и умеет. Я, признаться, не верил во всю эту чертовщину, поэтому легко согласился с прелестной моей знакомой участвовать в гадании у зеркала. Я был тогда молод, ничего не зная о тайнах зеркал и о том, как печально могут окончиться эти забавы. В общем, все было именно так, как описывается в книгах: зеркало, две зажженные



свечи, темная комната и пристальный взгляд в пространство зеркала между горящими свечами. Что увидишь, то и сбудется... Мы с Верочкой, так звали мою знакомую, не увидели ничего, хоть и просидели неподвижно что-то около трех часов. Напряжение было столь велико, что у меня заболело сердце. Первой не выдержала Верочка.

— Северин, — сказала она, — я больше не могу, устала. Пойду, подышу елочным воздухом...

(К слову, находились мы в глухой деревушке, в глуши пермских лесов, где воздух так вкусен, что его хочется есть.)

И она ушла.

Я закурил, ощутил темноту, одиночество и какую-то странную оторопь и волнение; мне показалось вдруг, что я в избенке не один, что вот там, в темном углу, я слышу тихое дыхание. От усталости, — решил я и, словно подчиняясь какой-то силе, загасил сигарету, придвинувшись к зеркалу. Свечи сгорели на три четверти, но коридор, который отражался в зеркале, просматривался четко. Черный его колодец вдруг повлек меня неудержимо, он стал бесконечен и реален, словно существовал на самом деле. Мне казалось, сделай я шаг, ступни на эту дорогу — и будет можно идти все дальше и дальше, без конца, без времени, забыв о том, что осталось за моей спиной. И только успело мне это показаться, в глубине зеркала я увидел лицо женщины — красивое, оно неудержимо приближалось мне навстречу, становилось четче, яснее, я уже видел огромные неподвижные добрые глаза, пышные распущенные волосы, прекрасно очерченные губы; губы улыбались и шевелились — женщина что-то говорила. Я скорее почувствовал, чем понял по движению губ: «Мы еще встретимся...»

Лицо еще несколько секунд привлекало мой взгляд, потом стало тускнеть, отдаляться, исчезнув там, в глубине коридора.

Ошеломленный, я сидел неподвижно, оступело уставившись в глубину зеркала. Правая свеча мигнула несколько раз и погасла. Пришла Верочка. В полутьме она не видела выражения моего лица. И это было кстати — ей я ничего не сказал об увиденном. Сказать было выше моих сил, да и вряд ли бы она мне поверила.

Через несколько дней я уехал в небольшой среднерусский городок. Там вдруг пришел на станцию, назвал первый пришедший на ум город, взял билет — и вот я уже в поезде. Только потом, не скоро, понял я, как это было не случайно.

Да... Так вот, в городишке я снял довольно большую комнату под мастерскую. Много писал, читал... жил, можно сказать, замкнуто, отшельником. Редкие прогулки доставляли мне огромное удовольствие, тем более что в маленьком городишке было что-то около десятка старинных церквей с иконами, которые могли составить честь любому столичному музею.

Так прошел год. Опять же под Рождество вышел я на свою ежедневную утреннюю прогулку и на одном из столбов прочел поразившее меня объявление следующего содержания: «Приглашаю желающих послушать граммофон. Старинные пластинки», — и адрес. Мимо такого я пройти не мог — и на другой день отправился искать дом номер восемь, как значилось в объявлении.

По дороге со мной случилось странное происшествие: я увидел девочку в клетчатом пальто с рыжим воротником, разговаривающую с моим черным котом Асмодеем, загадочным огромным существом с желтыми глазами, который своим взглядом всегда вызывал у меня мысль о том, что он хочет сказать что-то непременно важное. Так вот, когда я увидел девочку и своего кота, мне показалось, что говорила не только она, но и кот принимал самое живое участие в разговоре — так выразительно он размахивал передними лапами и открывал рот. Потом же они снялись с места, двинулись вдоль улицы и исчезли за углом.

Подивившись, я двинулся следом, глядя в номера домов, разыскивая нужный мне дом. Его, небольшой, двухэтажный, из побелевшего от времени дерева, с покатым козырьком над резной дверью и ажурными боковинами, я разыскал быстро и, тщательно вытерев ноги о резиновый черный коврик перед дверью, позвонил, затаив дыхание. Где-то на втором этаже хлопнула дверь, застучали по лестнице каб-



лучки, как-то по-особенному залихватски и дробно — словно металлические шарики посыпались.

Дверь распахнулась, и я увидел давешнюю девочку, но уже без пальтишка, в аккуратной школьной форме.

— А-а, вот и вы пришли! — радостно воскликнула она, как будто мы были старыми знакомыми. — Асмадей будет доволен.

— Как он тут оказался, негодяй?! И что все это значит, девочка? — растерянно спросил я.

— Так и вы с Асмадеем знакомы? — засмеялась девочка. — Чудеса!

— Еще бы, — буркнул я, — это же мой кот, а я — его хозяин.

Мы поднялись по крутой скрипучей лестнице почти на самый чердак и вошли в узкий коридорчик, вкусно пахнущий торгом и домашним печеньем.

— Снимайте, пожалуйста, пальто и шляпу. Меня зовут Женя, дедушку — Иван Силыч... А вас?

Я назвался.

— Вот сюда, в гостиную.

Через маленькую дверь я прошел в гостиную, тоже маленькую, с низким потолком, подслеповатыми окнами, кожаным старинным диваном во всю торцовую стену, столом с резными, темного дерева, ножками, цветастой скатертью на нем, голубым абажуром с бахромой и фотопортретами в коричневых широких рамках по стенам, с вязанными разноцветными дорожками на полу.

Я сел на диван, и он пропел мне песенку о своей старости. «Да-а, дела...» — подумал я.

— Дедушка сейчас придет, — сказала девочка и исчезла в другой двери, не замеченной мной раньше.

Ни о чем не думая, но очень волнуясь, стал я ждать.

Послышалось негромкое кряхтение, и в дверь, за которой скрылась девочка, бочком вошел невеликого росточка сухонький старичок с белым пушком на голове, маленьким острым носиком, морщинистым розовошеким лицом и молодыми, озорными глазами непередаваемо прозрачной голубизны. Показалось, два солнца осветили темноватую гостиную, два солнца, отраженные в веселой весенней воде.

«Ну и ну, — вздрогнув, подумал я, — хорошее начало... Этот дедушка и впрямь не подшутил с объявлением — такие глаза бывают только у людей с серьезными намерениями».

— Вы по объявлению? — хитровато спросил старик. — Хорошо, хорошо...

— Это не розыгрыш? — забеспокоился я осторожно, уже зная ответ.

— Что вы, что вы! Самое что ни на есть настоящее предложение. И притом — специально для вас.

— Для меня? — поразился я.

— Именно, именно для вас! Она знала, что вы рано или поздно придете. Долго ждать пришлось, очень долго.

— Да, но кто...

— Все вопросы потом, уважаемый, а сейчас за дело! Рождество на носу.

Старик вышел через ту же дверь и через несколько минут торжественно, как мне показалось, внес коричневый, со стертymi на боках лаком, деревянный ящик с какими-то колокольчиками, железками и розеточками, поставив его на стол.

— И трубку, трубку требуется, — почти пропел он, вернувшись с огромным металлическим раструбом, похожим на цветок вьюнка. Вставил его в граммофон и подал мне пластинку. — Вот она, голубушка, полюбуйтеся.

Пластинка была тяжелая, старинная, с записью на одной стороне. На другой — чистый тисненый амур натягивал свой лук и пучил на меня глаза. На круглой этикетке с фирменным знаком было написано по-инострannому, и я не разобрал, что именно.

— Ну-с, приступим... — старик осторожно взял пластинку и осторожно опустил на диск. — Вы будете слушать, а я покормлю внучку.



— Да, но вы не спросили — хочу ли я слушать... И почему вы решили, что нужна именно эта пластинка, да еще и одна?.. Ничего не понимаю.

— Поймете, всему свое время, молодой человек, — блеснул старик на меня глазами, словно обжег. — А пластинка именно та, что вам нужна, не сомневайтесь.

Сухонькая его рука стала крутить ручку, заводя пружину.

— Пожалуйста... Вот так поставите иглу... Вот тормоз... А мне пора, мне пора... — и исчез.

Я подошел к столу и уставился на граммофон. Мое сердце стучало сильно и весело. «Вперед! — скомандовал я себе и поставил никелированную змею адаптера на пластинку. — Вперед!» — и отпустил тормоз.

Вначале послышалось легкое шипение и потрескивание. А потом раздался негромкий женский смех. Я вздрогнул и оглянулся — за спиной никого не было.

— Вот ты и пришел... Я знала, что ты придешь, — грустно сказала женщина. — Ты удивлен? Мы старые знакомые, хотя больше никогда и не встретимся. Но я всегда буду с тобой, пока ты этого захочешь. Иди с ними, они приведут тебя туда, где буду и я. Только там ты меня не встретишь, но найдешь именно то, что тебе нужно... А теперь — прощай!

Голос умолк. Раздалось шипение... и все смолкло. Я остановил диск и перевел дух.

«Пойду с ними, — решил я, — пойду с ними, как бы далеко ни пришлось идти».

Вошел старик и жестом поманил меня за собой.

Вскоре мы с ним оказались в низкой и хорошо освещенной комнате. Здесь не было ничего, кроме картины в резной золотой раме и нескольких простых венских стульев, на одном из которых сидел мой кот Асмадей, неподвижными желтыми глазами уставившийся на картину, а на другом устроилась девочка, уже не в школьной форме, а в голубых брючках и красном вязаном свитере. Ее глаза-бусинки весело вскинулись мне навстречу.

— А мы ждем и ждем — он торопит, — сказала девочка и показала на кота. — Говорит — пора. Дедушка меня отпустил. Правда, дедушка?

Старик закивал быстро-быстро и шепотом выкрикнул:

— Идите, дети мои, там, — он кивнул на картину, — вас ожидает много встреч!

Кот прыгнул со стула и мяукнул простуженной глоткой.

— Он говорит, — сказала Женя, — что пора.

Мы подошли к картине, на ней я увидел ночную мощеную булыжником улочку, освещенную луной, угол какого-то дома с водосточной трубой и чье-то единственное туснеющее окно вдали. С изумлением я понял, что эта рама — тоже окно, а улочка и угол дома не нарисованные, а самые настоящие: стоит перешагнуть раму — и ты окажешься на улочке, твои каблучки застучат вот по этим булыжникам, вспугивая всамделишную ночную тишину.

Кот замаякал и перемахнул через раму.

— За ним! — крикнула мне девочка и, лихо свистнув, прыгнула вслед за котом.

Я шагнул следом, не оглядываясь. За моей спиной часы пробили двенадцать ночи...

Северин замолчал и стал неторопливо набивать трубку. Мы перевели дыхание. Каждый из нас, бывших сейчас в гостях у старого художника, знал его странные картины, благодаря которым он стал знаменит. Он стал знаменитым давно, еще в молодости, сразу же по возвращении из какой-то далекой страны, дающей ему сюжеты и вдохновение до сих пор, спустя сорок лет.

Странные пейзажи, странные люди, странный город... И женщина. Всегда одно и то же лицо. Загадочное, туманное, словно исчезающее и неподвластное времени. Девочка, кот, птицы с человеческими глазами...

— Северин, в какой стране вы жили в молодости? — спросил я.

Художник быстро взглянул на меня.

И не ответил.



Мне казалось, что это самое удобное и пустынное место на всем Заливе — маленький пляж с крупным белым песком. С трех сторон пляж окружали огромные зеленые валуны. В их трещинах росли желтые цветы с тонкими прозрачными лепестками, пучками свисал сухой, шуршащий на ветру мох.

Я называл пляжик бухтой. В ней стоял устойчивый запах моря — прелых водорослей, рыбы, йодистых испарений. Я приходил сюда всегда ранним утром. Со дна залива поднималось солнце. Оно было тяжелым и дымным. Вода стекала с него голубыми светящимися струями. Над Заливом стоял плотный сизый туман. В нем бесшумно скользили молчаливые чайки. Для них это была разминка перед долгим крикливым днем.

Вода в Заливе казалась спекшейся вулканической массой, синей, с маслянистым тусклым блеском. Но там, где вставало солнце, она была искристо-зеленого веселого цвета.

Я медленно шел по пляжу. Песок был холодным и упругим. Я вздрагивал и поеживался при каждом прикосновении к нему голых ступней. Потом садился у самой воды, привалившись спиной к мокрому, бугристому валуну. Сюда долетали брызги, сорванные с гребня волны низовым ветром, оставляя на губах солоноватый привкус.

Теперь нужно было только смотреть. Я мог это делать часами, следя за подвижным туманом, изменчивым блеском воды, игрой света на легких волнах, за крикливой суевой чаек, косо падающих в воду. Я подолгу всматривался в зыбкую линию горизонта, в сплетения дрожащей дымки горячего воздуха. В нем возникали причудливые нагромождения скал с узкими щелями фиордов, контуры старых парусников, отблески далеких пожаров. Влажный солоноватый ветер с залива приносил приглушенный шум неведомых городов, шелест флагов в портах, шум прибоя у коралловых рифов, неясные слова гортанных голосов, скрип уключин шлюпок у трапов белых пароходов на рейде.

Когда уставали глаза от яркого света, я ложился в тень и думал о разных вещах, не очень сложных, но необходимых в моих поисках — о цвете мха, форме облака над головой, плеске воды о камни. И тогда приходила та единственная мысль, ради которой я долгие часы пристально вглядывался в окружающую меня жизнь, перебирая и отшлифовывая воображением увиденное. Мысль ложилась рисунком в блокноте, торопливой строчкой на полях.

Я знал — осенью меня ожидает настоящая работа. Осенью в рабочей комнате из пестрой мозаики рисунков и записей родится что-то целостное.

...Девочка появилась неожиданно. Я услышал легкий скрип песка и поднял голову. Такой я и запомнил Иту, такой она и осталась на моем холсте — в коротком, ослепительно белом платье, подстриженная под мальчишку, узколицая и длинноногая, с тревожными зелеными глазами.

Она показала мне тогда настороженной птицей, готовой взлететь при одном только шаге ей навстречу. Я молча смотрел на нее, боясь сделать этот шаг.

— Здравствуй, — сказала девочка. — Меня зовут Ита, и я не люблю, когда на меня долго смотрят и молчат.

— Здравствуй, Ита, — ответил я. — А я люблю долго смотреть на людей и молчать. Так я их лучше понимаю.

— И меня ты тоже хочешь понять? — Ита недоверчиво смотрела на меня, все еще не решаясь подойти.

— Да, и тебя тоже, Ита.

— А когда поймешь, тебе станет неинтересно со мной?.. Я люблю выдумывать, но это всех пугает. Почему? Ты не знаешь?..

Я знал. Но не сказал. Не всегда нужно говорить то, что знаешь.



— Я не устаю от выдумок, Ита. Только выдумывать нужно красиво... и рассказывать не всем об этом. Рассказать только тем, кому это интересно. Ты согласна со мной?

Ита кивнула головой, улыбнулась и осторожно села рядом на песок.

— Ты так и не сказал, как тебя зовут.

Я ответил. Ита заглянула в мой блокнот.

— Что ты рисуешь? Ты художник?

— Да, Ита. Я рисую все, что живет своей и общей жизнью — людей, деревья, траву, вот эти валуны, рыб, воду в Заливе.

— И ты можешь сделать так, что все это будет жить и на бумаге? — Ита недоверчиво смотрела на меня, стараясь понять — под силу ли это мне.

«Маленький философ, — подумал я. — Если бы я только был уверен, что это удастся мне, когда я берусь за карандаш или кисть...»

— Не всегда, Ита. Очень трудно заставить разбиваться волну, а чайку — лететь. Но иногда удается. И тогда это мой праздник.

Ита долго молчала, вглядываясь в рисунок.

— По-моему, сегодня это тебе удалось. Я вижу, как бьется рыба в клюве у чайки. Ты молодец. Но я не люблю нарисованное карандашом, все должно быть цветным, как музыка.

— Как музыка? — удивленно переспросил я. — Музыка бывает цветной, Ита?

— Да, — ответила Ита и посмотрела мне прямо в глаза.

Я понял, что это так и есть.

— Хочешь, я расскажу, как это бывает? — Ита наклонила голову и насмешливо посмотрела на меня. Она не верила, что я что-нибудь понял.

— Расскажи, — попросил я.

— Слушай... Однажды мы с мамой были в огромном соборе. Он был вытянут в небо... как, знаешь, столбы света в морозную ночь?..

Я представил себе взметнувшийся к небу стрельчатый готический собор и прямые столбы света в хрустальную морозную ночь. Они слились воедино.

— Да, я увидел, Ита.

— В соборе стояла тишина, — тихо сказала Ита, — и сначала ничего не было. Ничего. Только лучи света из длинного-предлинного окна. И в луче — миллионы пылинки. Они были цветными — синие, красные, зеленые, потому что и стекло в окне было цветное. Пылинки летели мне прямо в лицо, и я зажмурила глаза от их блеска. Мама взяла меня за руку, и так мы стояли и молчали. Долго-долго. Пока вдруг не заиграла музыка. Я вздрогнула и закрыла глаза. Это было неожиданно, как удар грома. Потом мне показалось, что бегут волны, как в Заливе — одна за другой... и все разные, все спокойные и легкие, словно облака. И мне показалось... нет, я почувствовала, что и я — музыка, что я лечу к берегу легко и бесшумно... Когда я открыла глаза, музыка летела мне в лицо синим, красным и зеленым. Ты не думай, это были не пылинки, это была музыка. Я знаю это точно. И я заплакала, до сих пор не знаю — почему. Музыка кончилась, а я все стояла и плакала, как маленькая. Мама взяла меня за руку и увела. Но и сейчас, когда играет мама, я вижу музыку цветной.

Ита замолчала и грустно посмотрела на меня. Мне тоже стало грустно, тревожно и светло за маленькую душу, открытую красоте, которая приносит не только радость, но и муку, острую и долгую, как ожидание. Я увидел, как прислушивается и дрожит маленькая душа перед необъятностью, великолепием, болью, отчаянием и радостью мира, как вбирает она в себя переменчивые блики бытия, как мучается от неясности, однотонности. И как ей трудно будет узнать, что на свете есть не только красный, синий и зеленый со множеством оттенков, но и другой — скучный цвет.

Так мы стали друзьями.

Мы сидели на горячих камнях у самой воды. Вода была прошита золотыми нитями. Они бежали по дну, высвечивая камни и пугая больших оловянных рыб. Рыбы стремительно неслись в глубину, но потом возвращались и снова сонно засты-

вали у самого берега. Возможно, они просто грелись на солнце, а срывались с места потому, что приснился плохой сон. Я хотел спросить об этом у Иты, но она разговаривала с собакой, и мне не хотелось мешать им.

Собака была огромной и лохматой, той невероятной породы, в которой можно разглядеть признаки всех живущих на свете псов. Но Ита ее любила за добродушие и веселый нрав. Собаку звали просто Собакой. Но я не знал клички лучше этой.

Солнце растекалось желтым жаром по песку, камням, воде, нашим плечам. Собака стояла перед Итой, высунув большой красный язык, и прерывисто дышала. Наклонив голову, она смотрела на Иту маленькими умными глазами. Мне казалось, что в них плещется ирония.

— Собака, — сказала Ита, — Собака, если ты будешь показывать мне язык, я больше никогда не возьму тебя в Залив.

Собака вздохнула, но язык спрятала и, не выдержав больше, тяжело плюхнулась в воду, повизгивая от удовольствия. Ита покачала головой и бросила в нее камешком. Камешек упал у самого носа собаки, подняв фонтанчик воды. Собака недовольно поморщилась.

— Какая невоспитанная собака, — сказала Ита. — Невоспитанная и ленивая. Больше никогда не стану с тобой разговаривать.

Я посмотрел на Иту. На ее загорелой спине отражалось солнце, словно в полированном темном дереве. Ита поднялась и кинулась к воде.

— За мной, Собака! — крикнула она на бегу.

Собака нехотя встала и вприпрыжку понеслась за Итой.

Я видел тоненькую фигурку Иты в море слепящего, дрожащего света — язычок пламени, упруго гнущийся на ветру времени, в шелковистом блеске миражей, в гуле волн и свисте птичьих крыльев. Я удивлялся жизни, возникшей из мертвой материи.

— Ита, — крикнул я, — Ита, смотри, какое огромное солнце!

Ита махнула рукой и поплыла к берегу. Впереди, смешно вытянув морду, плыла Собака.

Это был последний день в нашем Заливе, Заливе Большого Солнца, как назвала его Ита. На другой день Ита уехала.

Мы шли по перрону вокзала, и Ита держала меня за руку.

— Не обижай Собаку, — говорила она, но я понимал, что Ита хотела сказать другое.

— Я не буду ее обижать, Ита. Я никогда не буду обижать нашу Собаку.

Ита молчала. Она молчала долго, пока не решилась сказать главное.

— Обещай мне, — медленно проговорила она, совсем по-взрослому глядя мне в глаза, — обещай мне, что мы еще вернемся в наш Залив. Обещай мне, что ты не придешь туда ни с кем, только со мной. Ты можешь мне это обещать?

«Ита... — подумал я. — Ита, мы едва ли вернемся туда. И даже если бы вернулись, все было бы по-другому. Нельзя прожить один день дважды. Каким бы замечательным он ни был. Ты этого еще не знаешь, девочка. Но мы обязательно встретимся где-нибудь еще. И это будет так же хорошо, тревожно и неповторимо, как и в Заливе».

— Да, Ита, — ответил я, услышав, как предательски дрожит мой голос, — мы еще вернемся!

Поезд медленно отошел от перрона. Я поднял руку. Ита стояла у окна и плакала. Слезы бежали по щекам, но она не вытирала их.

Я понимал, что чувствует сейчас Ита, в первый раз узнав, что такое *уйти*. Со мной это происходило не впервые, но мне не было легче. Как в первый раз.

Прощай, Ита. Ты вошла в меня туманом, Большим Солнцем нашего Залива. Ты осталась во мне жадной необычности, светом летящих облаков, плеском парусов в гулких портах.

Ты осталась во мне выдумкой. Лучшей частью того, что зовется душой.

Анна ПАВЛОВСКАЯ

ВОЛЧЬЯ ШУБА

ОСКОЛОК

Ефиму Бершину

Зеркало, окно, осколок
отражают мир таким
жизнерадостно веселым,
сине-желто золотым.

Из разбившейся стекляшки
столько силы и тепла,
словно я жила однажды,
а потом опять жила.

Мне дыханье захватило,
застелило мне глаза —
если бы пораньше было,
а теперь уже нельзя,—

села бы на первый поезд,
все забросила дела
и уехала бы, то есть
жизнь по новой начала.

Ни к чему не привыкала,
не копила бы вещей,
а была б осколок малый —
бесконечный и ничей.



* * *

Марине Кудимовой

Волчья шуба мне машет густым рукавом,
 говорит на чужом языке меховом,
 на полынном, животном, незрячем,
 на беспамятном, темном, волчачьем:
 «Мы ходили как боги по лесу во тьме,
 мы кровавое мясо держали в уме
 и спускали голодные тени,
 если чуяли рядом оленя.
 Мы учили своих неуклюжих волчат,
 как лечебные травы пахуче горчат,
 как следы источают тревогу,
 как медведь покидает берлогу.
 А теперь продевай свою руку в рукав —
 никогда не услышишь ты запаха трав,
 никогда не увидишь как ночью
 раскрывается зрение волчье,
 и откуда-то из сердцевины темна
 на язык проступает слюна.
 В каждом атоме все это было и есть —
 ваши дети-всезнайки потрогают шерсть,
 лунатически шаря руками,
 и взрослея, пойдут не за вами».

ДЕД

Был на войне со всеми наравне,
 фартило, не царапнуло ни разу,
 как все вдвойне он помогал стране,
 беспрекословно выполнял приказы.

Косил бы луг, повел бы отчий плуг,
 поправил крест на дедовой могиле,
 а он трофейный прикусил мундштук,
 стал конвоиром в Рыбинском ИТиЛе.

Нет, я не отрекаюсь от него,
 но до сих пор своим несчастьям рада —
 пускай ко мне относиться расплата
 и не коснется сына моего.

* * *

Ю. Б.

Расписывал церквушку
 раб божий имярек —
 бродяга, побирушка,
 случайный человек.

Пришло село проверить
 хорош ли вышел бог,
 открыли в церкви двери
 и прокатился вздох.



Обугленные спины,
раззявленные рты,
над огненной равниной
косматые хвосты.

Бегут нагие души,
ползут, сидят, висят
и с мордой равнодушной
их демоны едят.

Он дьявольские рыла
подробно малевал
и вот село решило,
что он там побывал.

Прогнали от порога,
не заплатили мзды,
не дали на дорогу
ни хлеба, ни воды.

Пришли замазать стену,
глядят, а там голо —
распахнута геенна,
в нее летит село.

Приподнялась завеса
с обратной стороны
и бесы, бесы, бесы
столпились у стены.

* * *

В квартире бабочка летала,
в углах металась.
Я просыпалась, засыпала
и просыпалась.

Ее воздушные касанья,
что легче дыма,
ужасным были наказаньем,
невыносимым.

Когда она ко мне на щеку
слетала тенью,
меня как будто било током
от отвращенья.

Была она как мой порок
неумолима,
как демон с вытертых досок
Иеронима.

Она зачем-то лапкой птичьей
меня касалась,
наверно, легкою добычей
я ей казалась.

Я начинала «Да воскреснет»,
сбивалась, злилась.
Я знала, утром все исчезнет,
а ночь все длилась.

* * *

Белый кролик ныряет в нору
неужели я тоже умру
полечу вслед за ним кувырком
со светящим во тьме пузырьком

замерцают вдали зеркала
города где когда-то жила
будут люди мерещится мне
в невесомой моей глубине

но меня ничего не проймет
не прервет бесконечный полет
не помянут ни друг и ни брат
не заставят вернуться назад

я все время боялась упасть
но у времени черная пасть
ветка дерева тень на стене
это все что случилось во мне

с непокрытой иду головой
поздним вечером ранней весной
и дышу и люблю и расту
нараспашку почти на лету

* * *

Опять клубится вроде,
а вдоха не дает:
душа как на охоте
на стоечку встает.
Ни шороха, ни звука,
последний гаснет свет.
Зачем я близорука,
душа, но ты ведь — нет?
Когда бессонной ночью
во мне восстанет тварь,
сама я кровотоку
как раненый глухарь.
Кричу, себя не слыша,
ломаю карандаш,
заброшена всевышним
в беспмятный ягдташ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

Р а с с к а з

Золотой утренний свет медленно просачивался в просторную, заставленную кроватями комнату, отбрасывая на пол слабую решетчатую тень. Душой ощущая наступление нового дня, населяющие комнату люди постепенно пробуждались, робко перешептывались, лежали, глядя в потолок.

Тощий, обросший белой щетиной старик приподнялся на локте, огляделся по сторонам. Распластавшиеся на кроватях никак не решались окончательно встать, переворачиваясь с одного бока на другой, кто-то жалобно скулил. Старик отбросил одеяло в сторону, опустил ноги на холодный пол. Сев на кровати, он обхватил голову поросшими сединой руками, уставился в бело-черную шахматную плитку. Спустя минуту он негромко произнес:

— Скоро застучат.

На его слова никто не отреагировал. Седой поднялся, снял голубую пижаму, надел полосатые тренировочные штаны, костлявыми пальцами поддел серые домашние шлепанцы, вышел в центр комнаты, слабо потянулся и принялся вышагивать вдоль железных спинок кроватей, поглаживая прохладные медные набалдашники. Обойдя комнату по кругу, он влажно чмокнул бескровными губами, поднял сползшее одеяло, по шее в него укутался и присел на прикроватную тумбочку.

Некоторые поднимались вслед за стариком, аккуратно складывали одеяла, одергивали трухлявые, несвежие простыни, садились на убранные кровати и начинали ждать. Какой-то толстяк свернул матрас вместе со всем бельем, сложил его у изголовья, а сам уселся на голую проволочную сетку. Все проснувшиеся нетерпеливо поглядывали на единственную дверь, запертую на несколько тяжелых засовов. Удивительным образом она притягивала к себе впавшие, бесцветные глаза, не находившие интереса ни в соседе, ни в самих себе.

В углу журчала расколота, желтая от извести керамическая раковина; снизу по ней пробегала замазанная клеем трещина, размеренно капающая на рыжую от налета плитку. На стене висело грязное, затуманенное зеркало, давно уже ничего не отражавшее. Недалеко блестел молочными боками не спущенный унитаз.

Тут же образовалась небольшая очередь из желающих умыться и справиться нужду.

На раковине лежал общий обмылок и открытый тюбик зубной пасты. Закончив у раковины, каждый осторожно брал пластиковую мыльницу за доньшко, подставлял кусок мыла под бегущую струю, затем, придерживая мыло пальцем, сливал воду и, наконец, ставил на место, уступая очередь следующему.

Пока жители комнаты ополаскивали опухшие и сонные лица, под раковиной успела набежать небольшая пенная лужица. Несмотря на то, что из глубины комнаты многократно просили что-то по этому поводу предпринять, никто так и не взял в руки торчащую за зеркалом лохматую тряпку.



Когда настала очередь последнего умыться, в дверь трижды глухо ударили, из-за нее приглушенно донесся едва разборчивый суровый голос:

— Подъем! Все из коек!

Заскрипели отпираемые ржавые засовы. Дверь слегка приоткрылась, в проеме мелькнуло грубое лицо санитара. Зазвенела снимаемая с крючка цепочка. В палату прошел высокий, одетый в зеленый халат мужчина. Застав большую часть больных свежими и бодрыми, а их постели запроваженными, он немного смягчился и уже тише произнес:

— Стройтесь на зарядку. Петя, твоя очередь.

— Михал Палыч! — радостно взвизгнул согнувшийся над раковиной низкий человечек, напоминающий скорее ребенка, чем взрослого человека. Петя поспешно выплюнул мятную пену и, забыв закрыть воду, побежал к своей тумбочке. Он опустился перед ней на колени и стал что-то торопливо искать.

Намереваясь поскорее уйти, человек в халате внимательно оглядел комнату. Заметив, что на одной постели еще кто-то лежит, он посуровел лицом, но так же спокойно сказал ближайшему больному, внимательно на него смотревшему:

— Хотя бы сегодня поднимите Шилова на зарядку.

— Есть! — больной косо приложил ладонь ко лбу и, повернувшись к кровати спящего, зло прошипел: — Шило, быстро вставай! Начальник сказал!

Но Шилов только отвернулся к стенке и с головой накрылся одеялом.

Санитар вздохнул, устало потер переносицу и неспешно вышел из палаты, на засов закрыв за собой дверь.

Нехотя, но с шумом и криками, люди начали становиться у своих кроватей. Петя наконец нашел в тумбочке заляпанное синее кашне, заткнул его за шиворот на манер салфетки и двинулся к центру палаты. Остановившись перед построившимися буквой «П» тоскующими людьми, Петя вытянул перед собой руки и тонким голосом уверенно скомандовал:

— И раз!

Он наклонился вперед, дотронулся до носков, выпрямился вновь. На лице у него отразилась радость, щеки пылали.

— И два!

С энтузиазмом Петя повторял это действие раз за разом. Больные ленились и сгибали косные тела без всякого старания.

Раскрасневшийся, с трудом отдувающийся толстяк зло поглядывал на неподвижно лежащего на кровати Шилова. На очередном наклоне он не выдержал и заревел, указывая на Шилова жирным пальцем, обращаясь к его соседу:

— Пни этого, пускай как все делает!

Почуввав опасность, Шилов осторожно выглянул из-под одеяла и пригрозил соседу кулаком, отчего тот струхнул, отступил назад и со стыда принялся делать не то упражнение. Силы покидали отдувающегося толстяка, руки его безвольно висели, сам он страшно хрипел гнилыми легкими, обливался потом. Наконец он рухнул на голую кровать и от истощения сил забылся быстрым сном.

После нескольких минут зарядки больные начали сильно волноваться. Они подвывали своим гимнастическим движениям, трясли дурными головами. Кто-то кричал по-петушиному. Шилов совсем вылез наружу и теперь с удовольствием наблюдал всеобщее сумасшествие.

На шум в палату пришел санитар. Теперь это был небольшой парень в толстых очках и в таком же, как и у предыдущего, зеленом халате, но с масляным пятном на груди.

Санитар захлопал в ладоши, но среди шума и криков его никто не услышал. Раздражаясь, он достал из нагрудного кармашка свисток, приложил его к тонким губам и подул что было сил. Когда противный свист иссяк, все в палате молчали и смотрели на опешившего от неожиданного внимания зеленого санитара. Даже Шилов обернулся и с интересом гадал, что тот сделает дальше.

— Марш на раздачу! Все, быстро! — трясся от злости маленький санитар. — Последний раз вам дозировку снижали!



На раздачу Шилову все же пришлось встать. Без энергии в ногах он шел в самом конце, позади огромной и возбужденной человеческой массы. В середине коридора, немного не доходя до столовой, масса остановилась и упорядочилась в длинную очередь.

Некрасивая медсестра с впавшими от недоедания щеками выдавала больным утренние лекарства. С несчастным видом они привычно опрокидывали в себя пластиковые стаканчики, сходу проглатывая разноцветные пилюли и таблетки. Из строгости характера сестра заставляла дважды открывать рты и высовывать наружу розовые языки. Вполне удовлетворившись увиденным, медсестра без особого желания пропускала страдающего человека в столовую, а сама принималась за следующего.

Очередь дошла до Шилова.

— Вам, Платон Андреевич, сегодня меньше всех досталось, — подозрительно добродушно заулыбалась похожая на труп медсестра.

— То есть как — меньше? — смутился Шилов.

— Да вот так, — без прежней улыбки ответила она. — Проходите, не задерживайте очередь.

Шилов оглянулся, но позади никого не оказалось. Медсестра снова приняла прежний безжалостный вид, и Шилов решил не злить ее понапрасну, тем более что она недодала ему таблеток, от которых его всегда клонило в сон.

На завтрак давали макароны по-флотски. После приема лекарств есть Шилову никогда не хотелось. И сейчас он только для виду гонял пищу по тарелке.

Напротив него присел жизнью замороженный человек. Он без слов смотрел на свои руки, катая в ладонях стальной шарик. Выждав момент, он заговорил:

— Я здесь самый умный.

— То есть как — самый умный? — недоумевал Шилов.

— У меня есть три почетные грамоты. Одна по астрологии, вторая за доброту, а третья — просто. Я здесь умнее всех. А вы очень глупые, даже смотреть страшно, — заморыш увидел за спиной Шилова что-то более интересное и поспешил попрощаться: — Ну ладно, бывай.

Шилов вновь остался один, но это его заботило мало. Он попытался поесть, но, недолго пожевав, выплюнул все назад.

Принимая из рук Шилова полную макарон тарелку, тучная посудомойка горько его отчитала:

— Вам тут готовят, стараются для вас, а вы и есть не хотите. Нелюди какие...

Договорив, она вилкой соскребла еду в ведро для собак, бросила посуду в раковину и скрылась в кухонных кулуарах, оставив умиротворенного полезной пилюлей Шилова наедине с собой.

По привычке он присел отдохнуть от суеты дня у затянутого сеткой окна во двор. Сильные, энергичные парни в майках выгружали из автомобиля картонные коробки. Возле машины стоял длинный бородач и неслышно что-то внушал мокрым от напряжения рабочим. Шилов завидовал им. Они были молоды и вольны поступать со своей жизнью, как считают правильным. Они могли бы занять место бородач того или даже устроиться в психиатрическую больницу санитарями. Но в то же время Шилов жалел их всей душой. Ведь пошатнись в один роковой миг их исключительное психическое здоровье, той же ночью за ними придут, грубо похитят прямо из теплых кроватей и без всякой жалости запрут в тесной палате. И даже не спросят, что они об этом думают. Сила их мышц уйдет вместе с похищенным здоровьем. Им придется долго и тяжело привыкать к лекарствам, беспощадной медсестре, к жизни с тремя десятками таких же обреченных, привыкать к запаху чахнувшей, увядающей жизни. А потом и к смерти.

В палате Шилова постоянно кто-то умирал. Обнаруживалось это исключительно при построении на зарядку. В первые годы его очень расстраивали эти смерти. На многие недели он терял аппетит, сон и покой дремлющего разума. Постоянно его занимала мысль, что, умерев после отбоя, мертвец целую ночь лежит подле ничего не подозревающих и мирно спящих людей. Среди темноты и ночных видений он старался понять, кто из соседей наутро обернется трупом. Шилов напряженно всматривался в их сияющие в ночном свечении силуэты, разглядывал вздымающиеся,



наполняющиеся воздухом животы. Особенно его пугало смотреть в лица. Понять по выражению лица, кто еще жив, а кто давно умер, Шилов не мог. В ужасе дожидался он восхода солнца. Часто вставали все, начиная показывать признаки вяло текущих в них жизненных явлений. Реже кто-то опаздывал, не поднимался вовремя. Делая зарядку, люди начинали что-то смутно подозревать, о чем-то догадываться. Такая зарядка проходила в молчании. Все смотрели на застывшего в постели человека. Потом приходили злые после ночного дежурства разноцветные санитары, убрали покойника подальше от обеспокоенных взглядов больных. После этого все становилось как прежде. С грустью в глазах проходили такие дни. Больные до отбоя носили в душе черные предчувствия скорой гибели. А сестра неизменно выдавала двойную норму успокоительных.

Спустя годы Шилов, сам того не заметив, свыкся с окружающим его увяданием жизни. Люди умирали, на их место приводили других, но умирали и они. Шилов полагал, что у нынешних мертвецов просто не вышло смириться со своей участью...

— Тебя к Андрею Вольфовичу.

Открыв глаза, Шилов встретился взглядом с зеленым санитаром, который поутру приходил будить палату. Он тряс Шилова за плечо, хотя тот уже проснулся и глядел с непониманием.

— Давай, Шилов, давай! — подгонял нетерпеливый санитар. — Поживей, одного тебя ждать не будут.

Санитар мягко взял Шилова под локоть и повел в темный коридор, на ходу подмигнув скучающей за столом сестре. Густо покраснев, она с глупой улыбкой спряталась за страницами худенького любовного романа.

Перед дверью директора клиники Андрея Вольфовича оба мужчины замешкались. Зеленый робко постучал. Не дождавись ответа, он быстро протолкнул Шилова в кабинет и захлопнул позади него дверь.

— Здравствуй, дорогой Платон Андреевич! Как себя чувствуем сегодня? Не стой в дверях как бедный родственник, присаживайся.

Шилов, засмутившись, сел на стул. Андрей Вольфович подошел к шкафу, открыл бар и вынул на свет два бокала.

— Выпьешь?

Словно припадочный, Шилов резко замотал головой. Директор явно расстроился, спрятал один бокал, вытащил бутылку коньяка. Не мешкая, он налил себе граммов сто и немедленно выпил. Посидев и переварив спиртное, Андрей Вольфович заговорил:

— Ну как тебе у нас?.. Не отвечай! — загремел разгорячившийся Андрей Вольфович. — И так ясно, что все прекрасно!

Тут он засмеялся так сильно, что в возбуждении смахнул бутылку на пол.

— Как я неудачно... — он поспешил поднять опрокинутую бутылку, на пролитый же коньяк махнул рукой: — Да и пусть!

Шилов страшно стеснялся и не мог оторвать взгляда от красивых узорчатых обоев.

— Я для чего за тобой послал... — вдруг посерьезнел Андрей Вольфович. — Пришла пора тебе, Платон Андреич, нас покинуть.

— То есть как — покинуть? — не понял Шилов.

— Навсегда покинуть. Мы больше не можем тебя здесь держать. Наша больница для сумасшедших, а какой же ты сумасшедший... По-моему, совершенно здоровый человек!

Шилов недоверчиво сощурился на обои.

— Признаться, я никогда не считал тебя больным. Просто иногда нужно отдохнуть от всего этого... — Степан Вольфович ткнул за окно.

На ветках хвой сидел тусклый щур и лениво воспевал цветение летней жизни.

— Ты еще молод, волен поступать со своей жизнью так, как считаешь правильным. Пора, Платон, нечего в духоте сидеть.

Последние слова успокоили Шилова, он расслабился.

— Может, прямо сейчас? Чего время тянуть... — справедливо заключил Андрей Вольфович.



— Собраться еще нужно...

Подметив это, Шилов сразу сник.

— Все давно собрано, Платон! Гляди!..

Располагающе улыбнувшись, Андрей Вольфович указал Шилову куда-то назад. Прямо за ним, на пушистом ковре, стоял все тот же зеленый санитар. Втайне от Шилова он прокрался во время разговора в кабинет. Ухмыляясь собственной проворности, санитар сжимал в руках маленький кожаный чемоданчик.

— А с одеждой как быть?

— Смешной ты, Платон, право слово... Ты себя видел? Можно подумать, что тебя одевал кто-то другой!

Опустив взгляд себе на грудь, Шилов вспомнил, что перед раздачей он неожиданно для себя решил надеть старый, затасканный костюм, в котором явился в больницу семь лет назад. Достав его из глубин тумбочки, он, овеваемый воспоминаниями, ужасно долго переодевался, потому и оказался в очереди последним.

— Видишь, как все складно получается! А ты переживал... Ну, прощаемся!

Крепким рукопожатием они подвели итог семилетнему заточению. Поднявшись со стула, Шилов принял чемодан из рук санитара, попрощался в директором и в добром настроении, ни на кого не держа зла, покинул кабинет.

Оглядевшись в коридоре, он заметил медсестру и решил с ней попрощаться:

— Прощайте. Меня выпускают, — с робкой улыбкой поделился с ней радостью Шилов.

— Да кто же тебя, дурака такого, выпустит? И костюмчик бы снял, несолидно в больнице носить.

Медсестра зарылась обратно в книгу. От досады Шилов не нашелся что возразить и решил поскорее двигаться к выходу.

Вахтер на проходной спал на удивление крепко; через турникет пришлось перелезть.

За невесомой двустворчатой дверью Шилова встретил небольшой хвойный лесок, в пределах которого располагалась клиника. Стройные, тянущиеся к солнцу сосны напомнили ему о прожитой в деревне юности: о домашних животных и диких птицах, о работающей, полной нежности матери, о первой ночи любви, проведенной под открытым небом. Бессменными свидетелями всей его жизни оказались молчаливые, гордые сосны. И даже сгинув из жизни, думал Шилов, в мире будет кому хранить память о его короткой, неопределенной судьбе.

Знакомые с рождения запахи бесцеремонно вскружили ему голову. Он не мог взять в толк, как прожил в этих смердящих казематах долгих семь лет, вдыхая едкую вонь чахнувших, теряющих остатки рассудка людей.

Встречные работники больницы вежливо улыбались Шилову, здоровались, почтительно кивали. Они признавали в этом потрепанном, несвежем человеке подобного себе. Ему было приятно и лестно вновь ощутить себя среди обычных, здоровых людей.

Оставив черные ворота позади, Шилов неторопливо вышел из леса, оказавшись на оживленной улице; издали потянуло солоноватыми запахами порта. Через дорогу призывно краснело кирпичное здание, зазывающее прохожих соблазнительным меню, мелом выведенным на черной доске. Решив подкрепиться на дорогу, Шилов занял один из угловых столиков, заказал ломтик ежевичного пирога с чаем. Бледная девушка в переднике оставила его, пообещав скоро вернуться.

Через окно Шилов разглядывал непрерывную череду прохожих. Его внимание поймал почтенный мужчина в смокинге, гордо шедший по тротуару, опираясь на изящную тросточку. Шилов вдруг спохватился, начал рыться в карманах, выворачивая их и высыпая содержимое на стол. Денег среди шелухи и фантиков не оказалось. С ужасом ожидая свой заказ, он совсем было отчаялся, как вдруг вспомнил о чемоданчике. Шилов положил его перед собой, звонко щелкнул замками. Чемодан был наскоро набит его вещами. Кроме всего прочего, чья-то заботливая рука положила сверху несколько скомканных банкнот. Он облегченно вздохнул, убрал все со стола и в тишине полуденного кафе дождался официантку.

Наконец она вернулась с подносом, протерла стол лохматой тряпочкой, опустила блюдце и прозрачный стаканчик. Официантка поспешила извиниться:

— Вам сегодня меньше всех досталось, — произнесла она и развела руками, — все до вас съели.

Шилов из вежливости кивнул, подождал, когда она уйдет, затем быстро разделался с пирогом и допил остатки чая. Официантка сидела за барной стойкой, погруженная в какое-то пустяковое чтение. Не желая ее тревожить, Шилов достал бумажные деньги, аккуратно их разгладил и положил возле тарелки. Сам же он поспешил скорее покинуть заведение.

Настало время возвращаться домой. Деревня находилась километрах в десяти от города. Без копейки в кармане ничего другого не оставалось, как идти пешком.

Больница лежала почти на самой окраине, поэтому не заняло много времени пересечь район портовых складов и, оставив позади резкие ароматы моря, выйти за городские пределы.

На трассе оказалось совершенно тихо и безлюдно, только стаи юрких велосипедистов медленно катили по обеим сторонам дороги.

С трудом Шилов узнавал местность. Деревья росли совсем не тех пород. Дорога завивалась круче прежнего. Возникло впечатление, что это вовсе не то место, где он прожил почти всю жизнь.

Но вскоре от трассы отделилась знакомая проселочная грунтовка, свернув на которую, Шилов быстро добрался до деревенских ворот.

Людей на улице видно не было, лишь пылающие в закатном пламени откормленные гуси бессмысленно шатались между заборов и грязных луж. Из дымохода клубами поднимался дым, что-то готовили.

Калитка без звука отошла в сторону. Шилов поднялся на крыльцо, несмело постучал в дверь. Ему не ответили. Тогда он заглянул в окно, но шторы оказались наглухо задернуты.

Когда Шилов вернулся обратно, на пороге он увидел хозяйку дома. Ее лицо несколько не изменилось, оставшись прежним — таким же молодым и свежим, как на единственной имевшейся у него фотографии. Мягкие ее черты словно ускользали от Шилова, глаз его срывался в сторону. Мать кинулась сыну на шею, крепко обвила его руками и долго не желала отпускать:

— Платоша, как я тебя ждала! Заходи скорее в сени, разувайся! Я борща наварила, только с печки сняла. Как знала, что ты придешь! — искренне радовалась она возвращению сына, не позволяя и нотке печали омрачить ее внезапное счастье. Шилов, не зная, что сказать, только улыбался и вертел в руках шляпу. Радость и сияние быстро передались ему, и скоро он забыл стеснение, заново привыкая к родной матери.

Сидя за накрытым столом, они расслабленно продолжали когда-то брошенные на полуслове беседы. Шилов не решался заговорить о своем семилетнем отсутствии. Для нее это уже не имело значения.

На дом опустилась ночь, за окном чернела непроницаемая темнота. Допив оставшийся чай и убрав на шкаф потертый самовар, Шилов забрался на печь, потеплее укутался в шерстяной платок.

— Утром я тебе обо всем расскажу, — пообещал он сидевшей за столом матери. — А сейчас пора спать.

Она тихо улыбнулась, покорно кивнула. Шилов задернул занавески, упал на пуховые подушки и провалился в глубокий, тяжелый сон.

Нежный солнечный луч лизнул щеку спящего, медленно подобрался к темным, морщинистым векам. Люди вокруг него начали медленно просыпаться, о чем-то тихо разговаривать, в нетерпении ходить по комнате. Не открывая глаз, Шилов до макушки натянул одеяло и расстроено заскулил.

— Сейчас застучат, — проскрипел чей-то противный голос.

КАПИТАНОВА ДОЧКА — 2

П о в е с т ь

Предисловие

19 ноября 2007 года я получил по электронной почте несколько писем от некоего Ш., которые первоначально принял за рекламный спам. Но, вчитавшись, я понял, что это записки человека, который просит меня, зная о моем редакторском прошлом и, в некотором роде, настоящем, посодействовать публикации этого текста.

Непременным условием Ш. было то, что мне следовало создать у читателей иллюзию того, что автором этих текстов являюсь я сам. Цель, которую преследовал автор, первоначально была мне не ясна.

В своем первом письме Ш. намекнул, что написанное им является вольным переложением известной повести Пушкина. В какое-то время мне и на самом деле начало так казаться. Я рассказал об этом Т., женщине литературно образованной и глубоко мне симпатичной. Она согласилась помочь мне в окончательной редакции текста. Нам удалось поправить некоторые стилистические обороты, кое-какие абзацы пришлось полностью переписать, а что-то мы оставили и вовсе без изменений, чтобы сохранить авторский колорит.

Кое-что из написанного Ш. нам показалось не подлежащим публикации. Были существенно сокращены главы №№ 6, 7, 8, 9 и 10, в которых, как нам показалось, излагались сведения, относящиеся к государственной тайне. Пассажи интимного характера мы тоже постарались минимизировать. Так, вырезанный из главы № 4 кусок с описанием сцены в квартире Никулиной показался нам попросту порнографическим. Кроме того, мы решили по примеру Пушкина каждой главе «приписать приличный эпиграф... дозволив себе переменить некоторые собственные имена».

Чуть позже, разбирая свою почту, я обнаружил еще одно письмо Ш. Видимо, чтобы установить окончательную связь между своим текстом и повестью Пушкина, автор написал так называемую *пропущенную главу*, в которой вся нижеизложенная история принимает совершенно иной оборот.

С нее и начнем мы публикацию этой странной истории.

Пропущенная глава

Боязнь выйти на улицу и боязнь прожить в четырех стенах многие годы — оба эти страха съедали меня, и я, чтобы хоть чем-то занять себя, принялся описывать свою жизнь.

Открыв Word, я долго думал, с какого момента все началось. Может быть, с того самого, когда директор нашей школы привел посреди урока в наш класс щуплого новенького мальчика? Скорей всего, именно тогда. Или в другой день, накануне последнего звонка, когда вечером я встретил во дворе заплаканную Машку... Я не спросил ее, что случилось, она сама рассказала о том, как наш одноклассник не справился со своим велосипедом и вылетел на проезжую часть прямо под колеса КамАЗа.



Его хоронили 27 мая, в закрытом гробу. Девчонки плакали, плакала Светлана Семеновна, плакала Галистра, а Дрищ произнес очередную идиотскую речь. Плакала мама погибшего, главный бухгалтер профтехучилища № 2, Григорьева Ирина Олеговна, плакал и отец, руководитель строительно-монтажного управления Григорьев Владимир Петрович. Суровый мужчина в темно-коричневом костюме, фланелевой рубашке и, почему-то, сандалиях обнимал жену и вытирал глаза клетчатым носовым платочком.

На похороны Грини пришла Инка Олейникова, к тому моменту студентка второго курса юрфака университета. Инка, вышедшая потом, на четвертом, замуж за своего одноклассника Петрова, будущего следователя нашей облпрокуратуры.

Я помню все это настолько смутно, что иногда не верю в то, что так было. Вернее, так все было или нет, я не знаю. Потому что я не сел тогда в тот самый самолет. Мне не на что было выпить, я сдал билет, а после трясся до Захарьевска в плацкартном вагоне.

Мне говорили, что коммерсанты, которые везли в том самолете шмотье, перегрузили борт. Говорили что-то об ошибке пилота, неполадках, вызванных неправильной эксплуатацией, и даже о том, что командир корабля усадил за штурвал свою дочь, которая очень просила.

Самолет рухнул в тайгу, и обломки его долго собирали специальные подразделения милиции. Тела погибших передавали родственникам, его тело было среди них. Летела ли этим рейсом Елена, я, кстати, так и не узнал, но все, что происходило потом, доказывает, что и да, и нет.

Стоило бы рассказать о том, как, выходя из Никулинского подъезда, он поскользнулся на ноябрьском льду и получил перелом основания черепа, или о том, как его ударил отверткой в сердце неизвестный и так и не найденный хулиган, напавший на него в темной и грязной пылевской подворотне. Или это был не хулиган, а специально подосланный человек...

Последнее, что случилось с ним — это сторож садоводства «Дружба», выстреливший в него из двустволки ранним летним утром. Я тащил его раненого на себе до тех пор, пока он не умер.

Я не знаю, был ли он в моей жизни вообще. И, наверное, никогда не узнаю. В любом случае, писать далее об этом я не хочу. Я хочу, чтобы все это кончилось, но я пока не знаю, что мне для этого нужно сделать.

Пока надо бы отвлечься от мыслей о нем. Тем более, кто-то звонит...

КАПИТАНОВА ДОЧКА-2

*Не посвящается никому.
«Аналогичный случай был в Пензе».*

А. и Б. Стругацкие

Глава I. СТУКАЧ

«Ты, как и я, мы никогда не любили школу...»

Саша Соколов

Директор средней школы № 7 имени летчика Талалихина в сибирском городе Захарьевске, ветеран и орденноносец Иван Сергеевич Петрищев, которого старшеклассники звали меж собой Дрищом, для нас, учеников пятого «В», был личностью непререкаемой и масштабной. Впрочем, как и для всех остальных учащихся, их родителей и подчиненных ему учителей. Его уважали и боялись. Предметом, который он преподавал, была *история*; наверное, потому с детских лет царя, прозванного Грозным, я представлял не таким, как на картине Репина или в фильме Эйзенштейна. Мой Иван Грозный был худ, лыс, его темно серый пиджак был постоянно расстегнут, а галстук на шее слегка перекошен.

Русский язык и литературу вела наша класснуха Светлана Семеновна. Мы любили ее. Наверное, потому что она была совсем молодой, вчерашней практиканткой, наша Семеновна.



В тот день ее урок был первым, она говорила про басни Крылова, а у меня страшно болела голова. От черных кругов перед глазами я не видел клеток в тетради. Я сидел, опершись головой на ладони, и вздрогнул, когда внезапно в класс ворвался директор. Светлана выронила указку и тут же подняла ее дрожащей рукой. Класс встал. Коленки почему-то дрожали.

Дрищ окинул орлиным взором кабинет, почему-то нахмурился, мельком взглянув на портрет Гоголя, и сказал:

— Садитесь. Вот новенький мальчик. У него старинное русское имя — Петр. Как у царя Петра Первого.

Нескладный, с ввалившимися огромными, в пол-лица, глазами, в мятом школьном костюме, с кроличьей шапкой подмышкой и потрепанным ранцем в руке ученик Петр выглядывал из-за ноги Ивана Сергеевича.

— Куда мы с вами посадим Петра? А, Светлана Семеновна?..

Учительница замешкалась. Свободных мест в классе не было. Задняя парта третьего ряда была завалена какими-то наглядными пособиями. Светлана Семеновна, похоже, готова была провалиться сквозь пол прямо на второй этаж. Посадить новенького было определено негде.

Моя соседка по парте Машка в это время лежала в первой городской больнице, уже три дня. Она постоянно чем-то болела, но это не мешало ей получать в конце четверти пятерки и четверки... Итак, Машка была в больнице, а на Машкином стуле стоял мой огромный черный портфель и полотняный мешок с физкультурной формой. Семеновна посмотрела на меня, как на спасителя. Я нехотя взял свои вещи и опустил их на пол.

— Садись пока с ним, — директор указал на меня пальцем. — А вы, Светлана Семеновна, зайдите ко мне на большой перемене, пожалуйста.

Так, под аккомпанемент головной боли, в моей жизни появился Петька Григорьев. А когда моя соседка по парте в очередной раз вышла из больницы, Григорьева отсаживать не стали. Машке нашлось другое место, а с Петькой мы так и просидели вместе до последнего звонка.

Он был хилым пацаном, но по точным наукам намного обгонял класс. И хотя все двоечники и хулиганы шпыняли его, Петька, к которому моментально прилепилось гнусное погоняло *Гриня*, сносил обиды гордо и молча.

Особенно усердствовал Пашка Богданов, уже в пятом классе заработавший репутацию главного раздолбая школы. Он начал доставать Гриню с самого первого дня и мучил его до самого выпуска. Свита многочисленных Пашкиных подхалимов потешалась над нескладным Петькой. Дошло до того, что, уже будучи старшеклассником, Гриня терпел насмешки и нападки от младших, которых на него с удовольствием направлял богдановский дружок Саня Волков.

В девятом классе Петька, назначенный дежурным по рекреации первого этажа, стоял перед обезумевшей толпой третьеклашек, по команде Волкова скандировавших: «Гри-ня, Гри-ня!» Он раздавался на весь холл, захватывая коридор и лестницу. Григорьев стоял в растерянности, его обвисший, в пятнах мела, школьный пиджак, брюки с вытянутыми коленками, невымытые волосы — все вызывало презрение и жалость. Я прислонился к подоконнику и с грустной усмешкой смотрел на то, как злые дети, улюлюкая и тыча в него пальцем, слаженно выкрикивали его позорную кличку.

Неожиданно Гриня сделал шаг вперед, подошел к самому наглому третьекласснику, симпатичному светленькому мальчишке с голубыми глазами, и с размаху влепил ему неуклюжую пощечину. Гринина ладонка красным отпечаталась на щеке ребенка, и уже через несколько секунд появившаяся как нельзя вовремя учительница начальных классов Татьяна Яковлевна, пожилая властная женщина, уже тащила перепуганного насмерть Гриню в кабинет Петрищева.

В настоящий ад Петькина жизнь превращалась в дни контрольных. Ненавистное *Гриня* мерзким шипением проникало к нему в уши, синусы путались с косинусами, а изможденный Петька рассылал по классу десятки записок с решениями. Усталая математичка Галина Ивановна сидела, уткнувшись в «Комсомольскую правду» за



прошлую неделю, и лишь иногда поднимала голову, чтобы с притворной строгостью проскрипеть: «Григорьев, Богданов, я вам одинаковые оценки поставлю — точно, как трижды три!»

В конце концов, получив несколько необязательных четверок и даже один трояк, Петька не выдержал. В день очередной контрольной по алгебре он набрался смелости и прямо перед уроком собрал в коридоре своих мучителей. Пацаны с недоверием окружили хлипкого умника, приготовив на всякий случай кулаки.

— Значит так... — сказал Григорьев. — Сорок минут от начала контрольной все молчат и меня не отвлекают. Через сорок минут я отправлю по рядам оба решенных варианта.

Примерно к середине контрольной кто-то из ожидающих не выдержал и просипел: «Гри-и-иня...» Петька не обернулся. Пашка Богданов погрозил шептавшему кулаком. Прошло еще минут десять. Петька писал, уткнувшись в тетрадку. Тишина была необычной и пугающей. Вдруг Петька резко выпрямился, сложил два клетчатых листка вчетверо, на мгновение обернулся к сидящему позади соседу и протянул их ему. В углу листков красовались маленькие цифры — единица и двойка, написанные вечно текущей Петькиной ручкой.

На перемене Пашка Богданов подошел к нему сзади и двинул под дых.

— Ты че, Гриня, офигел? — возмутился он. — Мне же Галистра пятерку поставит за такую контрольную, она ж прямо за столом от этого скопытится. Мне надо было хотя бы пару ошибок придумать... В следующий раз быстрее решай, понял?!

— Да не трогай ты его, Пахан, — я, сам того не ожидая, вступился за соседа по парте, — замучил ты его уже капитально. Переведется в другую школу, кто тебе тогда списывать будет давать?..

Богданов, как ни странно, вял.

Сам я Петькиными услугами, кстати, не пользовался. Во-первых, у меня самого с математикой было в порядке, во-вторых, после одной истории я с ним разговаривал редко, лишь по необходимости.

Дело было после седьмого класса, в котором нас, двух пацанов и трех девчонок, приняли в комсомол. Очередь остальных наступила в восьмом, а нас — меня, Петьку и других, обязали выучить «Устав», семикопеечную красную книжицу, уже сейчас. Мы без особых трудов прошли всю процедуру комсомольской инициации, и в апреле в нашем 7 «В» появилась комсомольская ячейка.

Петьку, как самого умного, выдвинули в школьный комитет, а я, хоть и рисовал стенгазеты, в общественной жизни особо не участвовал. Инка Олейникова, девушка из 9 «А», писаная, как мне казалось тогда, красавица, даже пожалела, что рекомендовала меня на комсомольском собрании.

Летом нас ждали каникулы и отработка. Гриня занимался побелкой комнаты Клуба интернациональной дружбы, я подметал двор.

Мы тогда развлекались конструированием самодельных хлопушек — трубок, начиненных спичечными головками, с гвоздем-курком на резинке; после резкого нажатия на «спуск» сооружение выдавало недюжинную порцию дыма и грохота. С этим орудием смерти я зашел в пустую летнюю школу. Зачем-то меня понесло на третий этаж, где красавица Инка мыла совсем некрасивый пол. Петька стоял рядом, облокотившись на заляпанного известкой «козла», и смотрел на нее глазами обожателя.

Я подошел к ним и предложил Грине грохнуть «бомбочку» прямо в школе:

— Школа пустая... знаешь, как долбанет!..

Гриня в ответ промолчал. Инна, которая только что закончила мыть коридор, подошла к нам.

— Привет, Леша, — ее голос был волшебным, а майка обольстительно намочла. Это была уже не угловатая девчонка, это была почти женщина; мне захотелось сотворить в ее честь нечто этакое... И вдруг, неожиданно для них и для себя самого, я стукнул «бомбочкой» о ножку козла.

Грохот был и вправду впечатляющим. Спичечных головок в трубку я напихал прилично, да и дыма тоже было достаточно.



Инка смеялась и крутила пальцем у виска, Гриня стоял с каменной рожей. Почти сразу откуда-то снизу, со второго этажа, раздался знакомый и парализующий волю голос: «Всем стоять на месте!» По лестнице, перешагивая через три ступеньки, поднимался разъяренный Иван Сергеевич.

— Кто это сделал? — он уставился на меня. Я пожал плечами. — Григорьев, что скажешь?! На этаже больше никого нет.

Он сверлил Петьку глазами, Инна стояла чуть поодаль. Петька согнулся, опершись на перила. Мне показалось, что он дрожит. Он и вправду дрожал и выглядел так, словно собирался заплакать.

— Лех... — еле слышно прошептал он, — по-моему, тут бесполезно... лучше сам отдай...

Дрищ повернулся ко мне.

— Шапкин, — он протянул руку, в которую я положил любовно собранную взрывоопасную конструкцию, — ты разве не на улице должен работать? Подойди к Анне Ивановне, скажи, что я оставляю тебя сегодня работать во вторую смену. Понял меня?

— Понял, — буркнул я, но Дрищ не дождался моего ответа, стремительно метнувшись вниз решать свои многочисленные директорские проблемы. Навстречу ему поднималась Светлана Семеновна. Иван Сергеевич сухо кивнул ей, а она, обнажив некую сцену на площадке третьего этажа, посмотрела на Гриную.

— Григорьев, ты же ничем сейчас не занят? — он стоял как столб, побелевшей рукой сжимая ножку козла. — Сбегай, пожалуйста, в учительскую, принеси мне пособия.

Очумев от неожиданно свалившейся свободы, Гриня побежал вниз, чуть не сбив ведро.

— Стукач, — прошептала Инка и посмотрела на меня так, что я почувствовал себя героем сопротивления, Фиделем Кастро, Оводом и Дубровским в одном лице.

Бить Гриную я не стал. Ему и без меня доставалось, да и наутро после этого случая он убыл с родителями на дачу. Хотя мы продолжали сидеть за одной партией, но общались теперь крайне редко. Про историю с хлопущей я никому из одноклассников так и не рассказал.

В восьмом классе на весенние каникулы нескольким отличившимся ученикам выделили льготные путевки в Ташкент. Петька занял третье место в городской олимпиаде по математике, «отстоял честь школы», как назвал это директор на торжественной линейке в честь восьмого марта. Я ничем особым не отличился, просто Машка, которая должна была ехать туда за какие-то комсомольские подвиги, в очередной раз заболела, а раз уж высочайший выбор дирекции выпал на 8 «В», то понадобился кто-то достойный, не Богданова же было отправлять. Светлана Семеновна вспомнила, как в прошлом году я собрал больше всех макулатуры, поговорила с Петрищевым — так я и очутился в Ташкенте.

Я не стану описывать город, я его почти не видел. Мне было на кого смотреть — с нами в группе оказалась Инна Олейникова, от которой не отходил ее одноклассник и сосед по подъезду комсомольский активист Слава Тихомолов.

Мы жили в каком-то пионерлагере в черте города. Математичка Галина Иванова, руководитель группы, строго блюла нашу нравственность и следила за тем, чтобы детки ни в коем разе не попали под влияния мрачных упырей в кожаных куртках, которые постоянно терлись на территории лагеря, жевали что-то очень для них важное, плевали на пол и говорили на странной смеси языков, среди которых русский присутствовал лишь тогда, когда надо было сказать слово «рублей». От этой братии она нас оградила, но вот от проживавших в соседней палате ребят из сорок четвертой школы — увы, нет. Среди них выделялся примечательный парень по имени Андрей. Он был невысок, но мускулист и, как мы заметили в специально для нас затопленной общей пионерской бане, несмотря на свои пятнадцать, обильно обволочен в тех местах, где у того же Грини еще ничего не росло.

Андрей много говорил о музыке, которую мы не знали, называл «Машину времени» говном, а также имел с собой чудо техники — кассетник Sanyo, на кото-



ром во время вечерних посиделок в беседке, разогнав подшефных пятиклассников по палатам, мы слушали запрещенные группы «Телефон» и «Примус» и резались при этом в дурака.

Инна и Слава в наших бдениях участия не принимали. Они ходили, взявшись за руки, по территории лагеря и беседовали на неведомые мне темы. Я сгорал от ревности, но не подавал вида. Когда Инна приближалась, я делал свой голос нарочито мужским и грубым, но ей было совсем не до меня, так что все мои старания были напрасны.

Каникулы быстро закончились. Обрато мы ехали в поезде из «почти лета» в «еще зиму». Перед отправкой на последние карманные деньги на восточном базаре были куплены хурма и грецкие орехи. Мы помахали Ташкенту рукой и тронулись в путь.

Под стук колес тайком от математички опять играли в подкидного. Андрей из сорок четвертой школы ехал, как выяснилось, в соседнем вагоне. Он-то и предложил тогда сыграть «на интерес». Денег ни у кого уже не было, так что играть стали на орехи. Андрюха безжалостно обыграл нас всех и скоро отбыл в свой вагон с урожаем. К трем часам ночи за столом в купе у Олейниковой оставалось четверо. Я, Инна и Гриня продолжали играть, Тихомолов на верхней полке читал журнал «Подвиг». Я не очень хорошо себя чувствовал, постоянно стучало в висках, но оставлять сопливого Гриню рядом с девушкой моей мечты было выше моих сил.

Вскоре Инка оставила Григорьева в полных дураках, предложив ему сыграть в долг. К семи часам утра изможденный Петька был должен ей три килограмма грецких орехов. Один килограмм орехов в нашем городе стоил тогда десять рублей — почти столько же, сколько стоили три бутылки водки...

В первый день занятий неподалеку от школы я увидел Гриню. Его портфель стоял на асфальте, Гриня явно кого-то ждал. Когда у школы появилась Инна Олейникова, непринужденно болтавшая с Тихомоловым, Гриня выскочил им наперерез, неуклюже открыл портфель и, уронив на грязный асфальт дневник и тетрадки, достал оттуда огромный целлофановый мешок.

— Ты чего, Грищенко? — Инка то ли не помнила его фамилию, то ли нарочно издевалась.

— Инночка, карточный долг — долг чести, — сказал Петька, развернулся и отправился в школу имени летчика Талалихина.

Инна прижимала к пальто три килограмма грецких орехов и смотрела Грине вслед. Я понимал, что значит этот взгляд. С тех пор я возненавидел Петра Григорьева на всю оставшуюся жизнь.

И я так и не узнал, где он взял тогда деньги.

Глава II. ВИЗИТКА

*«И когда я обернусь на пороге,
Я скажу одно лишь слово: "Верь"».*

Цой

Девственность я потерял второго сентября в общежитии областного технологического института, в комнате № 316, в которую заселился за двое суток до этого в качестве студента первого курса. Ее звали Марина, она была, как и моя первая любовь, на два года старше, мы пили с ней, с моим соседом по комнате вечным студентом Вовкой Худяковым и ее подружкой Аленой у них в комнате на четвертом этаже. Вовка остался с Аленой, мы с Мариной спустились ко мне.

Наутро меня мутило, однако настроение при этом было великолепным. Пятикурсник Худяков, встретив меня в переходе, поприветствовал: «Здравствуй, мужчина!» — а его спутница с ухмылкой посмотрела на меня и расхохоталась:

— Это, что ли, сосед твой, Вовка?

— Ага, Лен, — отвечал Худяков. — Нормальный парень, достойную смену взращу.

— Ты только поменьше бухай с ним, — посоветовала мне Лена и засмеялась. Это была довольно высокая, крупная, полногрудая девушка, с резкими манерами, ярко-красными губами и рыжей шевелюрой.

— Будем знакомы, Ковалева Лена, — сказала она и протянула мне руку в кольцах на неестественно коротких пальцах. Рука была холодной. Ее глаза смотрели на меня и куда-то сквозь меня.

— Шапкин. Алексей, — ответил я и быстро попрощался.

Студенческая жизнь мне понравилась. После полового прорыва, совершенного мной, мы еще несколько раз встречались с Мариной, но вскоре я переключился на ее гораздо более симпатичную подружку, а с подружки — на подружку подружки... В общем, жил в свое удовольствие, не завязывая длительных отношений.

Ковалева частенько попадалась мне в переходах, но она лишь мельком удостоивала меня взглядом и проносилась мимо в компании друг или очередного институтского красавца.

Гриня, бывший одноклассник, жил у тетки, учился в параллельной группе, по общагам не шатался и, скорее всего, все удовольствия получал тихо сам с собой, поскольку представить его, сутулого, с невымытыми волосами, мятыми брюками, нелепом пуловере, вечно испачканном мелом, с какой-нибудь мало-мальски симпатичной особой было невозможно. По выходным, когда общажный коммунизм переходил в древне-римскую оргию, на последние покупался портвейн, а триппер кочевал с этажа на этаж, Гриня уезжал в Захарьевск, к родителям.

Особого желанья общаться с Гринею у меня не было, более того, рядом с ним я ощущал необъяснимый дискомфорт. Встречались мы только на редких общих лекциях, но я сидел на любимой предпоследней парте в компании своих общаговских корешей, а Гриня — где-то впереди, рядом с такими же «ботаниками», как и он сам.

Учился я, как ни странно, неплохо, даже выхлопотал повышенную стипендию по итогам первых двух семестров. Я играл в волейбол и на гитаре, меня начали приглашать в сборную института и в КВН. Гриня же налегал на точные науки, спорил на лекциях с преподавателями, но на экзаменах начинал стесняться, заикаться и плыть.

Ближе к концу первого курса мне стало плевать на учебу — впереди все равно гремела сапогами армия, которую я ждал со смутным страхом.

В июне, когда я сдавал последние экзамены, мой сосед Худяков вымучивал долгожданный диплом. Он травил мне душу мечтательными разговорами о том, как мы будем обмывать его значок, каких баб позовем на пьянку, что купим, даже завещал мне свою провисшую до пола кровать.

За сутки до того, как пятый курс собрал деньги на финальный банкет, я, побритый наголо, в старом отцовском пиджаке и его же шерстяных трикотанах с вытянутыми коленками, сел на двенадцатый трамвай, и тот увез меня в кировский военкомат, к которому я был приписан с момента заселения в общагу ставшего родным технологического института.

По нузу в учебке я получил в первый же день — от сержанта Полукарова, который отметил меня в каптерке за криво подшитый подворотничок. Но уже через полгода я снисходительно раздавал затрешины вновь прибывшим *духам*, а еще через полтора стал добрым измученным службой дембелем, со всеми приличествующими атрибутами — свисающим до мотни ремнем, застиранным до желтизны х/б и торчащим из-под пилотки кудрявым чубом.

Отслужив, я не сразу поехал домой. Вместе с Ваней Засыпкиным, кругломордым мужичком из Брянска, мы рванули на поезде в Москву, чтобы прикупить шмоток перед институтом, посмотреть на московских девиц и отметить дембель с какими то Ваньными знакомыми.

Неделя в Москве пролетела в алкогольном тумане. Домой я решил лететь самолетом, купив билет на высланные матерью деньги, безжалостно пропив оставшееся. Из вещей удалось прикупить только темно-синие адидасовские кроссовки, которые я



взял у хамоватого фарцовщика на рынке «Динамо» перед тем, как отправиться на аэровокзал.

После вчерашней пьянки трещала башка, похмелиться было не на что. Я уныло побрел к стойке для регистрации, где неожиданно обнаружил в очереди Гриню.

— Привет! А ты чего тут делаешь? — изобразил я радость.

— Домой еду, из армии... служил тут неподалеку, — тихо ответил Гриня.

Он стоял в очереди и грыз мороженое. На нем была модная куртка, джинсы... Он вообще изменился к лучшему — тусклая задроченность во взгляде исчезла, появилась несвойственная раньше аккуратность, сколиоз пропал, волосы были аккуратно пострижены.

Мы поговорили о службе, я спросил с усмешкой, не ждет ли его с армии какая-нибудь девица, на что он покачал головой. Вдруг он начал рассказывать, как два месяца назад ходил в свой последний дембельский караул.

— Представь аэродром, большой такой, его разбили на два поста, — рассказывал Гриня. — Там был парень — наш земляк, кстати, из Луполесова, Юрой звали. Короче, он говорит: давай не пойдем на пост, а поспим тут, в траве. А там тихо так, кузнечики, звезды... В траву я не пошел, побоялся змей, прилег на баллоны с пропаном. Прямо так, с АКМ на шее, и прилег. И тут мне сон приснился, будто я иду по переходу в технологическом, а навстречу мне голая баба, огромная такая, сисястая, глаза у нее какие-то странные... Вдруг эта баба говорит мне: «Слышь, Петр Андреич, пойдем-ка со мной в деканат». Я перетрухал, меня же за всю жизнь по имени-отчеству звали только на принятии присяги... Иду я за этой бабой в деканат, она меня за руку тащит; подходим к дверям, она за ручку дергает, и... — Григорьев вдруг остановился и задумался.

— Что?..

— Драчичо! Проснулся я... Лейтенант Морозов стоит надо мной и орет: «Подъем, Григорьев!» Выпалили нас с Юркой. Ему пять нарядов, он все-таки на своем посту спал, а мне — губа... И «макаронскую» лычку сняли. Иду теперь домой — ефрейтор авиации, как хрен в канализации.

Я заржал.

— Дурень ты, Гриня, как был лошарой, так лошарой и помрешь... Смотри по сторонам, чтобы у тебя вокзальные бомжи сидор не увели!

В этот момент к нам подошла какая-то женщина. Лицо ее было странно знакомым. Короткие рыжие волосы, пронзительный взгляд, не терпящий возражений тон.

— Ребята, вы ведь из Захарьевска?

— Да, — ответил за обоих Гриня.

«Где же я ее видел?» — подумал я.

— Я на самолет опоздала, у меня билет пропал. Займите сотню, по прилету отдам.

Я уже хотел было послать нахалку, но тут Гриня совершил то, что изменило нашу с ним последующую жизнь. Он достал из кармана военный билет, в котором лежала согнутая пополам сотня и еще несколько десятков, и протянул деньги рыжей. Она чуть не вырвала у него купюру и, не благодаря, убежала к кассам.

— Дурак ты, Гриня... Где ж ты ее потом искать будешь, это ж кидалово чистой воды! — я посмотрел на него с презрением и жалостью. — Лучше бы мне дал, я вообще без копейки лечу.

— Мои деньги... что хочу, то и делаю! — неожиданно резко отозвался Гриня.

Пробираясь по самолету к своим местам, мы встретили рыжую, возившуюся с сумочкой. Встретившись с Гриней глазами, она протянула ему визитную карточку и приказным тоном потребовала:

— По прилету позвони!

Мы уселись на заднем ряду.

— Что ж это за птица такая... Где-то ведь я ее видел... Дай взглянуть на визитку.

На кусочке картона было написано: «Товарищество с ограниченной ответственностью фирма “Синтез”. Елена Леонидовна Цой, коммерческий директор».

Имя это ни о чем мне не говорило.

Глава III. ЗАВОД

*«Посреди пустыни Гоби есть завод подводных лодок.
Старший лодочник, очкарик, никогда не видел моря.
Средний лодочник — красotka, председатель профсоюза.
Младший лодочник — романтик. И, должно быть, из двуполых».*

Махмуд Исполкомов

Распределению в Пылево мог обрадоваться только debil, а я себя debилом не считал. Но вскоре после того, как я сразу по окончании преддипломной практики впервые в жизни попал в вытрезвитель и с огромным трудом избежал проблем из-за предшествовавшей вытрезвителю драки, все более или менее нормальные варианты для меня оказались невозможными.

— Проходите, ложитесь на свободную кровать. Если будет холодно, возьмите второе одеяло, — я навсегда запомнил голос сержанта, принявшего столь важное участие в моей судьбе.

Прощание с малой родиной вышло недолгим. Из всего потока в Пылево отправлялся лишь я. До вокзала меня вез таксист, всю дорогу рассказывавший мне о том, что на прошлой неделе он подвозил пьяного, но очень дорого одетого мужика, оказавшегося «афганцем».

— Всю дорогу за сиденье заглядывал и говорил мне, что там кто-то шуршит, — вещал таксист. — А потом вдруг ткнул меня в бок и пошел в атаку на Джелалабад. Они, мля, больными людьми оттуда приходят... Короче, я высадил его у тридцать шестой школы, он кулаком мне по капоту треснул и рванул куда-то во дворы. А знаешь, что я потом прочитал в «Вечерке»?!. Коммерс какой-то на осине во дворе тридцать шестой повесился. На галстук. Я думаю, это он и был...

Историю о повесившемся генеральном директоре фирмы «Синтез» я уже знал. О повесившемся миллионере судачил весь Захарьевск. Антон Абрамов был весьма успешным бизнесменом. Начинал, как и многие, с видеосалона, который потом прирос уютным кафе, несколькими заправками и небольшим рынком. Об Абрамове говорили, что он нелюдим, что вернулся с войны с испорченной психикой, что ему нельзя пить. Бессменным компаньоном Абрамова был Андрей Иннокентьевич Цой, высоченный добродушный кореец, жена которого, Елена Леонидовна, в девичестве Ковалева, в бизнесе мужа не участвовала, хоть и числилась в «Синтезе» коммерческим директором.

Пылево оказалось задрипаным уральский городишкой, населенным семьдесятю пятью тысячами угрюмых людей, из которых ровно десять тысяч были работниками электрохимического завода, где я и должен был начать свою трудовую деятельность в качестве молодого специалиста. Еще тысяч пять работало на электростанции, которая считалась крупнейшей в стране. Какими соображениями руководствовались партия и правительство, решившие построить рядом с эвакуированным из Ярославской области химзаводом это чудо инженерной мысли, сжигавшее ежедневно в своих печах два состава угля, я не знал, но твердо знал, что долго в этой дыре не задержусь и при первой же возможности слиняю. Город мне не нравился, уральский говор меня раздражал, погода в конце августа была отвратной, настроение — дряблым.

В первый же рабочий день меня, инженера третьей категории центральной заводской лаборатории, зачем-то привели к генеральному директору предприятия, Герою Социалистического Труда, лауреату всех существующих премий, кроме, пожалуй, Нобелевской, Анатолию Ивановичу Никулину. Седой как бумага серьезный старик сидел под политически нейтральным портретом Юрия Гагарина, смотрел на меня в упор и улыбался.

— Сейчас страна переживает тяжелые времена, — прохрипел Никулин. — Это раньше было все понятно — мы работали на оборонную мощь, тебя бы сюда никто бы не отправил без трехкратного согласования во всех органах. Сейчас у нас конверсия — вату выпускаем, тампоны, пакеты целлофановые... А раньше на этих вот мощностях делали такое, что тебе, Алексей Палыч, и не снилось...





На стене директорского кабинета висела карта завода, территория которого была немногим меньше территории Пылева.

Неожиданно на столе Никулина заработал селектор. «Анатолий Иванович, — дребезжал голос секретарши, — тут к вам Устинов прорывается, говорит, что третий цех опять график...»

На этих словах в кабинет директора без стука вошел толстый дядька и с порога начал говорить о том, что график отгрузки тампонов под угрозой, потому что железнодорожное управление вовремя не ставит контейнеры.

— Вызови-ка мне, Ирина, начальника ЖДУ, — пробасил Никулин, обращаясь к селектору, — и подготовь приказ на строгий выговор ему за срыв постановки контейнеров. И на Устинова — тоже строгача, за срыв отгрузки. Все поняла?..

Устинов в полной растерянности попытался что-то сказать, но Анатолий Иванович посмотрел на него так, что начальник третьего цеха окончательно сник и попятился к двери.

— Раздолбаи! — рывкнул директор, вновь оставшийся со мной наедине. — Все понял? Иди, занимайся, в общежитие тебя уже определили. У нас хорошее общежитие, там даже иностранные специалисты живут.

Ковровая дорожка красного цвета была нарисована на полу общежитского коридора краской. Комната мне досталась отдельная, даже с удобствами, к которым в том числе относился черно-белый телевизор «Горизонт», показывавший целых две программы.

В одной секции со мной жил самый что ни на есть иностранный специалист. Это был молодой и крепкий хорват Гордан Мадрец, представитель югославской компании «Технохимия». Мы с ним ненадолго сдружились, распивая дрянную местную водку и посматривая на экран «Горизонта», показывавший, как разваливаются на части моя и его страна.

Гордан поездил по миру; однажды, подпив, он похвастался фотоальбомом, где хранил фотографии различных женщин, которых, по его словам, у него было по несколько в каждом городе, где работал.

Уехал Гордан, когда у завода кончились деньги. Уезжая, он в шутку «завещал» мне свою местную девушку. С фотографии на меня смотрела высокая голубоглазая блонда в сером спортивном свитере, расстегнутом ровно настолько, насколько было нужно, чтобы задержать взгляд на самом интересном.

— Наташа ее звать, — сказал мне Гордан, записывая на клочке бумаги пять цифр ее рабочего телефона. — Домашний не дам, она Никулина дочка.

Горничная Валентина Савельевна, с которой я подружился с первого дня заселения в «Дом молодого специалиста», щедро делилась со мной сплетнями маленького города. Она и рассказала мне о Наташе Никулиной некоторые подробности.

От первого мужа Наталье досталась фамилия Котикова и чудесный сын Артем. Замуж она вышла на втором курсе института, против воли отца и, как говорили, «по обстоятельствам». Молодые жили в областном центре в институтской семейной общаге. Отец этот брак не одобрил, деньгами совсем не помогал. Когда Наталья узнала, что Котиков стал колоть себе в вены какую-то дрянь, она собрала ребенка и уехала в Пылево к родителям. В институт из академотпуска она восстанавливаться не стала, и Никулин пристроил ее директором в «Золотую осень», небольшой магазин, находившийся когда-то на балансе завода. В перестройку Анатолий Иванович потихому приватизировал помещение магазина, теперь там торговали водкой, стиральным порошком, китайскими пуховиками и йогуртами, которые Наташа, как я потом узнал, называла «кефирчики».

Позвонил я ей через неделю после отъезда Гордана. Придумал какой-то дурацкий предлог, вроде как передать ей от него букет ландышей, пришел в магазин; потом пришел еще раз, перед закрытием, предложив выпить шампанского. Она согласилась и заперла дверь изнутри. Уже после третьей бутылки она оказалась у меня на коленях и обнимала за шею, пока я ее целовал.

Я плохо помню, как я стянул с нее голубой свитер, как гремел мой ремень, как упала с грохотом швабра, потревоженная нашими телодвижениями. Помню только,



что за вторым разом последовал третий, после которого мы сидели голые на вертящихся офисных стульях, курили и смеялись, уменьшая складские остатки продукции ростовского завода шампанских вин. Потом она резко засобиралась домой, но перед уходом достала из стола зеленую тетрадку.

— Фамилия у тебя какая, Леш? — спросила она. Я ответил, она почему-то засмеялась. — Уходи через черный ход, а то мой папаша даст тебе, Шапкин, по шапке... И вот еще что — эти шесть бутылок я записываю на тебя. Зарплату получишь — отдашь.

— Что-то задерживают последнее время зарплату, — прогундел я.

— А ты, если что надо, бери у меня под запись. Как выдадут — так внесешь, я тебе новый кредит открою, — она смотрела на меня, а я отводил глаза, почему-то боясь ее пронзительного взгляда, светлых волос, стянутых в хвостик простой резинкой, золотого кулончика, который еще десять минут назад, свисая с ее шеи, попалал мне на язык...

Так я понял, что влюбился.

В общагу ко мне она ни разу не приходила. Мы встречались тайно — в магазине после закрытия или у ее подруги с дурацким именем Влада, работавшей на заводе в финансовом отделе. Влада обычно заходила ко мне в лабораторию после обеда, бросала на стол ключи и убегала. Мои сослуживцы думали, что у нас с ней роман.

В голове моей не укладывалось, как Наташа могла крутить шашни с ловеласом Горданом... или почему вышла замуж за подонка и наркомана Котикова. Она не была развратной, но одним прикосновением приводила меня в такое состояние, в которое ни до, ни после нее не могли вогнать другие женщины. В постели она молчала, лишь по ее изменившемуся дыханию я догадывался о том, что у нее все хорошо, а когда удивлялся этому, она смеялась:

— По-твоему, я должна орать, как в немецкой порнухе?..

Порнуху мы смотрели у нее в магазине на залитом шампанским видеке; кассеты она прятала в недрах пуховиков. Возбуждение и мою реализованную страсть она запивала колой и заедала «кефирчиком»-йогуртом. И кока-колу, и «кефирчик» она записывала в зеленую тетрадь напротив моей фамилии.

Так продолжалось около года. Я уже передумал покидать Пылево и вынашивал в отношении Наташи matrimониальные планы. Мне подняли категорию, повысили зарплату, которую, впрочем, платили все хуже и хуже; я занимался мелкой торговлей, привозил на автобусе из областного центра жвачку и сникерсы, продавал их в «Золотой осени», жил в общежитии. Горданова комната пустовала, я занимал всю секцию, меня никто не мог прогнать из душа или заставить мыть пол — я был счастлив. И у меня была любовь.

Смурным ноябрьским утром в дверь постучалась Валентина Савельевна.

— Здравствуйте, Алексей, — она звала меня исключительно на «вы». — Я к вам на время соседа подселю, командировочного.

В то утро я умирал с похмелья. Накануне было выпито немного, но состояние было близким к коллапсу.

— Заводите, — ответил я и через секунду окончательно проснулся.

На пороге моей секции стоял Петька Григорьев.

Глава IV. ДРАКА

*«Он терзал свои пальцы, душу и мозг
Дни и ночи, но он иначе не мог.
И в итоге родил звук, в котором он выместил
Всю свою боль и любовь».*

Юрий Наумов

Сто рублей, которые он дал в долг Ленке Ковалевой у стойки московского аэровокзала, развернули судьбу сопливого ботаника Грини в неожиданную сторону. Он набрался наглости и позвонил Елене Леонидовне Цой через неделю после прилета. Она пригласила Петьку в офис только начинавшего развиваться «Синтеза», представила мужу и тогда еще живому Абрамову.



Муж и жена приняли Гриню как родного, напоили кофе с коньяком, а затем, поинтересовавшись будущей специальностью Григорьева, дали несколько ценных наставлений и предложили поработать на одной из заправок. Так у Петьки Григорьева появились более или менее нормальные деньги. Вчерашний заморыш после армии вырос на одиннадцать сантиметров, слегка раздался в плечах, начал по-человечески питаться и одеваться — и после пятого курса, наплевав на распределение, был принят на работу в головной офис. А через месяц после этого светлого события Антон Абрамов при помощи шелкового галстука «Труссарди» и кривой березы прервал свою жизнь во дворе тридцать шестой школы.

Придя после смерти друга в себя, Андрей Цой, став генеральным директором, через некоторое время преобразовал «Синтез» из товарищества в закрытое акционерное общество. Акционерами стали он сам, супруга Елена и некто Симонова Евдокия Никоновна, оказавшаяся матерью тещи одного высокого милицейского чина из области, успешно помогавшего «Синтезу» в трудных жизненных ситуациях начала девяностых.

Цой был хорошим руководителем, умел зажечь коллектив, но тяжелая работа сначала по удержанию на плаву пошатнувшегося со смертью Абрамова «Синтеза», а затем и по увеличению пресловутой капитализации компании доконали Андрея Иннокентьевича. Улыбчивый кореец превратился в нервного офисного монстра, похудевшего на добрый десяток килограммов и не перестававшего курить; авторитет и любовь персонала при этом переросли в панический страх...

Все это рассказывал мне вечером Петр Григорьев, начальник отдела АОЗТ «Синтез», когда похмелял меня французским коньяком в единственном на все Пылево приличном, по его мнению, баре. Похмелял, правда, без особого успеха. Башка трещала, коньяк вставал поперек горла, музыка раздражала. Раздражал и Гриня, который теперь стал джентльменом в белоснежной рубашке под темно-синим костюмом, в сияющих итальянских туфлях и в очках в позолоченной оправе — наверное, именно таких, про которые реклама на единственном местном радио говорила, что они «для тех, кто видит плохо, но зато зарабатывает хорошо». От школьной задроченности не осталось и следа, но я не мог заставить себя называть его по имени. Но Гриня к нему теперь тоже не подходило. Немного поразмыслив, я обратился к нему по-другому.

— Слышь, Гринго, — он усмехнулся и не возразил, — а чего тебя в эту дыру-то принесло?

— Мы хотим уголь грузить на местную ГРЭС. Они сейчас у казахов берут, но казахи им всякое говно сыпят, наш лучше.

— Так от вас его тащить-то сколько?..

— Две с половиной тысячи километров, но все показатели у нас... — тут он начал забивать мне голову всякими *летучими* и калориями, которые с легкостью переводил в рубли.

— Молодые люди, у нас сейчас начинается живая музыка, программа стоит пятьдесят тысяч рублей с человека, — холодно сообщила подошедшая официантка в кокошнике и синем платье, похожем на школьную форму. Петька кивнул, заказав еще коньяку.

Наташа вошла в бар в тот момент, когда бутылка подходила к концу. С ней была Влада. Девушки сели друг напротив друга — Наташа рядом со мной, Влада — с Грингой. Я сразу же положил руку на колено Наташи. Она сразу же ее убрала.

Петька заказал еще коньяка и шампанского. Я рассказывал анекдоты, пытаясь перекричать «ах какая женщина, мне б такую», Григорьев был галантен и подливал. Становилось весело.

После того как третья бутылка коньяка почти опустела, я попросил себе пива. Принесли граненую кружку с жидкостью, которая, упав на переполнявший меня коньяк, моментально перевела мой организм в режим «щас спою».

Я подошел к музыканту. Это был худошавый мужик в белой рубашке, толком не умевший ни петь, ни играть на гитаре. Волосы на его груди вылезали из расстегнутого ворота рубашки наружу, это было похоже на мохеровый шарф. Мы посоветова-



лись минуту, и он, объявив, что молодой человек хочет поприветствовать очаровательную Наташу, для которой и звучит эта песня, передал мне микрофон.

Я пел «очарована-околдована», пел, глупо синкопируя и выдавая не совсем уместный в данном случае скэт, то сваливаясь в армстронговский хрип, то доводя голос до пресняковского фальцета. Наташе, похоже, не нравилось, что я вынес свои чувства на публику, но меня было уже не остановить. Я был порядком пьян и пел «драгоценную мою женщину», уставившись на эту самую женщину, которая, недослушав меня, вдруг встала и вышла.

Песня кончилась.

— Как зовут тебя, парень, — спросил музыкант.

— Алексей.

— Хорошо поешь, Алексей... Посмотрим, как платить будешь. У нас песня стоит полтинник.

— Хорошо, будем рассчитываться за стол — оплачу, — сказал я.

— Не, братан, так дело не пойдет — у нас с кухней кассы разные.

Денег у меня не было. В эту секунду из дамской комнаты вернулась Наташа. Я в полной растерянности стоял подле лабуха, который держал меня за предплечье. Возникло желание врезать ему, но не хотелось устраивать драку при Наташе.

— Проблемы, уважаемый? — к лабуху подошел Петька. Из-за столика в углу кафе поднялся сумрачного вида быковатый охранник и тоже направился к нам. Положение становилось угрожающим.

— Твой кент платить не хочет, — громко, чтобы было слышно за самым дальним столом, крикнул музыкант.

— Цена вопроса? — Петька был хоть и пьян, но спокоен.

— Пятьдесят, я же сказал ему.

Не удостоив меня взглядом, Григорьев достал кошелек, отсчитал полтора десятка зеленых купюр и протянул волосатому.

— Все в порядке, Санек? — спросил охранник, обращаясь к музыканту.

— Все в порядке? — повторил уже Петька.

— Нормуль.

— Тогда дай-ка мне гитару, я ж тебе за три песни заплатил.

Лабух нехотя снял инструмент.

— Сейчас я тоже спою вам песню, которую посвящаю Наташе, с которой, надо вам сказать, познакомился только что, — Григорьев говорил в микрофон, примеряя тонкие пальцы к струнам корейского стратокастера.

Я уселся за наш столик. Вот уж не знал, что он умеет играть. Да он и не умел, как оказалось — он просто неловко выдал блатной аккорд и затянул неожиданно козлиным голосом:

— Наташа, Наташа, Наташа,

Я полюбил тебя, но кто же виноват...

Наташа, Наташа, Наташа,

С тобой остаться я сегодня буду рад!

— Простите мне мой экспромт, — сказал он, снимая гитару, и направился к столу.

Я сжал кулаки добела. Котикова хлопала и смеялась, называя Гриню новым Макаревичем. Влада тоже хохотала. Меня слегка отпустило, я сидел и ломал зубочки.

— Мы до двенадцати, молодые люди, — к нам снова подошла обладательница кокошника и пронзительного макияжа.

Петька попросил счет, расплатился за все, кинул покрашенной двадцать тысяч на чай, подал обеим девушкам их куртки, надел свое черное кашемировое пальто, открыл Владе и Наташе дверь, вышел на улицу вслед за ними и взял обеих под руки. Я шел следом, чувствуя себя побитым псом.

Неподалеку от кабака Гриня остановил такси и, усадив меня вперед, сам сел сзади, обняв обеих девушек за плечи. Наташа при этом смеялась.



Я пристегнул ремень.

— У меня родители в область уехали, Темку в цирк повезли... Может, продолжим у меня? — Наташин голос был каким-то чужим. — Петь, ты ведь еще споешь нам?

Она назвала адрес. Через пять минут мы были у двухэтажного дома. Я вышел из машины и поманил Наташу в сторону. Она нехотя отлипла от Грини, который обнимал ее за талию. Влада копалась в сумочке.

— Наташа, я не пойду... И не хочу, чтобы Гриня к тебе...

— Слышь, Шапкин, ты че, ревнуешь? Прекрати истерику! — Наташа рассмеялась. Пьяная она была еще красивей — с распущенными волосами на холодном ноябрьском ветру.

— Ты что, решил, что приватизировал меня? — ее голос вдруг стал металлическим. — Тогда ты дурак, Шапкин...

— Я люблю тебя, Наташа, но... не надо, пожалуйста! — я готов был встать на колени.

— Хочешь — иди. Не хочешь — не иди, — она не была жестока ко мне, она была равнодушна.

Наташа достала ключи и открыла подъезд.

— Ты че, Леха, уходишь? — бросил мне Гриня.

— Ухожу, — ответил я.

Троица скрылась в подъезде. Они смеялись. И она смеялась.

Домой я не пошел. Я смотрел на окна директорской хаты, которые зажглись через несколько секунд, ходил вокруг дома кругами и смотрел на этот свет. Я знал, что я скажу Грине, когда он выйдет. Я знал, что найду нужные слова, я знал это все то время, пока окна квартиры горели. Потом они начали гаснуть одно за другим, и я, надеясь, что сейчас Гриня выйдет из подъезда, встал под заливающей двор белым светом «коброй» и стал ждать.

Дверь не открылась ни через десять минут, ни через час. Я же просто стоял и ждал. Ждал, пока не рассвело.

Когда рассвело, открылась дверь, и вышел Гриня.

— Шапкин? Ты что, всю ночь тут простоял? — похмельный Гриня лишился некоторого лоска.

Я сделал шаг и посмотрел ему в глаза.

Он деланно улыбнулся и промямлил:

— Зря не пошел с нами, чудно время провели... Влада эта — просто огонь девка, чуть не порвала меня... А Наташка твоя — так себе, бревно бревном... но язычком работает, надо сказать...

Я ударил его в челюсть. Он отлетел, ударился затылком о дверь подъезда и упал.

— Ты че, Алеша, долбанулся? — промычал он откуда-то снизу.

Я ударил его ногой в голову, кажется, сломав ему нос. Он закрыл лицо руками и заскулил, а я еще раз ударил его ногой. Потом плюнул, сказал, что терпеть не могу, когда меня называют Алешей, развернулся и пошел на работу. Головная боль, терзавшая мой мозг с самого утра, немного утихла.

Вечером Валентина Савельевна шепотом рассказала мне, что на моего соседа по секции напали какие-то хулиганы, он теперь лежит со сломанным носом в комнате и никого видеть не хочет.

Я не знаю, что он соврал своему начальству. Он пролежал так больше недели, и сделка его сорвалась. Я не разговаривал с ним и с Наташей, которая почти каждый день приходила к нему, уже без Влады, никого не таясь и не стесняясь.

Я не видел Наташу, только слышал ее голос; я порвал ее фотографию и спустил в унитаз обрывки. Я пил каждый день, ревел белугой и грыз подушку. Поначалу мне хватало одной бутылки, чтобы заснуть и не слышать скрип кровати из-за тонкой межкомнатной перегородки. Но в тот вечер я понял, что мне понадобится вторая. Я бред, шатаюсь, по коридору, в этот момент на вахте зазвонил телефон. Валентина Савельевна, на ходу запахивая халат, вышла из своей комнаты и взяла трубку.

— Алексей, позовите, пожалуйста, Петра, тут его срочно спрашивают.



Я развернулся, молча постучал в дверь Григорьева.

— Там к телефону. Тебя, — я старался говорить ровным спокойным голосом. — Говорят, срочно.

Гриня вышел. Синяки на его роже уже почти прошли, он закрывал их очками. Наташины зимние сапоги стояли на пороге.

Гриня взял трубку, долго и молча слушал кого-то. Обходя его, я заметил, как он побледнел и задрожал.

Уже с лестницы я услышал кусок диалога.

— Что-то случилось, Петр, — спросила участливая горничная.

— Случилось, — ответил Григорьев. — Умер Цой.

Глава V. СМЕРТЬ

«Он ругался и пил, я за ним по пятам.

Только в самом конце разговора

Я обидел его, я сказал:

— Капитан,

Никогда ты не станешь майором!»

В. Высоцкий

Наутро я попросился в первый в своей жизни отпуск. Мой завлаб странным образом подписал мое заявление без разговоров, а бухгалтерия так же странно в течение десяти минут выписала и выдала отпускные. Весь следующий день я провел в вонючем автобусе, который вез меня в областной центр. Вечером того же дня меня ждал поезд домой.

Хоронить шефа Гриня ехал в соседнем вагоне — я понял это, когда перед самым отправлением вышел покурить в тамбур. Проводник захлопнул дверь, поезд тронулся, а я заметил на перроне продрогшую Наташу, которая, наверное, еще долго, как в кино, глядела вслед уходящему составу. Может, и не глядела, может, просто развернулась и, на ходу закуривая свой «голуаз», ушла в скользкий подземный переход навстречу суетливым пассажирам, курящим милиционерам, навязчивым торговкам, детям, собакам, вокзальному шуму и всегда подстерегающему ранней зимой забытому полуощущению праздника.

Я не смотрел больше в окно. Я смотрел на прикрученную к двери консервную банку-пепельницу, на болтающуюся из стороны в сторону пломбу стоп-крана, на выцарапанную гвоздем надпись «ДМБ-Питер-95» на коричневой влажной стене...

Гриня сразу же направился в вагон-ресторан. Когда я оказался на его пути, мы кивнули друг другу, но руки не подали.

— Пошли, — сказал он, — выпьем.

— Пошли, — ответил я, — только теперь моя очередь угощать.

Водка, произведенная не то в Кабардино-Балкарии, не то в Карачаево-Черкесии, доверия не вызывала, но другие варианты отсутствовали.

Начали не чокаясь. Конечно, я плохо знал покойного, да и саму Ковалеву не сразу вспомнил тогда, на аэровокзале. Однако корейца было почему-то смутно жаль... При всем при этом мне было странно нехорошо. Сначала я грешил на водку, но с Петькой все было нормально, он пьянел, расточал дифирамбы новопреставленному и рассказывал о последствиях своей поездки в Пылево.

— Елена меня... если не убьет, то уволит точно, — говорил он. — Дело в том, что я подписал договор со всеми, кроме директора. Главный технолог подписал, зам по сырью, коммерческий, юрист... все! А когда пришел к генералу, Рындин выдал мне, что не подпишет ничего, потому что, мля, уголь у нас хреновый. А он, кстати, лучший в бассейне, как раз для него!

Я слышал о Евгении Рындине много. Руководитель второго по величине предприятия в городе, электростанции федерального значения, был человеком влиятельным и в народе любимым. С Никулиным он находился в состоянии перманентной вражды, потому что электрохимический завод был должен ГРЭС какие-то неимоверные суммы. Рындин периодически отключал рубильник, за что Никулин называл его за глаза отморозком.



При этом пяти тысячный коллектив станции получал пусть и невысокую, но стабильную зарплату, а мы, работники завода, довольствовались всевозможными талонами и картотеками, живые деньги в кармане случались все реже и реже.

По словам Грини, один из рындинских замов говорил ему, что шеф-де не заинтересован в сибирском угле по очень простой причине, но о причине так и не сказал. В любом случае, вопрос, за которым Григорьев ездил в Пылево, не был решен не по причине разбитого Гринино лица.

Мы избегали разговоров о том случае и о Наташе. Мы просто пили водку, не говоря ни слова, тихо чокаясь и закусывая вялыми помидорами, и так до тех пор, пока не закрыли ресторан. На следующий день мы пришли туда снова. И снова пили до самого пункта назначения.

С вокзала мы разошлись по домам — я не видел родителей больше года, а Григорьеву утром предстоял нелегкий разговор с Еленой Цой.

Петьку я встретил через неделю на улице. Синяки под глазами уже окончательно сошли. Гриня кивнул мне и на мой вопрос про дела ответил, что собирается опять ехать в Пылево, что Елена тоже поедет туда, но чуть позже, после девяти дней, что она убивается по мужу, даже в кабинете его не сидит, принимая посетителей в переговорной.

Когда я возвратился из отпуска, они уже укатили обратно. Уехала Елена Леонидовна — и увезла с собой так и не подписанный Рындиным договор. Уехал Петр Григорьев. Уехала Наташа, оставив сына с родителями...

Прошло еще около года. Народ с завода бежал, но мне бежать было некуда. Бизнес по торговле сникерсами в магазине «Золотая осень» заглох, денег не было, любимая женщина уехала, а других мне не хотелось.

Однажды ко мне пришла Влада. Под утро, натягивая колготки, она потрепала меня по щеке и сказала: «Если тебе будет когда-нибудь очень хреново, звони, я приду и утешу... Тебе ведь понравилось?»

Как это обычно бывает, первыми с тонущего корабля-завода уходили самые лучшие, самые востребованные на стороне. На освободившиеся кресла генеральному руководству приходилось ставить кого попало. Одним из таких «попавших» оказался я. И по окончании второго года работы из простого инженера получился заведующий лабораторией. Зарплата немного выросла, но ее все равно не платили.

В один из дней генеральный директор попросил меня зайти к нему по окончании рабочего дня. Он начал без обиняков.

— Я все знаю. И про тебя, и про Наташку, и про то, как ты Петра отмудохал, — говорил он, и каждое слово вколачивалось мне в мозг. — Все знаю. Работа у меня такая — все знать. С тобой — понятно. А что касается Наташки... я давал ей право на ошибку. Один раз. Больше не дам.

Он говорил очень тихо и смотрел на меня в упор. Я выдержал этот взгляд. Он отвел глаза первым.

— Ну что ж... — он резко перевел разговор на другую тему. — На тебя, парень, у меня особые виды.

Я пока ничего не понимал.

— Я наблюдаю за тобой два года. Ты ведь два года уже здесь? — он прищурился, морщины на его лице сложились в странную гримасу. — Ты, будем говорить, подходишь... Мне молодой и преданный человек нужен. Я тут буду создавать новый отдел. Поставлю тебя туда. Зарплата будет в три... нет, в пять раз больше, чем у тебя сейчас. Получать будешь регулярно, из особой кассы.

Как оказалось, Никулин планировал создать в заводоуправлении отдел ценных бумаг, в которых я ничего не понимал. Чтобы стал понимать, он собирался отправить меня на двухмесячные курсы в область.

— Анатолий Иванович, а не проще ли вам специалиста пригласить? — я был воплощением неуверенности к себе.

— Сам станешь специалистом. Мне чужие специалисты не нужны, они только воровать умеют и информацию врагам сливать. Еще раз говорю, я проверил тебя — подходишь. Согласен? Только смотри у меня, предашь — раздавлю, понял?!



Выбора он мне не оставил. Я согласился. Он тут же вызвал секретаря Ирину, сказал ей волшебное слово «коньяк», усадил за стол, сам разлил по рюмкам. Мне почему-то вдруг стало его жаль. Он выглядел куда старше своих лет, его бледное и изрытое морщинами благородное лицо ничего не выражало. Мы выпили, он продиктовал Ирине приказы о моем назначении и о командировке на курсы, выпроводил ее и налил до краев обе хрустальных рюмки. Потом еще и еще... Казалось, он не пьянел. Я пытался держаться, но почувствовал, что меня уже развезло.

Говорил только он, я молчал или поддакивал. Он рассказал о том, как в двадцать лет пришел на электрохимический, как через год уже был начальником участка, как получал заочное высшее, как познакомился на сессии с симпатичной студенткой Машей, как поженились они с Марьей Петровной, как та долго не могла забеременеть, как родилась дочь...

— Я этот город построил, я! Общежитие, в котором ты живешь, я построил... восьмой микрорайон — я, западный квартал, южный поселок — тоже я. А этот... этот сучонок, он меня банкротить собрался. Меня! Банкротить! Да я его... ничего ему не достанется, ни копейки, пусть сдохнет на своей станции, я этой мрази все пути перекрою!

Он все-таки захмелел. Его глаза покраснели, но лицо оставалось бледным, как и всегда.

Отпустил он меня где-то через час. Его водитель, верный пес Юра, погрузил пьяного шефа в «Волгу» и уехал домой. А утром следующего дня я на два месяца покинул город.

Учеба немного отвлекала меня от мыслей о Наташе. Но стоило мне представить ее в чужих объятиях, я ненадолго сходил с ума, спасал только алкоголь. Через два месяца, получив сертификат специалиста по ценным бумагам, я возвратился в Пылево.

О том, что директора Пылевской ГРЭС Евгения Рындина и его жену убили в подъезде их дома, единственной на все Пылево девятиэтажки, я узнал от Ирины, когда пришел забирать отписанные мне шефом бумаги. Убийца встретил отправлявшегося на работу энергетика между третьим и четвертым этажом. Лифт в этот день в доме почему-то не работал, и Рындины спускались пешком. Водитель Рындина в этот день опоздал на пять минут и, предвкушая хозяйский гнев, не обратил внимания на неприметного мужичка, с которым столкнулся в дверях подъезда. Мужичок тот чертыхнулся и быстрым шагом побежал к автобусной остановке. А водитель, потыкав пальцем в безжизненную кнопку лифта, стал подниматься по лестнице, наткнувшись на тела босса и его супруги.

Говорят, что водитель собирался жениться. Вечером его невесте позвонили домой, мужской голос сказал: «Твой дурак — следующий», — после чего водитель пропал из города.

Приехавшего из областного центра следователя Петрова поселили в тот же «Дом молодого специалиста», в бывшую комнату Гордана и Грини. Мы познакомились с ним, выпили, и на следующее же утро он пригласил меня на допрос.

Петров расспрашивал меня об отношениях завода и станции. На следующий день его зачем-то переселили в другую комнату, а Валентина Савельевна написала заявление об уходе. Она плакала, прощаясь со мной, а вечером мы опять выпивали с Петровым, и Петров много говорил о своей работе, о том, что на его памяти было только одно раскрытое заказное убийство, да и то — где-то в Сибири. Узнав же, что я сибиряк, он рассказал мне историю о руководителе крупной коммерческой структуры из наших краев.

— Представляешь, — рассказывал мне Петров, — мужик в расцвете сил умер. Сорока не было. Не то от чего-то онкологического, не то от сердечно-сосудистого. В общем, похоронили дядьку, офис продали на торгах, другая контора в этот офис заехала. Решили они капитально отремонтировать помещение — и, сняв паркет в кабинете директора, обнаружили прямо под тем самым местом, где стояло его кресло, ртуть. Немного, но достаточно, чтобы умертвить человека.

— А что за мужик-то? — спросил я, будто бы зная наизусть всех своих земляков-бизнесменов.



— Да не помню... в сводке фамилию читал, — ответил Петров. — Ким, кажется... или не Ким... Узкоглазый, это точно.

Главным кандидатом на роль заказчика в деле об убийстве Рындина был Анатолий Иванович. Никулин ходил мрачнее тучи, но я почти не видел его, поскольку наводил порядок в реестре акционеров завода и возился с регистрационными данными миноритариев.

Петров пробыл в городе полтора месяца, после чего убыл восвояси. О том, кто и за что убил Рындина и его жену, в городе так и не узнали.

Через месяц после отъезда следователя в его комнате вновь поселился Петька Григорьев. Он приехал вместе с Еленой, которая жила в загородном доме отдыха. Еще через три дня в городе появилась Наташа. Следующим же утром все они уехали. Наташа забрала сына Артема, а Гриня с Еленой — подписанный новым директором ГРЭС договор на поставку угля.

Глава VI. РЕЕСТР

*«Я жаждал поскорее плюхнуться в свое кресло
со стаканчиком виски в руках
и уже больше не отрывать взгляда
от попки моей Бетти».*

Какой-то писатель

Яков Брониславович Стулов отдаленно напоминал олигарха Березовского. Может быть, манерой быстро и не всегда внятно говорить, бегающими глазками... или, может, обязательной белой рубашкой без галстука. Почти перед самым моим приходом на завод ему удалось выкупить оставшийся в собственности государства 25-процентный пакет акций ПЭХЗ. Деньги он выложил невеликие, поэтому, когда через год Яша понял, что с покупкой поторопился, он не сильно расстроился, протавив через совет директоров решение о демонтаже нескольких нерабочих цехов, побыв оборудованное на металлолом и отбив таким образом потраченное.

Завод, некогда бывший флагманом отечественной оборонки, постепенно превращался в самую настоящую фабрику по производству лома. Из почти десяти тысяч работавших в штате осталось лишь полторы. Почти все производство встало.

Еще около четверти акций завода принадлежало некоему обществу с ограниченной ответственностью, учредительные документы которого были оформлены на Наталью Анатольевну Котикову. Оставшаяся половина акций была размыта между бывшими рабочими. Продать акции никто и не пытался, поскольку отсутствовали желающие купить.

В этом время Гриня, Петр Григорьев, купил в Пылево квартиру в доме-шедевре сталинской архитектуры, с колоннами, четырехметровыми потолками, фонтаном во дворе и старинными засеченными лифтовыми шахтами. До середины девяностых тут жила городская элита — глава города, директора предприятий, начальники УВД и ФСБ и их многочисленные замы, давно отсюда свалившие или переехавшие в двухэтажные особняки на берегу озера.

Петька в доме не появился до самого окончания ремонта. Зато в город приехала Елена Леонидовна. Я встретил ее у кабинета генерального директора сразу после новогодних каникул. Только что произошло рублевое обрезание 1998 года, но денег у большинства пылевцев больше не стало, хоть с нулями, хоть без нулей.

Она пробыла у Никулина недолго, вышла оттуда одна, хлопнула дверью приемной и устремилась вниз. Я буквально столкнулся с ней.

— Ты, Шапкин, здесь трудишься, что ли? — ее насмешливая интонация осталась прежней.

— Да, — ответил я, — начальником отдела ценных бумаг...

— Какие тут у вас могут быть ценные бумаги... Держи мою визитку, вечером звякни, поболтаем о прошлом. Наших-то видишь кого?

— Григорьева Петьку видел... — начал было я, но она перебила:

— Ладно, мне некогда, увидимся!



Вечером я набирал номер ее сотового телефона с некоторой опаской, но она была приветлива, назвала адрес, где будет ждать меня. Через полчаса я стоял у единственного на весь город парадного подъезда, около которого на стене красовалась чугунная доска, гласившая, что улица названа в честь большевика Пантелея Култырина, «погибшего в пылевских лесах в 1918 году за установление на Урале советской власти».

Дверь мне открыла домработница. Она сообщила, что Елена Леонидовна занята, показала, где ее можно подождать, и, попрощавшись, ушла.

— Шапкин, это ты там пришел? — голос из соседней комнаты звучал прерывисто. — Возьми себе пива в холодильнике и заходи сюда.

Я открыл банку «туборга» и вошел в комнату, где был оборудован мини-спортзал. Лена сидела на велосипедном тренажере.

— Ладно, хватит спорта на сегодня, — она соскочила с сиденья. — Пей пока, я в душ.

Одна из комнат была объединена с кухней, другая представляла собой пустой спортзал, двери в спальню оказались закрыты. Я уселся на диван и включил огромную, в полстены, плазму. Шла передача про английский футбол. Английские футболисты с неестественно широкими лицами гоняли по полю не очень то круглый мяч.

Из ванной Елена вышла в роскошном халате, уселась напротив, сложив ноги под себя, и предложила выпить виски. Я налил себе и ей, попросил льда, но она сообщила мне, что лед оскорбляет благородный напиток. Перешли на производственные темы, она спрашивала о работе, о том, чем живет предприятие. Я отвечал без удовольствия — хвалиться было нечем.

— Платят-то много тебе?... Пятьсот долларов? — она хмыкнула. — Не густо... А кому принадлежит заводик-то ваш?

— Половина у коллектива, четверть у Стулова, еще четверть на Наталью записана.

— Яшка, что ли, Стулов? — она заулыбалась.

Я кивнул, она потянулась к телефону, встала и, проходя мимо меня, как бы случайно коснулась меня плечом. Через несколько секунд, сорвав друг с друга одежду, мы уже лежали на диване...

Прошло много времени, прежде чем мы, наскоро одевшись, продолжили пить виски, обнявшись. Что-то твердое мешало мне в кармане ее халата. Достав из кармана камешек, я повертел его в руке — серо-коричневый кусочек с белыми прожилками, ничего особенного.

Лена смотрела на меня с улыбкой.

— Ты знаешь, что это такое, Шапкин? — спросила она.

Я покачал головой.

— Это уран, Шапкин, самый обыкновенный уран.

Глава VII. ИЗМЕНА

*«Я думаю, ты не считал себя богом,
Ты просто хотел наверх,
Резонно решив, что там теплей, чем внизу».*

Б. Гребенщиков

Новый первый заместитель Никулина Талгат Юртаев вызвал меня к себе через три дня после вступления в должность. На заводе Юртаева не любили, поскольку в кресло зама он пересел из кресла начальника первого отдела.

— С какой целью вы, молодой человек, в прошлом месяце дважды встречались с гражданкой Цой Еленой Леонидовной?

Я сидел в расслабленной позе и, как он ни старался, не чувствовал себя на допросе.

— Мы с ней учились в институте, она дружила с моим соседом по комнате в общежитии.

— Фамилия соседа?... Номер комнаты?... Все пробью, так и знай!



Я сказал.

— Пока ты свободен. Но если я узнаю, что через тебя к этой крысе идет утка, я лично, слышишь, лично твою голову на стол к Никулину принесу и положу! Понял меня?! Обо всех изменениях в реестре акционеров будешь докладывать мне лично. Лично! Понял?..

Я кивнул, покинул его прокуренный кабинет и отправился в заводскую столовую, в малый зал для начальства. Обеденное время подходило к концу. Зал был пуст. Я с неудовольствием заметил, что все сырники уже съели. Взял рассольник, котлету с пюре и компот — и вдруг неожиданно для себя рассмеялся, подумав, о каких же это, интересно, изменениях в реестре я должен докладывать заму, если каждая собака в городе знает, что за объявлением в газете «Дорого купим акции ПЭХЗ» скрывается юртаевская карманная фирма... Знал бы он, что те пять процентов, которые он смог прикупить, ему уже не помогут, поскольку «Синтез» через несколько подставных фирм и физических лиц уже скупил около сорока, а акции Яши Стулова переданы в доверительное управление Елене Цой.

О том, что Лена попросит меня передать ей данные о миноритарных акционерах, я догадался еще в тот день, когда пришел к ней в гости. Что она предложит мне за это деньги, я тоже предполагал, не мог только подумать, что все закончится постелью. На следующий день я снабдил ее необходимой информацией, получил на руки сумму, эквивалентную моей двухгодичной зарплате, и отправился в спальню, откуда она выпустила меня уже под утро.

Потом мы сидели с ней на диване, она вертела в руках кусочек урановой руды и говорила о том, что собирается восстановить производство, о перспективах, рабочих местах, регулярной зарплате и о грядущем расцвете Пылева.

Я слушал и не очень-то верил.

— Лен, зачем тебе все это? Ты что, на угле мало поднимаешь? Завод — это же такая морока!

— Эх, Лех-Леха, — пропела она, — без мозгов так плохо... Во-первых, вся торговля скоро умрет, все будет централизовано и по спискам. Если у меня не будет своего производства, я стану никем.

— А зачем, Лен? Тебе денег мало? Выглядишь ты отлично, детей у тебя нет... найди себе мужика нормального, да и живи себе спокойно, ты ведь уже богатая...

— Я, мой хороший, не хочу быть *богатой*, — она вздохнула, — я хочу быть *очень богатой*. Только в этом случае я буду свободной. Мужики, дети — все это еще будет. А сейчас мне нужен этот завод. И ты мне в этом поможешь... Только будь аккуратен, не проколился перед начальством, — она встала и подошла к окну. Светало. — До собрания акционеров я тебе особо помочь не смогу, так что держись.

На свой страх и риск я решил сдавать руководству липовые отчеты об изменениях в реестре, понимая, что скоро у завода появится новый директор.

Собрание акционеров состоялось в первое воскресенье мая в заводском Дворце культуры, напминавшем миниатюрный Большой театр. Через два часа все было кончено. Новый совет директоров, новый директор, никому не знакомый лысый сутулый дядька в коричневом костюме, под который он в майскую жару зачем-то надел пуловер.

Мы с Леной из ее «лексуса» наблюдали, как из Дворца культуры вышел Никулин, теперь уже бывший директор. Лицо его было серого цвета. Мне было жаль старика, но я внутренне торжествовал: хотя бы так, через отца, я отомстил Наташе, променявшей меня на Гриню. Я ненавидел ее. Ненавидел за то, что она снилась мне каждую ночь, за то, что была далеко, что жила счастливо и без меня.

В машине я зачем-то я спросил у Лены, почему Гриня ушел из «Синтеза» и где он сейчас.

— Нормально он ушел, без скандала... Его пригласили в одну московскую контору директором филиала — растет парень. И никулинская дочка с ним... она ведь тоже у меня работала, — Лена смотрела куда-то сквозь боковое стекло и водила по нему пальцем. — Я придумала должность для нее. Работница она так себе, но девка вменяемая. У тебя что-то было с ней, я правильно понимаю?..



— Да. Было, Елена Леонидовна... — Я неожиданно понял, что с сегодняшнего дня она стала моим боссом, а не просто Леной. — Не видел сколько... и еще бы столько не видеть.

В этом мае я увидел Наташу дважды. Первый раз — на похоронах отца, второй раз — матери. Марья Петровна пережила мужа на две недели. Тот приехал с собрания акционеров на рейсовом автобусе, попросил у жены рюмку водки, выпил за кухонным столом, закусил огурцом, включил маленький телевизор — и выронил пульт: остановилось сердце.

Глава VIII. ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК

*«А я твои целую руки,
Но понимаю, что мы врозь:
Лекарство ты мое от скуки,
Я для тебя незваный гость».*

Челобанов

На похороны Никулина Лена пришла в прямой черной юбке, черной водолазке под горло и в темных очках с золотыми латинскими буквами на переносице. Я стоял поодаль и молча наблюдал за ней, за ревавшей без остановки Наташей, за врачами скорой помощи, которые сразу после начала гражданской панихиды увели невменяемую Марью Петровну, и за сотнями людей, собравшихся в холле Дворца культуры завода. Я стоял у колонны, молча смотрел на двух женщин, каждая из которых по-своему изменила мою жизнь, и понимал, что ни без той, ни без другой мне теперь не жить.

Мучила ли меня совесть? Не знаю, но убийцей Анатолия Ивановича я себя точно не считал.

На похоронах Марьи Петровны, через две недели, народа было куда меньше. Наташа почему-то совсем не плакала. Было похоже, что она привыкла к состоянию бесконечного горя. Петька-Гриня тоже был, но на следующий день уехал. Наташа осталась, ей предстояло разобраться с обширным наследством отца и его наследием.

В промежутке между двумя смертями произошло то, чего я не мог ожидать даже во сне: Лена назначила меня заместителем генерального директора по общим вопросам и усадила в освободившийся кабинет Юртаева. Я долго проветривал комнату, даже прикупил новые стаканы взамен старых, почерневших от ужасного чая, который прежний хозяин потреблял в товарных количествах. У меня появился секретарь, милая седая женщина, которую звали Светлана Семеновна, точно так же, как и мою школьную учительницу литературы.

Прежний хозяин кабинета посетил меня через три дня. В подобострастном полупоклоне он приблизился ко мне, сжал руку потной ладонью и, заглядывая в глаза, спросил, удобно ли мне в новом кабинете.

Цель прихода его была ясна — ему очень хотелось показаться лояльным нынешней власти.

— Не могли бы вы, Алексей Павлович, посодействовать, чтобы предприятие выкупило мою долю акций по сходной цене? У меня солидный пакет — почти пять процентов...

После этого Юртаев решил вывалить на меня немного *конфиденциальчика*, как назвал он свои сведения.

— Вы понимаете, Алексей Павлович, дело в том, что покойный, хоть и не слишком хорошо так говорить, вел дела с... — тут он назвал имя лидера гремевшей в то время на весь Урал криминальной группировки. — Насколько я знаю, у Анатолия Ивановича остались перед этими ребятами кое-какие обязательства и долги. Вы понимаете, чем это может обернуться?..

Я пообещал доложить Елене Леонидовне, намекнув на свою теперешнюю занятость, и выпроводил гостя из кабинета.



Вечером я передал Лене содержимое нашего разговора.

— Акции я у этой мрази выкуплю, так и быть, — Елена сидела на кухне, завернувшись в мокрую простыню — стояла жара. — А что касается информации по Никулину, так я знала о бандитах и до покупки акций. Не уперся бы, когда предлагала ему разойтись по-хорошему, был бы жив, дурак. Что сейчас делать с его сумасшедшей дочкой — даже не знаю...

В этот момент я вдруг я понял, что все те тонны злости, методично накапливавшиеся во мне после расставания с Наташкой, куда-то испарились.

— Лешка, я к пониманию одной важной идеи пришла сама, — Елена затянулась и посмотрела на меня сквозь дым, — и хочу, чтобы ты ее тоже понял: ни в коем случае нельзя слушать стукачей. Стукач никогда не бывает верным, он первым предаст.

Разница в возрасте в четыре года вдруг показалась мне гигантской. Лена говорила со мной... будто учитель с учеником. Мне в ответ оставалось только кивать.

На следующий день она предложила мне переехать к ней, и я не стал отказываться. Любил ли я ее?... Скорее нет, чем да. Но мне было хорошо с ней. Она постоянно вытягивала меня на долгие разговоры по душам, пока я не рассказал ей в мельчайших подробностях обо всем, что связывало меня и Наташу. Она смаковала эти подробности, просила меня повторять снова и снова, как мы делали это на куче китайских пуховиков и в квартире Влады; что я ощущал, нарезая круги вокруг никулинского дома; как избивал Петьку...

Тем временем на станцию Пылево прибыл первый состав с урановой рудой. Цеха по производству топлива для атомных электростанций заработали впервые за много лет. Руководство завода ходило радостным. Виктор Тимофеевич, новый директор, распрямив свой полувековой сколиоз, с энтузиазмом пожимал всем руки. Референт Лены Григорий Маркуша, высокий, худой, с заячьей губой, едва прикрытой усами, улыбался кривоzubой улыбкой и, казалось, выплясывал. Пылевский электрохимический начинал новую жизнь.

После скромного фуршета в заводоуправлении Лена утащила меня домой, где нас ждала полуторалитровая бутылка Моет, водка и кокаин. Я никогда раньше не пробовал наркотиков, не стал и тогда, запивая водку шампанским, и вскоре сделался ужасно пьяным. Меня шатало, а бодрая и веселая Лена смотрела на меня изменившимися глазами.

— Слушай, я хочу Петьку вернуть. Есть идея предложить ему одну интересную должность... — вдруг призналась она. — Но он, гад такой, не соглашается. Почему — не могу понять... То ли Наташка эта ваша ему мозг пудрит, то ли что...

Я окончательно перестал контролировать себя, расплакался и рассказал ей о том, что люблю Наташу — не проходит и дня, чтобы я не думал о ней.

— А когда мы вместе — ты тоже о ней думаешь?

— Иногда... но чаще, когда засыпаю.

— Ладно, солнце, не парься, ее ты вряд ли вернешь... Подожди годик — и ты вдруг сделаешь открытие, что неделя прошла, а ты о ней так ни разу и не вспомнил.

— Я не хочу! — я был уже за гранью истерики. — Я не хочу забывать ее, понимаешь, я люблю ее, Лена... Можешь выгнать меня прямо сейчас, уволить к чертовой матери, мне ничего не нужно — ни деньги, ни... — я замолчал, потому что чуть было не сказал: «... ни ты».

Она слизнула остатки белого порошка с зеркала, подошла ко мне сзади, обняла и поцеловала в затылок.

— Не ной. Люби ее, я не запрещаю. Но сейчас ты со мной. Будь ласков, избавь меня от таких концертов. Прошу первый и последний раз...

А утром мы в сопровождении двух охранников сели в разные машины и отправились на завод. Она вновь стала боссом, который мог после ночи отправить меня в срочную командировку куда-нибудь в Казахстан, и я собирался и ехал. Я не знал тогда, что на время командировок мое место в ее постели занимал другой человек.

«Мне неизвестны твои пароли...»

Катя Чехова

Квартиру Лены я начал называть *домом* примерно через полгода. Прозрачные голубоватые шторы придавали помещению особенный оттенок, я привык и полюбил это жилище, а оно, казалось, полюбило меня. Моим единственным врагом оставался массивный журнальный столик зеленого камня, стоявший у дивана. Из-за него обе мои голени были в синяках, я ударялся о столик пьяный и трезвый, и если вдруг на всю квартиру раздавался мой истошный матерный вопль, это могло означать лишь одно: я снова запнулся. Лена приходила ко мне, корчащемуся на диване, успокаивала — и я переставал приписывать зеленому столику повадки неодушевленного монстра, на какое-то время прекращая просить ее выкинуть это чудо дизайнера, отобранное в свое время Петькой Григорьевым со свойственным ему провинциальным безвкусием в самом дорогом мебельном магазине областного центра.

За зеленым столом они и сидели в тот вечер, когда я вернулся из очередной московской командировки. Я устал, мне хотелось побыстрее доложить Лене о том, что пакет с документами, о содержании которых мне до сих пор страшно вспоминать, доставлен и передан угрюмому безликому типу, приехавшему на встречу со мной к памятнику Ленину на Октябрьской площади. Встреча эта длилась несколько секунд и напоминала шпионский фильм. Человек подошел ко мне и спросил, мой ли это номер телефона, назвав его. «Нет, — ответил я, — мой номер...» — и я назвал другие десять цифр, которые заучил наизусть. Он подождал, я открыл кейс, достал пакет, передал и пошел к метро. Вечером того же дня я был уже дома.

Я открыл дверь своим ключом. Дома были гости. Директор завода Виктор Тимофеевич, сложившийся втрое, и референт Маркуша сидели на диване. В одном из кресел — одетая по-домашнему Елена, а в другом — Петр Григорьев: темно-синий костюм, сиреневая сорочка, золотые очки, усталый серьезный взгляд.

Я сдержанно поздоровался.

— Алексей Палыч, у меня тут яблоки кончились... и еще кое-что... Ты не сходишь в магазин?.. погоди, я тебе список напишу...

Лена явно не хотела, чтобы я узнал, о чем они говорили.

Я мог предположить, что речь шла о продаже скопившихся на сто семьдесят седьмом складе отходов основного производства. О том, что на этом складе под видом отходов хранится неучтенный оружейный уран, на заводе знали всего несколько человек. И трое из них сидели сейчас в квартире Елены Цой. Знал и я, но свою осведомленность не афишировал. Может быть, именно поэтому Лена и попросила меня уйти.

По маленькому пылевскому супермаркету я ходил минут сорок. Вернувшись домой, застал почти тот же состав, уже без Петра, откупоренную бутылку коньяка, слегка расслабившегося Тимофеича и пьяненького Маркушу.

— Елена Леонидовна, — промычал Григорий, — а почему вы были уверены, что он согласится?

— Черт его знает, Гриша... — она закурила. — Мне казалось, от таких предложений не отказываются...

— Я сразу сказал тебе, — подал голос Тимофеич, — гнилой он человек. А если он теперь все расскажет?..

— Не расскажет, не тот человек.

— Почему ты так уверена в нем? — Тимофеич не унимался. — Он же все под угрозу поставить может! Может, стоит должным образом отреагировать?..

Лена, казалось, была в некоторой растерянности. Я вдруг вспомнил ее, такую же растерянную, но при этом не растерявшую внутренней силы, тогда, много лет назад, в московском аэровокзале. И сто рублей, переданные Петькой незнакомой женщине...

— Отставить! — почему-то по военному сказала она. — До моей команды ничего не предпринимать. Всем ясно?





Я все это время стоял за креслом, в котором некоторое время назад сидел Петя-ка. Теперь я сел и молча налил себе коньяк.

— Я бы сама пошла туда, но нет времени заниматься этим... — Она вдруг лукаво посмотрела на меня. Я понял, что она уже пьяная. — Лешка, а может, тебя... того... в губернаторы, а?.. Парень ты молодой, перспективный... Ладно, не будем пока об этом, к черту политику, сначала о деле. То, что ты передал, заказчику понравилось. Послезавтра придет его человек. Григорий, надо подготовить передачу первых пятидесяти килограммов. Понятно?

Григорий кивнул. Тимофеич достал записную книжку. Елена осадил его.

— Сколько раз тебе говорить, Тимофеич, никаких записей по этой теме! — казалось, она моментально протрезвела. — Ты сам ратуешь за секретность, а теперь представь, что будет, если твоя книжечка попадет кому надо? Вернее, кому не надо... Книжку отдашь мне.

Тимофеич покорно положил органайзер на стол.

— Алексей, посмотри-ка, что он там пишет... — Елена явно начала издеваться над Тимофеичем, который еще больше ссутулился и побледнел. Я открыл на случайной странице:

— 235... 12... 177... пн... Потом еще, на следующей странице — 238, 62, 177... вт....

— Дебил ты... понял, старый дурак?! — Лена не кричала, она каждым словом впечатывала директора в диван. — Я временно отстраняю тебя. — На Тимофеича было страшно смотреть. — Исполняющим обязанности будет... Шапкин Алексей Павлович. А с тобой я завтра разберусь. Вон пошел!

Такой Лену я еще не видел. Тимофеич сжался, Маркуша слегка, но очень заметно отодвинулся от него.

— Хотя нет... завтра я с тобой разбираться не стану. Сам в себе разбирайся. Видеть тебя больше не хочу. Пошел отсюда, проваливай! — это было произнесено так, что, директор, казалось, сейчас очокурится прямо у меня на глазах.

Тимофеич встал и, путаясь в рукавах, стал надевать пальто.

— Алексей. Закрой дверь за этим говном... Гриша, наберешь Ефима. Все понял? — Маркуша пожевал усы на своей заячьей губе и кивнул.

Органайзер лежал на зеленом столе, открытый на сегодняшнем числе. Я смотрел в него, пытаюсь запомнить десять цифр после семерки с плюсом. Десять цифр, над которыми нетвердой рукой Виктора Тимофеевича было написано: «+12». И еще два слова: «Наталья Котикова».

Глава X. НАЕЗД

*«Я так решил, и это я исполню,
Всю жизнь отдам за Родину свою».*

Олег Кошевой

«Абонент не отвечает или временно недоступен». Я неделю слушал эту фразу по десять раз в день. Органайзер Тимофеича исчез. Сам Тимофеич — тоже. После тех самых посиделок на работе он не появился, на заводе было объявлено, что на период его «болезни» полномочия генерального директора передаются мне. С этого дня моя жизнь с Леной превратилась в круглосуточное производственное совещание. Мы выматывались настолько, что ни о каких ночных развлечениях речи и быть не могло. Едва добравшись до постели, я засыпал, в то время как Лена, *взбадривая* себя различными способами, еще звонила кому-то, договаривалась о чем-то, выезжая на ночные встречи в сопровождении чуть ли ни целого взвода охраны.

Я понимал, что происходит, и мне все чаще казалось, что это не только не кончится добром, а вообще очень скоро кончится. Все чаще и чаще я думал, как мне порвать с Еленой, с заводом, со всей этой секретностью, скрыться от всего так, чтобы никто не нашел меня. Как, видимо, скрылась Наташа, чей телефон я обнаружил случайно в записной книжке пропавшего Тимофеича.



Был апрель девяносто девятого года. Гриня появился на пороге моего кабинета, каким-то чудесным образом миновав охрану и секретаря. Я посмотрел на него и тихо поздоровался. У меня болела голова, потому его силуэт казался слегка размытым, в глазах двоилось.

— Привет, Алексей, — он протянул руку. — Я к тебе. За помощью.

— А чего к Лене не обратишься?

— После того как я отказался... — Гриня вдруг замялся. — Я к тебе... потому что тут проблема в Наташе.

— Что с Наташей? Я звоню ей, но не могу дозвониться.

— Сорок девять в конце? — он даже не спросил, откуда я узнал ее номер.

— Нет, тридцать семь.

— Надо — сорок девять.

— И что?

— Позвони, только последние цифры поменяй.

До меня дошел смысл глупейшей шифровки Тимофеича. Я криво улыбнулся и после пары гудков услышал ее усталое равнодушное приветствие.

— Привет, Наташа. Это Шапкин.

— Да...

— У меня сейчас твой... — я не совсем понимал, каким титулом наградить Гриню. Я знал, что фамилию она не сменила, но она могла выйти замуж и при этом оставить себе фамилию наркомана Котикова.

— Я знаю, — Наташа была лаконична до односложности.

— Он просит тебе помочь, но не говорит, чем именно.

— Нужны деньги.

— Сколько?

Она назвала сумму отцовского долга.

— Еще есть проценты. Это отдельно.

— Наташа, я не распоряжаюсь такими средствами, это к Елене Леонидовне.

— Поговори.

— Ты где находишься сейчас? Я бы хотел встретиться с тобой...

— Нет. Захочешь помочь — сможешь. Не захочешь — не сможешь, — она повторила свою любимую конструкцию, которая уже однажды вывела меня из себя.

— Наташа... — начал было я, но она уже положила трубку.

Я посмотрел на Гриню.

— Петя, — я впервые со школы назвал его по имени, — я не смогу ничего сделать, но ведь можно же обратиться в какие-либо органы, они наверняка могут помочь. Тебе дать телефон начальника областного УВД? Хочешь, я его наберу? Съездишь, поговоришь...

— Ты что, Шапкин, дурак? У ментов вы все давно уже в разработке — и ты, и Елена, и все-все-все... И не только у ментов. Тут и прокуратура, и таможня, и комитет... Ты думаешь, ваши фокусы с контрабасом вам с рук сойдут? Дураком ты был, дураком и подохнешь... причем, судя по всему, очень скоро.

Он встал и, не прощаясь, ушел.

Моих полномочий действительно не хватало, я не знал, как подойти к Лене даже с намеком на Наташин вопрос. Я сидел, машинально разбирая бумаги, как вдруг дверь моего кабинета распахнулась. Лена пришла сама.

— До начала рабочего дня минут пятнадцать, — сказала она, — я хотела с тобой обсудить кое-что. Через месяц собрание. Тебя утвердим директором. Семьдесят тысяч устроит тебя, надеюсь?

— Так у меня и сейчас примерно столько же, Елена Леонидовна, — честно говоря, я даже не знал, обижаться или нет.

— Столько же, — она кивнула и прикурила, — только в год. А будет — в месяц. Но спрос, сам понимаешь, будет другой...

— Елена Леонидовна, я, конечно, все понимаю, но...

— Не ссать! — отрезала она. — Через два года ты со своим миллионом долларов в кармане поедешь куда захочешь. Но эти два года мы вместе должны отработать от и до! — А ты... вы... что через два года?



— А я... что я — я сама знаю. Благотворительностью, может, займусь... Начну раздавать деньги направо и налево. Нуждающимся... У тебя есть в семье нуждающиеся?

— Не в семье, Елена Леонидовна...

— Наташка? Эх, Леха, Леха, — она опять пропела любимую строчку про мозги, — не доведет тебя твоя *любоф* до добра. Что, прижали ее?.. А я ведь предлагала ей помощь. Знаешь, что она сказала?

— Что?

— Послала меня. Далеко и надолго, — Лена смотрела на меня так, словно это я ее послал. — А я не гордая... И совесть у меня есть. В отличие от вас всех. Я потом еще раз ей деньги предложила. Приехала к ним домой, так она даже дверь не открыла.

— Сейчас у нее совсем, Лен, капец, — со стороны я, наверное, смотрелся откровенно жалко. — Может, выкупишь ее пакет акций?

— А зачем он мне? — Елена завелась. — У меня под контролем сейчас почти три четверти... Что она может? Даже юриста нормального нанять ей не на что, братва насадет. Она труп, Леша, такой же труп, как и мать ее, как отец... Но, надо сказать, красивый труп, ни отнять, ни прибавить...

— Петр был у меня, он пытается ей помочь, но...

— Петр? Какой Петр? А-а, Григорьев, губернатор наш несостоявшийся... Запомни, Шапкин, Петр твой — никто. Нету твоего Петра, сдулся... И Наташке он помочь не сможет, они ведь не расписаны даже...

«Не расписаны...» — в ушах моих звенели тысячи скрипок. И под этот нарастающий звук во мне созрело решение. Мне показалось, что я теперь знаю, что делать.

— В общем, так. О Наташке при мне даже не заикайся. Трахнуть ее захочешь — трахни... она сейчас любому за сотку отдастся, наверное... но денег для нее не проси. А ты, слышь, Шапкин, ты женись на ней... сына усынови... Будет она Натальей Шапкиной. И сын ее, выродок наркоманский, будет тоже Шапкиным, а?..

Она резко встала и вышла. Похоже, уже с утра она была под кокаином.

Через две недели я собрался с силами и снова позвонил Наташе. Мне даже показалось, что она рада меня слышать.

— Я хотел бы увидеть тебя...

— Хочешь увидеть — увидишь.

— Где? Когда?

— Я в больнице.

— Куда ехать? Скажи!

— Нет. Найди Петра. Он объяснит без телефона.

Она положила трубку. Как найти Петра — я не знал. Зато я знал, что вечером того же дня Елена Леонидовна Цой вылетела из Москвы, якобы на модный курорт Красного моря, откуда на маленькой яхте перебралась в Иорданию. Добравшись из Акабы в Амман, она, переодевшись в мужское, в сопровождении ожидавшего ее провожатого на раздолбанном «рэнглере» по поддельным документам на имя австралийского журналиста Джошуа Ганна выехала в Багдад.

Глава XI. БОЛА

«Бери шанель, пошли домой».

Земфира Рамазанова

Ее распоряжение было простым. Мы вместе с Маркушей должны были принять курьера, отследить поступление денег, передать груз, а затем сопроводить курьера до выезда из города. Партия стоила около шести миллионов долларов. Деньги должны были поступить на анонимный счет, открытый Леной в банке на Каймановых островах. Некоторое время я потратил на то, чтобы изобрести схему, по которой эти деньги должны были упасть на совершенно другой счет, но, увы, не получилось. Защита, расставленная Еленой и ее верным сатрапом Маркушей, работала надежней некуда. А о том, чтобы подкупить самого Маркушу, речи и быть не могло. Он молился на Елену, и о причине этого слепого поклонения я догадывался.



Курьер прибыл ранним июльским утром, сделка была проведена в течение полутора часов. Вечером мы сидели с Маркушей в моем кабинете и пили водку.

— Л-ляксей П-палыч, — язык его заплетался, — меня мутит чего-то... можно в твой директорский сортир зайти?

— Гриш, у меня там ремонт, слив не работает, я сам на первый этаж спускаюсь.

— Ох... — он икнул и ринулся на выход.

Пока Маркушу тошнило в мужском туалете двумя этажами ниже, я успел скопировать все документы, содержавшие детали перевода. Он вошел в кабинет, когда я складывал копии себе в кейс.

— Ты чего там прячешь? — он посмотрел на меня неожиданно трезво, и я похолодел — не очень хотелось отправиться на преждевременное свидание с Виктором Тимофеевичем.

— Страховой полис бух принес, — работа на Никулина научила меня молниеносно врать. — Домой возьму, почитаю на сон грядущий.

— Да, Леня, — на лацкане пиджака Григория красовалось свежее желтоватое пятно, — здоровье не купишь...

Я довез его до подъезда, поехал домой. Не поднимаясь на этаж, вызвал такси. Через десять минут я уже ехал в сторону областного центра, держа на коленях кожаный кейс. В кейсе, помимо собранных документов, лежали простая рубашка, джинсы и двести с небольшим тысяч долларов — моя зарплата за три месяца, которые я проработал генеральным директором. Все эти три месяца я жил аскетом, стараясь не трогать лишнего, постоянно навлекая на себя насмешки Елены и Гришки.

В город я прибыл рано утром. Переодевшись в туалете автовокзала, я уселся за грязный столик в круглосуточной пивной неподалеку, дожидаясь звонка. Напротив меня за таким же столом сидел потасканный мужик моих лет в основательно побывавшей в употреблении белой рубашке желтого цвета и трениках с вытянутыми коленками. Он, давясь, цедил выцветшее пиво из пластикового стакана и посматривал на меня своими ввалившимися глазами.

— Леха?.. Шапкин?! Не помнишь меня? Я же Андрей, Андрей Котиков, мы с тобой в школе в Ташкент ездили... Помнишь, как в карты на орехи играли? Ты там еще проигрался вдрызг, дружище, забыл? А я — помню! Я все помню, Леха. Пришла пора тебе, Леха, долги отдавать!

Он смеялся. Я вспомнил его, но про ташкентские долги вспомнить не мог.

— А я тут сижу, ключи от дома потерял, — Андрей говорил, как мне показалось весьма странно.

Я не помнил фамилии того Андрея из сорок четвертой школы, красавца и модника, разглядывая окликнувшего с испугом и интересом.

— Не узнаешь?.. Да я тебе сейчас паспорт покажу! — он достал из кармана мятую и сложенную пополам красную книжечку. Я машинально взял ее, открыл на случайной странице, прочитал «расторгнут брак с гражданкой Котиковой Натальей Анатольевной» — и уронил паспорт на стол.

— Лешка, — он встал со стула, порываясь меня обнять. Я отстранился. — Лешка, друг, помоги согней, выручи старого друга.

В этот момент у меня зазвонил телефон. Я нажал кнопку.

— Алексей Павлович, мы договаривались о встрече. Где вы находитесь?

— Автовокзал, — ответил я, не успев даже подумать о другом месте встречи.

— Через пятнадцать минут у остановки. Серая девятка, номер... — на том конце положили трубку.

— Андрей, мне надо идти, — я попытался обойти Котикова.

— Соточкой, Леха, помоги, отдам! Вот номер телефона, только домашний! — он схватил салфетку и стал царапать на ней цифры ручкой вилки.

Я приоткрыл кейс, достал купюру и вложил ему в руку. Он лихорадочно запикивал салфетку с номером в мой нагрудный карман. Еще несколько секунд ему потребовалось на то, чтобы понять, насколько я был щедр, но я уже шел к серой девятке.

В машине меня поджидали трое. Свободным было переднее сиденье.



Машина тронулась. Все молчали. Видимо, ждали, что я заговорю первым.

— То, о чем мы говорили с Вадимом Васильевичем, — начал я, но тот, что сидел за водителем, худощавый мужик неопределенного возраста с волевым подбородком, перебил меня:

— Вадим Васильевич — это я. Показывайте.

Я достал документы, обернулся, передал ему; он бегло просмотрел их.

— На набережной останови, Валера, — водитель покосился на меня и кивнул. Я замер.

Девятка остановилась у парапета. Вадим Васильевич еще раз пристально взглянул на меня, несколько жеманно протянул ладонь для рукопожатия и сказал:

— Спасибо, Алексей Павлович. Не выключайте телефон, мы вас оповестим.

Я остался стоять на тротуаре, машина уехала.

Теперь я должен был найти Гриню и с его помощью встретиться с Наташей. Конечно, двухсот тысяч ей не хватило бы, но это все, чем я мог ей помочь.

Я шел по набережной куда глаза глядят, и мне казалось, что каждый встречный смотрит на меня заинтересованным взглядом Вадима Васильевича. В парочке сухощавых пенсионеров, державшихся за руки, я вдруг узнал чету Никулиных. Чуть не сбивший меня велосипедист, широкоплечий усатый кореец, был до мурашек похож на Цоя.

«У меня мурашки от моей Наташки...» — несло из киоска звукозаписи. Я почти бежал, не зная куда. Наступал жаркий летний день. Телефон разрывался: звонил Маркушин, звонила моя секретарша, звонили с городских телефонов, звонил Вадим Васильевич. Но я не брал трубку, я шел и шел куда-то, пока не наступил вечер.

Три девятиэтажки стояли на отшибе, посреди пустыря, неподалеку от свалки. Я приближался к ним, поминутно оглядываясь. В голове стучал оркестр японских барабанщиков. Я вошел в подъезд первой общаги. Он был проходным. Я ринулся на улицу, проскочил через двор, вбежал в другое общежитие, затем в третье. Там поднялся на площадку между вторым и третьим этажами, остановился у мусоропровода и достал телефон. Несколько сотен пропущенных звонков и десятки сообщений... Я вытащил из телефона сим-карту, выбросил в мусоропровод саму трубку. Голова разрывалась от боли. Наверное, от теплового удара.

Почему-то вспомнилась школьная мантра: «У Лепы Шашкина головит бола...»

На лестнице послышались чьи-то шаги. Я поднял глаза. Из темноты третьего этажа ко мне спускался Гриня, чему я несколько не удивился. Проскрипел поднимающийся лифт, на шестом этаже в него грузилась шумная компания.

— Даша, давай быстрее, тачка ждет! — кричал молодой мужской голос; кто-то придерживал лязгающую дверь лифта.

— Вниз. Быстро! — шепотом крикнул Петька.

Я ринулся по ступенькам. Он за мной.

— Не в этот выход, в другой! В машину!

Через несколько секунд мы были в такси. Через открытое окно автомобиля я слышал голоса, звук открывающихся дверей.

— Я по заказу, молодые люди, — прокуренный таксист повернулся к нам.

Я открыл кейс, достал сто долларов, положил их около рычага переключения скоростей. Водитель молча рванул с места, не обращая внимания на возмущенные крики компании студентов, вывалившейся из подъезда.

— Выключи рацию, — резко сказал ему Гриня.

— Куда едем? — не оборачиваясь, процедил водитель.

— Прямо! — когда-то я очень любил эту финальную сцену из «Служебного романа».

Мы неслись по городу, начиналась ночь. Ехали в Заречный район, я назвал адрес на Институтской; дальше были поля и сады.

— Выйдем здесь. Дай ему еще денег, — сказал Петька.

Мы вышли на пустыре. Таксист без разговоров взял еще столик и рванул назад. Мы пошли прямо по траве по направлению к редким мигающим окошкам пригородного садоводства.

— Все, Петька, я приговорен — я сдал Лену федералам.

— Это не ты приговорен, Леха... вернее, не только ты. И я, и Лена — все мы. «Сойка» — под таким псевдонимом она у них в оперативных данных числится, кстати. Ты в курсе?

— Ее же нет в стране, что ей будет...

— Мне звонили сегодня. Маркуша звонил, тебя спрашивал. Думает, что я с тобой в одной теме. Они ищут тебя, но не понимают, что им тоже конец. Ленка приплыла. Ты ж не дурак, понимаешь, наверное, своей башкой светлой, что она — не последнее звено в цепи. Так что тебя-то Ленка, может быть, и простила бы, да и меня... а вот эти — они никого не пожалеют. И ее — в первую очередь.

Я шел молча. Голова не просто раскалывалась, она раскалилась от боли. Петька продолжал говорить:

— Она не сама взялась за этот завод, ее *попросили*. Так попросили, что не смогла отказать. Не знаю, какой у них на нее был компромат, но он наверняка был, иначе бы она не подписалась. Кредиты, как думаешь, откуда у нее появились? И сейчас, когда ты слинял, и не просто слинял, а какому-то жалкому подполковнику, Вадиму этому, сбросил документы на нее, ты не просто ее подставил, ты им всю схему запалил. Потому что Вадим этот доложил об этом твоим подвиге *не туда*. Понимаешь? Не туда! Теперь всем, кто в схеме, кранты, Лех. Просто кранты. У тебя деньги есть?

— Я для Наташи тут...

— Не нужны Наташе деньги твои, поверь, тебе нужнее. Скрыться тебе надо, Леха. Просто исчезнуть, если жизнь дорога.

Я молчал. Я понимал, что происходит, но не понимал, почему он говорит об этом со мной.

Пройдя полтора километра по полям, мы попали на территорию садоводства «Дружба». Голова трещала уже нестерпимо, я едва мог идти. Петька перелез через забор какой-то халупы, открыл калитку изнутри. Слава богу, там не было собаки. Я с детства боюсь собак.

Он взял полено, сбил амбарный замок на двери; мы вошли. Через несколько минут он растопил буржуйку, нашел свечи, вскипятил чай.

— Ты знаешь, Ленка очень любила Высоцкого... — Меня покорило, когда он заговорил о ней в прошедшем времени, ведь только сегодня утром я видел на экране своей мобилы, что она пыталась дозвониться до меня из Ирака. — Особенно песню про самолет. Ту самую, где самолет сбивает фашистов, а летчик, который сидит в самолете, считает, что это он истребитель, ордена получает и звездочки на фузеляж трафаретит. Ленка всегда говорила, что хочет быть летчиком, а не самолетом. Даже, кстати говоря, в аэроклуб наш одно время ходила. Только, Лех, знаешь, отлеталась наша сойка... Понимаешь, в чем она не права была?

— Нет... — от боли и усталости я почти не мог говорить; я лежал на тахте, укрывшись ватником, и смотрел на свечу.

— Она никогда не обращала внимания на то, чем там у Высоцкого все закончилось. Кокнули летчика фрицы. И сам летчик разбился, и «Як» его вместе с ним... «Ми-и-ир вашему дому!..»

Я почти не слушал его. «У Лепы Шашкина головит бола», — повторял я до тех пор, пока не почувствовал, что куда-то проваливаюсь. И провалился окончательно.

Когда я проснулся, было утро. Грини не было. Я поискал глазами кейс — он был на месте. Деньги тоже. Написав на пыльном подоконнике пальцем: «Извините, ничего не трогал», — я умылся из бочки во дворе покосившегося дачного домика и пошел по тихой улочке. Где-то здесь наверняка должна быть автобусная остановка.

Автобуса пришлось ждать около часа. Его единственные пассажиры, две старушечки с бидончиками, повязанными сверху белыми тряпицами, сквозь которые красным проступали ягоды, смотрели на мой кейс и перешептывались. Я отвернулся к окну. Я понял, что так и не спросил Петьку, что же он делал на третьем этаже общежития вчера вечером.

*«Я прошу, хоть не надолго,
Боль моя, ты покинь меня...»*

Штирлиц

Мы узнали друг друга сразу. Но никто из нас двоих даже не дернулся. Я смотрел ей прямо в глаза. Она смотрела в глаза мне. Встали мы одновременно. И одновременно пересели за один стол. Наверное, это выглядело излишне театрально, но я и в самом деле чувствовал себя героем фильма.

Она начала говорить. Я говорить не мог.

— Я все знаю. Все знаю про тебя. Я ничего никому не скажу. Я знаю, что ты... — она замешкалась, — что у тебя проблемы. Уезжай.

— Уеду, — это все, что я смог произнести.

— Мне не нужны деньги. Все мои проблемы решены. Все сделала она. Ты ведь не знаешь ничего... Я знаю, что ты не знаешь.

Я смотрел на нее — и не мог оторваться от ее глаз. Она говорила, и поначалу я не совсем понимал, о чем именно она говорит.

— Ты был большой дурак, Шапкин. Ты и сейчас дурак, это не лечится... У отца были проблемы, из-за этих проблем мне и пришлось уехать. Не из-за любви к кому-то, как ты, видимо, думал. Нет. Он просто приказал мне собраться вместе с Артемом и уехать в Минск, к каким-то родственникам... Я стояла здесь, на вокзале, в очереди в кассу. Чем-то очень противно пахло... Я держала Артема за руку, он вырывался... Вдруг я услышала свое имя, оглянулась... Я очень боялась, что за мной следят. Но это была она. Я знала, кто она такая, но не была с ней знакома... Я была груба с ней поначалу. Я думала, что она будет пытаться через меня выйти на отца. Но она сказала, что в поезде будут люди, которые убьют меня и похитят Артема. До прибытия поезда оставалось не больше сорока минут. И я поехала с ней. В аэропорт. Мы вылетели в тот же день и к вечеру следующего были в Захарьевске. Я сообщила отцу, что не поехала в Минск, но нахожусь в безопасности.

Я подозвал официанта, молча показал на водку. Наташа покачала головой, продолжив:

— Елена приняла меня на работу. Я работала у нее кем-то вроде помощницы. Она неплохо платила. Устроила Темку в садик. Приставила к нему гувернантку, чтобы у меня была возможность ездить с ней в командировки по стране. За границу она меня не брала, но если ехала за границу, постоянно привозила подарки. Однажды на восьмое марта из Франции привезла мне темно-зеленый платок Hermes. А на следующий день, девятого, мы выехали на какую-то встречу в Новосибирск. Зачем она взяла меня в тот день, было непонятно, я не участвовала во встрече, сидела в соседней комнате. А потом мы поехали в ресторан — я, она и еще двое мужчин. Это был какой-то дурацкий ресторан в советском стиле, туда надо было почему-то на лифте подниматься. Мы выпили немного... или много... Я тогда потеряла контроль. И когда в такси на обратном пути ее рука оказалась у меня в вырезе костюма... я ничего не могла возразить. Она шептала мне что-то на ухо и совсем не стеснялась таксиста...

Я смотрел на нее, не отрываясь. Рюмка с водкой повисла над столом.

— Она тискала меня, словно я была куклой, котенком, игрушкой в ее руках. И я хотела ее! Понимаешь?... Я впервые в жизни хотела женщину. И я не сопротивлялась. Она не была ласковой, она была требовательной, она чувствовала себя хозяйкой. Хозяйкой меня... Мы почти вбежали в ее номер. Она раздела меня и бросила на кровать. Со стороны это, наверное, напоминало дурацкую порнуху, но все было на самом деле так... Я не помню, как долго это продолжалось, не помню, как вернулась в свой номер... Меня как будто изнасиловали, понимаешь...

— И что? — я мог сказать только эти два слова.

— Ничего... Я уволиться хотела сначала, но я ведь зависела от нее. Да и ничего подобного больше не повторялось... А потом я заподозрила неладное, когда она заинтересовалась отцовским заводом.

— Или ее заинтересовали... — зачем-то сказал я.





— Когда я это поняла, написала заявление. Она не хотела меня отпускать, но я ушла, работала кассиршей в супермаркете, уборщицей... кем попало, в общем. А потом случилось то, что случилось: умер папа... И она пришла ко мне на следующий же день. Предложила деньги. Я послала ее, обозвав убийцей. Я ненавидела ее. И тебя, Шапкин, ненавидела... Потом было девять дней. Она опять пришла, а я даже дверь ей не открыла. А потом умерла мама. У меня до сих пор есть подозрение, что мама покончила с собой. Но я не могу об этом думать... и не хочу. На ее столике лежали какие-то таблетки... я ничего не понимаю в таблетках.

Она говорила о смерти родителей с абсолютно бесстрастным видом. Ее голос был ровным. Пугающе ровным.

— Через неделю после смерти мамы ко мне пришли *они*. Я испугалась. За себя, за Темку... — она на секунду отвела глаза, достала сигареты, закурила. — И тогда я сама пошла к ней. Пришла к ее дому, села на лавку. Тему дома оставила, с ним Владка была... помнишь Владку?

Я кивнул. В горле у меня окончательно пересохло. Но поднести стакан к губам не было сил.

— Я знаю, что вы с ней... не парься... И Елена поздно вечером подъехала, увидела меня, пригласила в дом... Достала бутылку вина. Мы разговаривали... Она показала мне очень усталой и совсем разбитой. Я постеснялась жаловаться, но она сама понимала, зачем я пришла. Мы закурили, выпили еще вина... И вдруг Лена сказала мне: «Ты знаешь, Наташ, как я полюбила убивать людей?» В тот вечер она рассказала мне все. О том, как вышла замуж после института, как взяла фамилию мужа, как вся мужнина родня была против этого брака. О том, как изменяла мужу с его другом... как там была его фамилия, я не помню...

— Абрамов?

— Да, Антон Абрамов... О том, как Антон влюбился в нее, как она забеременела от него и тайком сделала аборт — придумала себе какую-то болезнь и легла в больницу... как Антон дал ей на это деньги. С тех пор она не может иметь детей. Она не могла простить Антону это, в глаза называла его убийцей, постоянно напоминала ему об этом. Он пить начал. Требовал от нее, чтобы от мужа ушла. А она его... Однажды он напился, позвонил ей, сказал, что повесится, если она не будет с ним. Она ответила — вешайся, мол... Дальше ты знаешь.

— Знаю.

— А как она убила Цоя — тоже знаешь?

— Догадываюсь...

— Она и об этом рассказала мне в тот вечер. Я спросила, почему она с ним так поступила... Знаешь, что она ответила?

— Что?

— «Достал». После этого она стала единоличной владелицей бизнеса. И кое-кто поддерживал ее. — Наташа замолчала на несколько секунд, затем продолжила, не переставая глядеть мне в глаза. — Она рассказала мне все в ту ночь. Я боюсь тебе и половины говорить, но кое-что могу. Например, именно она заказала Рындина.

— Это я предполагал.

— Только ты не предполагал, что Женька Рындин был моим любовником в институте. Котиков был красивым и умным, а Рындин — богатым. И я спала с ним. И Темка — его сын, Рындина, а не Андрея. Она убила отца моего ребенка. Она убила моего отца. Она убила мою маму. Она всех убивает, убивала и будет убивать.

— Мне кажется, ее уже нет в живых.

— А мне иногда кажется, Леш, я какой-то частью себя, тела своего... или души, или левой пятки... черт знает, какой именно частью, мне кажется, я люблю ее. Люблю и хочу! Она в ту ночь оказалась такой нежной, что я... я даже не могу это выразить. Совсем не такой, как в первый раз. Это для вас всех она была беспощадной и жестокой. А для меня... для меня, которую она лишила всего или почти всего, она — просто Лена. Усталая, нежная, красивая, простая...

— Правда? А я люблю всю жизнь только одну женщину — тебя, — я улыбнулся.



— Хорошо, — она тоже улыбнулась, первый раз за весь наш разговор. — А ты не обидишься, если я скажу, что... в общем, когда ты уезжал, то...

— Я предполагал, что у нее есть кто-то еще, но я не думал, что это ты.

— Смешно, — она смотрела на меня. Я смотрел на нее. Она крутила локон на пальце. Я ломал зубочистку. Девятую — с того момента, как мы уселись за один стол.

— И вот что еще... Лешка, я чувствую вот тут, — она положила ладонь на грудь, — я чувствую, я знаю, я уверена, Леш, что она жива. И я скоро ее увижу.

Я попросил счет и встал. Наташа осталась сидеть.

— Мне надо идти, прости... Мы теперь, наверное, не скоро увидимся. Может быть, дашь обнять себя?

Она продолжала смотреть на меня. Встала, сделала шаг, чуть приблизившись. Позволила коснуться губами ее щеки. Я попытался прижать ее, она отстранилась.

— Я люблю тебя, Наташа.

— Дурак ты, Шапкин, — ответила она.

Я развернулся и ушел, не оглядываясь. Перешел через дорогу. Передо мной было две двери: булочная и аптека. Я выбрал правую, подошел к окошку и попросил одноразовых шприцов. Коробку.

Глава XIII. ГЕРОИН

*«Все, что связано с наркотиками — стремно.
Барыги — гады. Наркоманы — черти.»*

Путин

Шприцы я покупал для Андрея.

К этому моменту мы с Андреем Котиковым прожили под одной крышей уже почти два месяца. Все началось в тот день, когда разбитый и потный я практически выпал из пригородного автобуса.

Двадцать пачек по десять тысяч и еще одна поменьше, перетянутая резиночкой. Вроде бы не так уж и много, но в карман джинсов не спрячешь. А кейс этот уже мешал. И вообще, что за англицизмы, какой еще *кейс* — это ведь просто чемодан, не более того... Чемодан он и есть, только кожа получше, замки в другом месте и *Bally* выгравировано. Что внутри? Личные документы: паспорт, загран, права... но все это мне больше не нужно, все это можно сжечь. Еще — диск с порнофильмом «Ugatus Experiment». Мы купили его с Леной в секс-шопе перед самым ее отъездом. Из-за названия, конечно.

Пять рублей за черный пакет для продуктов. Деньги — в пакет, диск — туда же... все, нечего больше взять с собой. Еще — бензин для зажигалки, его тоже в пакет. Хотя... нет, обратно. Я, не слишком скрываясь, через дырку в ограде пробрался на какую-то стройку, облил чемодан бензином; в этом чемодане — вся моя прошлая жизнь... и вот она горит.

Теперь надо было понять, что делать дальше. Вспомнил Гриню... Почему он сказал, что деньги Наташке не нужны? Что он знает, чего не знаю я? Он продолжает жить с ней? И жил ли он с ней вообще?... Я видел их вместе всего три раза: в ту ночь, на пороге никулинского подъезда, и дважды на похоронах... Я постепенно переставал соображать.

Мне нужно было где-то переждать. И понять, что именно я хочу переждать. Чтобы купить небольшую квартиру в отдаленном районе, хватило бы совсем немного денег. На остальное можно было бы прожить несколько лет, раз в месяц выбираясь в магазин за продуктами. Чтобы купить квартиру, мне понадобятся документы, которые я только что сжег. С юридической точки зрения я теперь никто. И довериться мне некому. Даже Гриня — и тот пропал. Я шел по дворам с черным пакетом в руках и разговаривал сам с собой. Наверное, со стороны я напоминал алкаша или наркомана... Наркоман, вот кто мне был нужен! Андрей Котиков. Он, кажется, единственный, кто знает меня, и ничего — обо мне.



Я достал салфетку, набрал несколько цифр на клавиатуре купленного с рук мобильного.

— Леша?.. Только один день прошел... я отдам, обещаю... — его голос слаб. Я тоже был слаб. Но я сильнее его. Это приятно было осознавать.

— Мне не нужны деньги. Более того, я могу дать еще.

Переночевал я у него. Мне было абсолютно все равно, чем он вмазался... главное, чтобы утром встал и был вменяем. На его сложенный пополам паспорт я купил двухкомнатную квартиру в спальном районе.

С высоты птичьего полета дома образовывали надпись «КПСС». Мы жили в первой «С», в угловом подъезде. Я поставил бронированную дверь, купил в комиссионке компьютер, телевизор и dvd-плеер. Приобрел несколько сотовых телефонов с сим-картами разных операторов, покупая в ларьках, где не требовалось предъявлять документы. Вместе с Котиковым мы съездили в мебельный магазин на отшибе, выбрали там необходимый минимум: два дивана, кресло, маленький кухонный гарнитур, стол. В гипермаркете набрали продуктов: несколько коробок лапши, соль, сухое молоко, муку, консервы, алкоголь. Вторая комната теперь выглядела филиалом Госрезерва.

Андрей ни о чем не спрашивал. Он жил теперь со мной, ему не нужно было выходить на улицу. Вместе с ним мы съездили в заречную часть города и купили там пятьдесят граммов чистейшего героина. Героин был кремового цвета, не фасованный. Я сразу же забрал его у Андрея и пообещал выдавать ежедневно. Героин хранился в сейфе. Там же лежали остатки денег, около ста пятидесяти тысяч.

Андрей оказался не таким уж тупицей. Наркотики съели душу, но в голове его оставались осколки некогда острого ума, начитанности и образованности. «Я окончил школу с золотой медалью, — рассказывал он, — у меня ай-кью был, как у Эйнштейна, ты понимаешь?!» Первую дозу он попробовал за пару месяцев до свадьбы. Студент-физик, он надеялся, что это всего лишь очередной эксперимент. Молодая жена узнала об увлечении Котикова слишком поздно. И бороться за него не стала.

Вечерами Андрей варил себе смесь, а я готовил еду и смотрел порно. Он отрубался, а я лежал в кресле с бутылкой водки в обнимку.

Алкоголя было много. Наркотиков я не хотел — боялся уколов, боялся не рассчитать дозу. Я все еще надеялся вернуться к нормальной жизни, найти и вернуть Наташу...

Ее телефон был отключен. Я попытался хоть что-то узнать о ней при помощи Интернета. И не только о ней — меня интересовала и судьба Елены.

Я нашел их обеих в один и тот же день. Сначала Наташу. Она работала референтом художественного руководителя театра, совсем рядом. С фотографии на меня смотрели ее глаза. Я дождался, когда Андрей впадал в очередную отключку, и часами сидел, уткнувшись в дисплей, ничего не делая, только всматриваясь в эти глаза. Андрей так и не узнал о том, что я знаком с его бывшей женой.

Я радовался, что она жива, что, судя по ее, казалось, беззаботной улыбке, у нее все было в порядке. Мне оставалось лишь строить догадки, что же такого могло произойти, чтобы от нее отстали.

О судьбе Елены я узнал из новостной ленты. Городской сайт сообщал о задержании подозреваемого в убийстве Евгения Рындина; нажав на одну из ссылок, я вдруг оказался на сайте, где неизвестный пользователь выкладывал видеосъемки из лагеря суннитов в Ираке. Среди пленных, которых с гордостью демонстрировали мужчины в камуфляже, была женщина с рыжими волосами в грязной мужской рубашке. Я узнал ее. Пленницу толкнули, она упала на колени. К ее голове приставили ствол автомата...

Дальше я смотреть не смог.

Я понял, что Лены больше нет. Из всех дорогих мне людей оставалась одна Наташа. Но к ней я не имел доступа, я сам обрек себя на добровольное заточение, в котором намеревался провести не менее двух лет. Обо мне должны забыть.

Однажды я заговорил с Котиковым о героине.



— Никогда не зарекайся. Мало ли что... — отвечал он. — Раньше я думал, что его стоит попробовать всем... чтобы знать. А на самом деле от нас уже ничего не зависит: героин просто есть, хочешь ты этого или нет.

— Не знаю... А что там такого, что стоит знать?

— Понимаешь, героин — это ощущение найденного рая... точнее не скажешь, — он говорил ровным, ничего не выражающим голосом. — Ты спокоен, ты миротворен, ты благодушен... Когда начинается *приход*, мне кажется, что геке приподнимает меня над землей, и я могу совершить что угодно.

— За это ты и любишь его?

— Его невозможно любить, потому что героин — это и есть любовь в чистом виде, — он на самом деле верил в то, что говорил, — просто героин — это очень сильная любовь. Убийственная.

Мне показалось вдруг, что теперь я понял, с чем сравнить мое отношение к Наташе.

— Но можно ведь сесть на него навсегда...

— Ничего подобного, от него несложно отказаться, поверь. С ним — не лучше. Это вообще антоним жизни, смерти, он вне всех парадигм.

Я не мог слушать его долго. Мне казалось, что его варевом провоняла вся квартира. Я открыл сейф, достал двести долларов и отсыпал Котикову немного порошка.

— Знаешь, — сказал я, — я, наверное, пройдусь. Чтобы существовать абсолютно автономно, нам необходима еще одна вещь...

Глава XIV. СУД

«Послушай меня, я просто любила...»

Юлия Савичева

— Ты пойми, она ведь не просто оплатила Наташины долги, она купила ей огромный дом в пригороде, устроила на работу и положила на счет Артему те самые пять с лишним миллионов, которые выручила от последней сделки...

— Вот так? И все из-за их отношений?

— Каких?

— Ну она ведь спала с ней...

— С чего ты взял?

— Наташа сказала...

— А ты веришь всему, что она тебе говорила?

— Я люблю ее.

— И что?

— И все.

— И теперь ты будешь верить всему, что она тебе говорит? Шаткое основание. Я бы сказал, вообще никакое.

— Наташа мне больше ничего никогда не скажет. Мы никогда не увидимся.

— И не надо. Я говорил тебе — не надо искать Наташу.

— Я не искал. Сама нашлась. Случайно.

— Ты все еще веришь в случайности?!

— Да.

— И веришь, что эта ваша встреча не случайна?

— Не знаю... Все предопределено.

— Может быть, все на самом деле не так, как тебе кажется...

— То есть?

— Не важно... или важно... Ты уверен, что хочешь это узнать?

— Пусть. И для чего она это делала, как ты думаешь? Грехи замаливала?

— Она многие вещи делала просто так. Без цели. Мне кажется, у нее не было никаких целей. Вообще.

— Не вяжется. Убийца, не имевшая целей... Без цели, *sans regrets*, не вяжется с ней ни коим боком.

— С чего ты взял, что она убивала?

— Наташе она все рассказала. А Наташа — мне...
— О ком, например?
— Об отце и матери ее.
— Сами умерли. Дед пил много, сердце ни к черту. А мать — та просто не сумела жить без него.

— А Цой?.. И ртуть под креслом...

— Не было никакой ртути.

— Мне следак рассказывал... Петров, кажется...

— Петров тебе про Кима рассказывал. В Захарьевске был Ким Иннокентий Эдуардович, углем торговал. Его конкуренты отравили, было дело, да, только Цой ни при чем тут. Мало ли корейцев...

— Погоди, а Антонов? Он что, тоже не из-за нее повесился?!

— Шизик твой Антонов. Она его терпеть не могла.

— Но спала же с ним, аборт...

— Брось, не было никакого аборта. И не могла она спать с ним, импотент он был, облучился на войне, на радиолокационной станции. Оттого и сдвинулся. Красивый мужик, а... не стоит. Тут любой бы свихнулся.

— Стоп... А Тимофеич?

— Жив-здоров.

— Но она же при мне Маркуше команду дала!

— Какую?.. С Ефимом связаться?.. Ефим, ты же должен знать, он главный бухгалтер ее московского филиала. Он просто доступ к счетам заблокировал. Виктор утром в Москву полетел, хотел бабки снять, но не вышло. Так и живет теперь в однушке в Братеево, сменил «камрюху» на «шоху», таксует. А ведь был директор завода...

— То есть... по-твоему, не было никаких убийств? Понятно... Складно поешь. И Рындина с женой никто не расстреливал, что ли?

— Убийцу нашли на прошлой неделе. В Семипалатинске. Казахи его уже выдали. Он сдал заказчика. Не догадываешься, кто это?..

— Не верю!

— Наташка не смогла простить ему, что он на другой женился, любила его всю жизнь, а он ее — нет. Она на сына своего смотрела, а видела его. Знаешь, Лех, она до сих пор его любит. Даже мертвого...

На том конце Гриня положил трубку.

Труп Андрея, накрытый простыней, лежал на диване. Я встал, взял из сейфа все деньги, вышел на улицу, поймал такси и поехал в центр. В течение трех часов купил кучу ненужных вещей: золотые часы, дорогой костюм, навороченный проигрыватель, коробку сигар, два иранских ковра, чайный сервиз, столовое серебро на двенадцать персон, бронзовую статуэтку, изображавшую нагую красавицу, что-то еще... Нанял микроавтобус, который увез все это домой. По дороге я заехал в винный бутик и взял бутылку тридцатилетнего «Макаллана».

В квартире пахло героином и мертвецом. Я облился парфюмом, включил Led Zeppelin:

Thanks to you it will be done,
For you to me are the only one...

Плант завывал, Пейдж запиливал, я надел костюм, откупорил виски, сделал глоток. Потом сел за компьютер и стал писать. Через сутки я отправил четырнадцать файлов незнакомому мне человеку с просьбой выложить их в сеть. Этот — последний.

Потом я взял две серебряных ложки, чайную и столовую. Зачерпнул чайной ложкой кремный порошок из пакета, растворил, втянул в шприц.

Сейчас надо будет сесть нога на ногу, между ляжками зажать руку ладонью вниз и вколоть себе иглу чуть выше запястья.

Экипаж прощается с вами.

Встретите Наташу, ничего ей не рассказывайте.

Лариса БЕЛКОВЕЦ

ИСТОРИЯ ГЕРМАНСКОГО КОНСУЛЬСТВА В НОВОСИБИРСКЕ

Мало кто знает, что открытие 1 декабря 1994 года генерального консульства Германии в Новосибирске было отнюдь не новой инициативой в истории немецко-русских отношений, но продолжением традиции, заложенной ровно 90 лет назад. Здесь, в Новосибирске (Новониколаевске), с 1923 по 1938 год находилась «штаб-квартира» самого большого в мире консульского округа. Ее руководители — консул Гросскопф (а позднее — Мейер-Гейденгаген) — являлись непосредственными наблюдателями и участниками событий местного и общесоюзного уровня. А так же — в какой-то мере и жертвами: за полтора десятилетия советско-германские отношения претерпели потрясающую метаморфозу — от взаимной любви и активного сотрудничества до лютой ненависти...

1. Самый большой в мире консульский округ

В 1913 году за Уралом располагалось 12 консульств европейских государств, в том числе три консульства Великобритании: во Владивостоке, Красноярске и Омске; два — Швеции: во Владивостоке и Омске; два — Нидерландов: во Владивостоке и Томске; по одному у Италии (во Владивостоке) и Дании (в Омске). Три консульства принадлежали Германии: во Владивостоке, в Омске и в Томске¹.

Первая мировая война и последовавшие за ней революционные события в России прервали не только консульскую деятельность, но и все связи Сибири с границей: экономические, политические, культурные. После заключения 16 апреля 1922 г. Рапалльского договора Германия и Россия, установив дипломатические отношения, возобновили довоенные традиции и вновь открыли на территории друг друга свои консульские учреждения, тогда называвшиеся представительствами. С их помощью восстанавливались торгово-экономические связи и регулировалось правовое положение многочисленных подданных, в силу разных причин оказавшихся отторгнутыми от своей родины.

30 января 1923 г. германское посольство предложило Наркомату по иностранным делам РСФСР открыть германские консульства за Уралом, в Омске и Владивостоке. В ответной ноте от 28 февраля НКВД выразил готовность открыть указанные консульства «при условии согласия германского правительства на учреждение на началах взаимности», консульств РСФСР в Штеттине, Кёнигсберге и Лейпциге. Одновременно НКВД соглашался начать переговоры о заключении консульской конвенции². Пока же деятельность консульств в России должна была регулироваться декретом «О консульском представительстве иностранных государств при Рабоче-крестьянском правительстве РСФСР» от 30 июня 1921 г., а в Германии — «общепринятыми нормами консульского права или специальными правилами, вырабатываемыми по соглашению обеих сторон»³.

¹ Сибирский торгово-промышленный ежегодник. СПб., 1913. Отд. 1. С. 114.

² АВП РФ. Ф. 082. Оп. 7. П. 39. Д. 18. Л. 5; Deutsch-sowjetische Beziehungen 1922—1925. Vom Rapallovertrag bis zu den Verträgen vom 12. Oktober 1925... Bd. 1. S. 186.

³ Нота Народного комиссариата иностранных дел РСФСР посольству Германии в РСФСР. 28 февраля 1923 г. // Советско-германские отношения. 1922—1925 гг. Ч. 1. С. 134.



Омск в качестве резиденции консульства был выбран немецкой стороной неслучайно. О нем в Германии были еще свежи воспоминания как о крупном центре производства и экспорта сибирского масла, мяса, дичи, центре импорта в Сибирь сельскохозяйственных и машиностроительных машин. Омск был важным железнодорожным узлом и центром судоходства по Иртышу. Легационный (тайный) советник МИДа Германии д-р Рудольф Асмис [1], дважды побывавший по заданию своего ведомства в 1922—1923 годах в Сибири и на Дальнем Востоке, увидел там «широкое поприще для совместной русско-германской работы». Асмис указывал также на чрезвычайно высокий уровень ведения сельского хозяйства в Западной Сибири, значительно превышавший не только уровень Восточной Сибири, но и центральных районов России. Он намеревался привлечь к освоению сибирского рынка германские фирмы и создать для освоения Сибири «русско-германское торгово-промышленное общество»⁴. Немаловажным доводом в пользу Омска как места пребывания консульства он считал, кроме прочего, наличие вокруг города поселений происходивших из Германии бывших поволжских колонистов и меннонитов из Южной России.

Возглавить консульство в Сибири должен был вице-консул германского генерального консульства в Петрограде Георг Вильгельм Гросскопф [2]. Изучив вопрос, он выступил с предложением о переносе места дислокации консульства из Омска в Новониколаевск. В своем донесении в МИД от 29 марта 1923 г. он писал следующее: «Город Новониколаевск в последние годы перед мировой войной пережил бурный экономический подъем. Он имеет перед Омском и ряд других преимуществ. Во-первых, у него весьма выгодное центральное положение как пункта пересечения Транссибирской железной дороги с Обью и железной дорогой на Барнаул — Семипалатинск и Бийск. Во-вторых, отсюда рукой подать до Кузнецка, центра крупного индустриального округа. Главным же является то обстоятельство, что управленческая власть Сибири, Сибревком, в конце прошлого года из Омска переселилась в Новониколаевск. Там же находятся теперь и все центральные хозяйственные организации региона, с которыми, особенно на первых порах, консульству придется вступить в тесный контакт»⁵.

Дебаты о месторасположении сибирского консульства продолжались во внешнеполитическом ведомстве Германии всю весну и лето 1923 г. И все же к августу этот вопрос был решен в пользу Новониколаевска. Думается, что главную роль в этом сыграл будущий консул Гросскопф, предложения которого были признаны основательными. Он обещал при этом не оставлять без внимания немецких колонистов, живших не только в Омской губернии, но и на Алтае и в других районах Западной Сибири, и намеревался посредством «культурной работы способствовать сохранению их немецкого самосознания». По его мнению, немецкие крестьяне, жившие в Сибири, могли найти применение как «подходящая рабочая сила для хозяйственной деятельности немецких предпринимателей»⁶.

4 августа Гросскопф прибыл к месту службы.

Однако новоиспеченный консул еще некоторое время не имел официального подтверждения своих полномочий. У озбоченного другими делами, испытывавшего серьезные финансовые трудности германского правительства, не доходили руки до подписания консульских патентов. А позже — произошел захват Францией Рурской области — небезызвестный «Рурский кризис», поставивший на повестку дня вопрос о самом существовании германского государства. Только 28 ноября 1923 года консульский патент Гросскопфа был, наконец, подписан. Исполненный в традициях международного права того времени, он вменял ему в обязанность и давал полномочия на охрану интересов германского государства и содействие их реализации, как в области торговли, транспорта, судоходства, так и в области выполнения межгосударственных договоров. Консул получил право предоставления гражданам рейха и других дружественных государств совета и помощи в их делах. Патент обязывал его действовать согласно имперским законам и инструкциям и давал гарантию в том, что президент будет оказывать ему всяческое содействие и помощь, защищать

⁴ Из записи беседы А. А. Штанге с тайным советником МИД Германии Р. Асмисом о возможностях развития советско-германских экономических связей. 25 декабря 1922 г. // Советско-германские отношения. 1922—1925 гг. Ч. 1. С. 94—97.

⁵ Politisches Archiv des Auswärtiges Amtes, Bonn — Berlin (PA AA). R 84215.

⁶ PA AA. R 84215.



свободы и привилегии, которыми пользуются в стране пребывания главы консульских представительств⁷.

21 декабря 1923 г. М. М. Литвиновым, заместителем наркома иностранных дел, была подписана экзекватура, дающая гарантии соблюдения прав иностранных представителей принимающим государством. Она предоставляла консулу право сношения со всеми местными советскими органами по консульским делам через административный отдел (АО) Сибревкома; неприкосновенность переписки, канцелярии и архива консульства, которые не подлежали обыску или досмотру, и личную дипломатическую неприкосновенность. Гросскопф не подлежал обложению каким-либо видом личных или имущественных налогов и обязательств и не мог быть привлечен к выполнению какого-либо вида трудовой повинности⁸.

Но назначение Гросскопфа предполагало еще и испытательный срок, поэтому окончательное утверждение его на посту консула состоялось лишь 31 марта 1925 г.⁹ Только после этого он получил разрешение объехать свой служебный округ.

Вопрос о консульском округе Гросскопфа оставался не решенным до середины 1924 года. В экзекватуре значился только город Новониколаевск. В донесениях консула есть жалобы на существовавшее у российских властей намерение ограничить его служебный округ. А между тем консулу уже в январе 1924 года пришлось по делам германских граждан совершить поездку в Омск. Согласно его первому предложению от 23 августа 1923 г., в округ должны были войти шесть губерний (Новониколаевская, Омская, Томская, Енисейская, Иркутская и Алтайская) и автономные области: Ойротская и Хакасская. Но полугодичное пребывание Гросскопфа в Сибири привело его к мысли о необходимости расширения служебного округа, включения в него новых территорий, на которых дисперсно проживало значительное число германских граждан — как в городах, так и в сельской местности.

После длительных переговоров посла Германии в РСФСР графа Ульриха Брокдорф-Ранцау [3] с НКВД, советское правительство пошло навстречу пожеланиям своего партнера, и 18 июля 1924 г. служебный округ Гросскопфа был, наконец, определен. Это был самый большой в мире консульский округ, в 20 раз превышавший территорию самой Германии. В него вошли губернии: Новониколаевская, Омская, Томская, Енисейская, Иркутская, Алтайская, объединенные в 1925 г. в Сибирский край; две автономные республики, Якутская и Бурятская; две автономные области, Ойротская и Хакасская, три восточных округа Киргизской (Казахской) республики: Семипалатинский, Акмолинский и Кустанайский, а также восточные округа Тюменской, Тобольской и Челябинской губерний. Исключение составляли промышленные районы Урала, отнесенные к ведению консульского отдела посольства. Вся остальная часть Сибири и Дальний Восток с Камчаткой и северной частью Сахалина были закреплены за консулом Вагнером во Владивостоке¹⁰.

Консульству был предоставлен бывший купеческий двухэтажный кирпичный особнячок в центре города по Октябрьской улице, № 47¹¹, ремонтом которого Гросскопф занимался все лето и осень 1924 года. Необходимо было перепланировать здание, провести коммунальные работы, переложить печи, заменить электрооборудование. Задачи были непростые в условиях всеобщего дефицита строительных материалов и рабочей силы. В городе Новониколаевске, превратившемся из небольшого окружного городка с 60 000 жителей в столицу Сибири, шло бурное строительство, ремонтировались старые и возводились новые, главным образом, деревянные здания. Все стоило баснословно дорого, приходилось экономить и использовать самые простейшие материалы.

Для ремонтных работ были наняты рабочие строительной фирмы «Сибстройпай», которая, как вскоре выяснилось, оказалась в высшей степени неэкономичной, работала с большими издержками. «Рабочие заламывают цену, — писал в одном из своих очередных донесений в МИД Гросскопф, — и затягивают работы. В городе невозможно достать сухих досок, хорошей импортной краски, а местные, плохого

⁷ PA AA. Personalia. Bd. 199 (3).

⁸ Экзекватура Гросскопфа в переводе с русского на немецкий язык в PA AA. R 83629.

⁹ Письмо Гросскопфа в МИД от 20 мая 1925 г., в котором он поблагодарил рейхспрезидента за оказанную ему честь // PA AA. Personalia. Bd. 199 (3).

¹⁰ PA AA. R 84215.

¹¹ После закрытия консульства в нем располагался детский противотуберкулезный диспансер, а ныне там находится гомеопатическая аптека.



качества полуфабрикаты можно купить только на базаре и по невыносимым ценам. Нет железа, электрических приборов и материалов, нет огнеупорных кирпичей для печей». В результате дорогой масляной краской были выкрашены только небольшая ванная комната, две печи, панели на кухнях и гардероб, а также узкие полоски тех стен, у которых должны были стоять мочные столы. Все остальное, стены на кухнях, прихожие и кладовые, были побелены простой белой глиной. У фирмы пришлось изъять некоторые отделочные работы и электропроводку, поручив их сторонним рабочим — консульство сэкономило на этом почти одну тысячу рублей.

Коммерческое образование пригодились Гросскопфу при окончательном расчете со «Сибстройпаем», затянувшим сдачу работ до конца декабря 1924 года. Получив счет на 5 253,29 золотых рубля, он обратился в Сибревком с просьбой подключить к проверке расчетов органы государственного контроля. Сибревком организовал комиссию из двух дипломированных инженеров и техника-строителя, которая установила сумму в 4 103,22 рубля. Эти деньги и были в итоге выплачены фирме¹².

На верхнем этаже здания, куда вела высокая деревянная лестница, были устроены жилые помещения для семьи консула (брак его с Лидией Доротеей Бергбом, прибалтийской немкой, оставался бездетным), неженатого оберинспектора (секретаря) Феликса Гюбнера и семьи (жены и двоих детей) помощника секретаря Вильгельма Кремера. Двухкомнатная квартира последнего имела автономный выход во двор здания. На первом этаже располагались служебные помещения и приемные для посетителей.

Думается, что скромное жилище консула и остального консульского персонала вполне отвечало духу и обычаям того времени, хотя и не было обусловлено, как в случае с советскими представительствами за рубежом, «специфическими затруднениями, вытекающими из основного общественного и бытового различия между советским государством и всеми остальными». Согласно такому различию, представительские учреждения советского государства рабочих и крестьян, с его особым жизненным укладом, «определяемым общественно-моральными воззрениями трудящихся классов», обязаны были «в условиях не только своего личного, но и служебно-дипломатического обихода» соблюдать ту простоту форм и экономию в расходах, «какие соответствуют духу советского режима»¹³.

2. Новониколаевск—Новосибирск глазами иностранцев

Что представляла собой столица Сибири, город Новониколаевск, переименованный в Новосибирск 12 февраля 1926 г., в котором Гросскопфу предстояло прожить 13 лет? Воспользуемся для этого теми описаниями и впечатлениями, которые оставили побывавшие в нем в 1920-е — начале 1930-х гг. заезжие немецкие путешественники.

К концу 1920-х годов Новосибирск, по словам профессора Гельмута Ангера, стал самым оживленным городом Сибири, его называли «сибирским Чикаго». Такое название, однако, Ангер считал «сильным преувеличением». В конце 1920-х годов каменное строительство в Новосибирске действительно шло весьма бурными темпами, на что обратил внимание корреспондент газеты «Франкфуртер Цайтунг» Артур Вальтер Юст, но «огромное скопление монументальных зданий» наблюдалось лишь на весьма ограниченном пространстве. «Когда улеглось первое удивление от современных каменных монстров на сибирских просторах, — писал Юст, — этот огромный, похожий на американский, город стал казаться неким балаганным чудищем (Schaubudenstck): говорящая голова без тела и членов». Всего две-три мощные улицы в самом центре, все остальные улицы — это песчаные дороги¹⁴. По мне-

¹² РА АА. R 84215.

¹³ Руководящие указания полномочным представителям Союза ССР за границей // СЗ СССР. 1924. № 26. Ст. 223. С. 402.

¹⁴ Цит. по: Heeke M. Monster. «Mit Ilsebill freiwillig nach Sibirien». Reisen nach Sibirien und Fernost waehrend der Zwischenkriegszeit // Deutsche auf dem Ural und in Sibirien (XVI—XX. Jh.) Forschungsbeiträge der wissenschaftlichen Konferenz «Deutschland — Russland: historische Erfahrungen interregionaler Zusammenarbeit im XVI—XX. Jahrhundert». Ekaterinburg, 2001. S. 346—375. (Немцы на Урале и в Сибири (XVI—XX вв.). Материалы научной конференции «Германия — Россия: исторический опыт межрегионального взаимодействия...». — Екатеринбург: Изд. «Волот», 2001. С. 353.



нию Юста, Томск, бывший духовный и культурный центр предреволюционной Сибири, «имел более цивилизованный облик, чем Новосибирск».

Передвигаться по городским улицам было удобно разве что зимой, на санях, в которые впрягались сильные сибирские лошади. Примечательной была поездка вниз по Красному проспекту, центральной улице города, которая выводила на холмистую, шедшую вдоль заснеженной реки Оби, раскатанную санями дорогу, покрытую бороздами и ямами. Весьма острые ощущения испытал архитектор Вольтерс, прокатившийся однажды по этой дороге и едва не умерший от страха, когда его сани, несшиеся с огромной скоростью, опасно сблизилась со встречными. «Это были великолепные зимние поездки, и я повторял их так часто, как только мог», — писал тем не менее он¹⁵.

Главным средством, которое связывало сибирскую столицу с европейской Россией, оставалась Транссибирская железнодорожная магистраль. До 1914 года там ходили поезда-люкс «Международной компании спальных вагонов» («Wagons-Lits»), перевозившие пассажиров с крайнего запада Европы (Лазурного берега и Каналкюсте во Франции) до крайнего востока России — Владивостока — и дальше — в Пекин.

Являясь важным стратегическим объектом в годы Гражданской войны, магистраль была сильно повреждена, и движение по ней восстанавливалось в замедленном темпе. Упомянутый д-р Асмис, вынужденный в 1922 году передвигаться по ней, удовольствия от своего путешествия, мягко сказать, не получил. В деревянных нарах в вагонах водились клопы, умывальники находились в жалком состоянии. Движение по линии было небезопасным, часто случались аварии, вызванные техническими дефектами, такими как поломка осей или разрушение размытых водой насыпей. За время поездки от Москвы до Читы Асмис был свидетелем трех несчастных случаев, один из которых — с человеческими жертвами.

Противоположные впечатления, уже в 1926 году, остались у профессора Ангра, когда, после длительного путешествия в конной коляске и почтовых поездах, тот пересел в Новосибирске на Сибирский экспресс, доставивший его в Иркутск. Экспресс, даже в жестких вагонах, выглядел очень чистым и ехал со скоростью, сильно превышающей скорость поездов, шедших по соседнему пути.

Еще более разительные перемены произошли в 1932 году, когда созданное в СССР государственное ведомство «Интурист» стало заботиться об обеспечении иностранным путешественникам «самого короткого, удобного и дешевого пути» на Дальний Восток. Путешествие от «Интуриста» в отношении комфорта должно было превзойти даже путешествие дореволюционное. На Транссибирской магистрали стали вводиться первые в СССР спальные вагоны. Скоротать время в пути помогала укомплектованная литературой на иностранных языках библиотека. Проводники вагонов могли предложить пассажирам шахматы и домино. Поезда сопровождали также представители «Интуриста»¹⁶.

В таком транссибирском экспрессе ехал от Москвы до Новосибирска летом 1932 года архитектор Вольтерс. В вагоне-ресторане пассажирам подавали икру, крабы, мясо, паштеты, горячее. Все блюда имели превосходный вкус. Ехавший вместе с архитектором инженер заметил: «Такой еды Вы здесь в Сибири больше никогда не увидите». Впрочем, это угощение было далеко не для всех доступно: обед с закусками стоил 8 руб. (17,30 рейхсмарок), бутылка вина — 12 руб. (около 26 рейхсмарок). «Интурист» оценивал в 1932 году полное обслуживание в вагоне-ресторане в 3,3 доллара (около 14 рейхсмарок) в день.

Попасть на этот «элитный» экспресс в Новосибирске было не так-то просто. Гросскопф, не имевший навыка прибегать к протекции местных властей, в течение всего своего пребывания в Сибири будет испытывать трудности с покупкой билетов на него, в особенности при отправке спешивших с отъездом из Сибири германских граждан.

Конечно, можно было поехать и на простом пассажирском или почтовом поезде, также курсировавшем между Москвой и Владивостоком. Но путешествие в нем не было столь комфортным, как в экспрессе, да к тому же такие поезда часто опаздывали. Поездки в сторону от главной железнодорожной магистрали были еще более обременительными. Здесь многочасовые ожидания были правилом.

¹⁵ Heeke. S. 360.

¹⁶ Heeke. S. 355—356.



Однако стоит отметить тот факт, что в зимнее время сибирские поезда хорошо отапливались. К положительным сторонам железнодорожного путешествия можно причислить и неизменно оптимистическое настроение советских пассажиров, подогреваемое дружным хоровым пением. Особенно этому явлению удивлялись немцы, которые во время поездок словно дают обет молчания и почти никогда не вступают в разговоры с соседями по купе (это из личного опыта автора. — Л. Б.).

Альтернативы железнодорожному транспорту в те годы почти не существовало. Пароходы по сибирским рекам ходили редко (по Оби и Иртышу, к примеру, в 1926 году курсировало всего 30 штук). В основном это были небольшие суда дореволюционной постройки, хотя сохранялись и многоэтажные, имевшие номера «люкс», первого и второго классов. В целом, удобства на речных судах оставляли желать лучшего. Главной бедой была огромная скученность пассажиров. На речной пристани в Новосибирске летом 1932 года архитектор Вольтерс застал огромную толпу людей с узлами и детьми (такую же, как, впрочем, и на вокзале), которая штурмом взяла подошедший к ней «довольно старый» пароход «Дзержинский»¹⁷. Намеревавшийся отдохнуть во время пути в Томск, заграничный специалист с большим трудом пережил все перипетии этого путешествия.

Что касается самолетов, то они стали летать из Москвы в Сибирь в середине 1920-х годов, но перевозили только военных, инженеров и руководящих работников. (Для сравнения: в Америке уже в середине 1920-х годов действовало 100 авиакомпаний, которые за 20 месяцев обслуживали около 300 000 пассажиров). Первая пассажирская линия между Москвой и Иркутском стала действовать в 1931 г., а с 1932 г. Сибирь стал обслуживать созданный в этом году «Аэрофлот». Полет был рассчитан на 22 часа, но, как правило, продлялся часов на шесть, и до прибытия в Новосибирск пассажиры успевали побывать в Казани, Кургане и других городах, расположенных вдоль Волги. В 1932 году начали действовать и местные авиалинии, к примеру, между Хабаровском и Александровском на Сахалине. Гросскопф никогда не летал на самолете, предпочитая ему железнодорожный транспорт.

Затрачивая много времени на пребывание в пути по сибирским просторам, заграничные путешественники, ученые, инженеры, журналисты, не могли рассчитывать на комфортный отдых и в гостиницах. Поначалу, сразу после Гражданской войны, гостиницы — в лучшем случае — предоставляли в пользование железную кровать, на которой надо было самостоятельно устраиваться, используя спальный мешок и одеяло. Но это было еще полбеды, беда приходила ночью — в виде сонмища кровососущих насекомых, превращавших ночлег в поле битвы. «Только величайшему оптимисту такое путешествие могло доставить радость», — заключал свой рассказ о ночлегах в городах между Иркутском и Владивостоком в 1922 г. дипломат Асмис¹⁸. Не лучше обстояло дело в городе Омске. После его посещения профессор Ангер на вопрос, что ему не нравится в Советском Союзе, уверенно ответил: «Клопы в моем слишком дорогом гостиничном номере». Он, впрочем, тогда еще не успел побывать в Бийске — там, в «лучшем в Сибири отеле», к насекомым присоединились крысы и мыши. Жесткие железные кровати нашел в Новосибирске в новой дорогой монументальной, но не слишком чистой гостинице, в 1932 г. журналист Юст. Рудольф Вольтерс в этом же году, прибыв в Новосибирск, был размещен в «пустую, серую... гостиницу “Центральная”, где не было воды и никаких других удобств»¹⁹.

В 1930-е годы существовала еще одна проблема — как накормить иностранного гостя. Не проехав и полдороги, после Свердловска, Артур Юст, к примеру, пришел уже к твердому выводу: получить в гостинице удовлетворяющую европейца пищу невозможно. При чрезвычайно высоких ценах (в Новосибирске в единственном открытом для публики ресторане обед стоил 10-20 рублей — около 21-42 рейхсмарок), без поддержки работодателя или «Интуриста» прокормиться не смог бы и столь хорошо зарабатывавший специалист, каковым был архитектор Вольтерс, получавший ежемесячный оклад в размере 600 руб.

Все это вместе взятое отнюдь не делало привлекательными для иностранцев поездки в Сибирь и на Дальний Восток. А ведь эти поездки были сопряжены вдоба-

¹⁷ Несмотря на свою «старость», этот пароход будет перевозить в 1942 г. поволжских немцев на север Новосибирской области, на рыбные заготовки Нарымского края.

¹⁸ Heeke. S. 361.

¹⁹ Ibid.

вок и с риском подвергнуться нападению разбойничьих банд, каковые даже в 1926 году еще орудовали на улицах сибирских городов. Консул Гросскопф, провожая профессора Ангера в поездку на Алтай, добыл ему разрешение на ношение оружия. Опасаться здесь надо было, как подчеркивал другой путешественник, Эдгар Гартманн, не только медведей, тигров и волков, но и людей, диких бродяг, которые не боялись нападать на путешественников.

При всем при этом практически все иностранцы подчеркивали свои прекрасные впечатления от гостеприимства и готовности помочь приезжим, которые демонстрировали сибиряки. Иностранцев приглашали в гости, щедро угощали всем, чем могли, навещали их в случае необходимости. «Меня никогда не принимали так сердечно, с распростертыми объятиями, как мои русские коллеги в Новосибирске, — писал Рудольф Вольтерс. — Тотчас же растапливался самовар, на стол ставили водку, селедку и немного черного хлеба — все, что имели добрые хозяева, все для гостя»²⁰. О том же писали и другие немецкие специалисты, вернувшиеся из Сибири, пока национал-социалистические издательства позволяли им это делать. С 1934 года в Германии уже не появится более ни одного свидетельства побывавших в Сибири немецких путешественников...

3. Об экономике и консульских докладах

Главное большое дело, которое Гросскопф пытался осуществить с первых лет своего пребывания в Новосибирске, — это восстановление экономических связей и культурного обмена между Германией и Сибирью. Еще до отъезда в Новониколаевск он установил контакты с руководителями экономических союзов Германии, таких как «Имперский союз немецкой промышленности», «Немецко-русский союз», «Индустрия и торговля», с заинтересованными кругами германских импортеров сырья и сибирской продукции, с экспортерами сельскохозяйственных машин и оборудования.

Ни в патенте, ни в экзекватуре, ничего не говорилось о важной функции, относящейся к «предметам консульской информации», которая предусмотрена нормами международного права и закрепляется обычно в консульском уставе. Для содействия развитию экономических, политических, научных и культурных связей имеющих консульские отношения государств консулы должны поставлять своему правительству и заинтересованным учреждениям и организациям информацию об экономическом положении, о социально-политических и культурных процессах в районе своего пребывания. Такую работу Гросскопф выполнял, кажется, с особым удовольствием, тем более что происходящее в СССР вызывало огромный интерес не только в Германии, но и во всем мире.

В течение первых двух лет пребывания на посту консула, совпавших с пиком сибирского нэпа, из-под пера Гросскопфа вышел добрый десяток аналитических записок для деловых кругов Германии с характеристикой экономических возможностей Сибири. В них, наряду с констатацией практически полного прекращения всяческих связей Германии с Сибирью, намечались возможные пути их возобновления. Первые обстоятельные доклады о внутривосточном и экономическом положении округа были отправлены через посла в Москве иностранному ведомству уже в январе-феврале 1924 г. В них консул подчеркивал четко наметившуюся тенденцию укрепления советской власти в Сибири и почти полного изживания сепаратистских настроений. «Разработанная и распропагандированная частью социал-революционеров во время гражданской войны сепаратистская идея, которая была подхвачена рядом очень уважаемых в обществе личностей в качестве противоположной большевизму и к которой, однако, массы отнеслись безразлично, теперь, после полного искоренения социал-революционеров, принадлежит уже истории. Осуществляемый Сибревкомом в строго централистском смысле контроль и управление отдельной губернией Москва держит сегодня на поводке гораздо лучше, чем, может быть, это было в предвоенное время. И отдаленная Енисейская губерния или автономная республика Якутия образуют сегодня, независимо от разницы в их названии, такую же незыблемую составную часть РСФСР, как Тульская или Рязанская губернии», — писал он в февральском известии²¹.

²⁰ Heeke. S. 364.

²¹ Bericht an dem Deutschen Botschafter Herrn Grafen von Brockdorff-Rantzau in Moskau. 3 февраля 1924 // PA AA. Bd. 197.



Доклады Гросскопфа о внутривластном и экономическом положении его округа были основаны, прежде всего, на материалах официальной статистики и периодической печати. Огромную роль играли личные впечатления от бесед с местными партийными, советскими и хозяйственными руководителями, представителями культурной и научной общественности. Высокий уровень компетентности сибирского консула объяснялся, между прочим, одним важным обстоятельством. За годы пребывания в Сибири Гросскопф обрел здесь широчайший круг знакомых и доверенных лиц в местном истеблишменте, в советской и партийной элите, среди хозяйственников, интеллигенции, врачей, инженеров, профессуры. Согласно протоколу, он являлся постоянным участником всех советских торжеств, регулярно посещал парады войск местного СибВО, физкультурные мероприятия и иные празднования. Без особого удовольствия, но по долгу службы, Гросскопф разделял охотничьи радости отцов города, отправляясь с ними в заповедные уголки на тетеревов.

Охота сдружила его с главным физкультурным начальником — Полномочным Представителем ОГПУ по Сибирскому краю, будущим заместителем наркома внутренних дел СССР Леонидом Михайловичем Заковским, до поры до времени оберегавшим консула от разрастающейся в стране шпиономании. Особое значение имели его «хорошие служебные и приватные отношения» с председателем Сибревкома, главой Сибирского края, Михаилом Михайловичем Лашевичем [4], которого сменил на посту Председателя Крайисполкома в 1925 г. Роберт Индрикович Эйхе [5], бывший с 1924 г. заместителем у Лашевича. Сообщая в Аусамт (МИД) о его назначении, Гросскопф писал: «председатель Эйхе по отношению к моим предложениям ведет себя по-деловому. Его отношение к консульству весьма корректно». Всегда шел навстречу ему в решении сложных дел следующий «сибирский краевой президент», сменивший Эйхе, занявшего в 1929 г. пост секретаря Западносибирского крайкома ВКП (б), Степан Матвеевич Кузнецов, которого Гросскопф считал «маштабной личностью с широким кругозором». Но и он в начале 1930 года уехал в Москву в Госплан. Председателем Западно-Сибирского краевого исполнительного комитета стал Ф. П. Грядинский, с которым у Гросскопфа поначалу также установились хорошие деловые отношения. Частыми гостями в доме Гросскопфа были заведующий идеологическим отделом крайкома ВКП (б), бывший зав. Истпартом, Вениамин Вегман, начальник ИНО Краевого исполнительного комитета Владимир Ваганов и другие.

Все эти многочисленные друзья и знакомые, в свою очередь, тоже не забывали посещать знаменитые в городе консульские приемы, на которые Гросскопф, не имевший детей, тратил не только представительские, но и свои личные средства. Для обслуживания гостей консул содержал от четырех до пяти высокооплачиваемых домашних работниц, приобрел достаточное количество посуды и мебели (буфет из консульской столовой, разрисованный охотничьими трофеями, до сих пор украшает один из интерьеров Областного краеведческого музея в Новосибирске).

Еще одним важным источником информации были для консула донесения доверенных лиц (фертрауенслейте) из числа германских граждан, проживавших в Сибири: инженеров, архитекторов, ученых, других специалистов, имевших, как правило, весьма тесный контакт с консульством. Важными «наблюдательными постами» в германском МИДе считались также концессионеры, поставлявшие информацию о запасах и разработках сырья в СССР. Представители немецких сел (колоний) сообщали данные о жизни советской глубинки, куда доступ консулам и сотрудникам посольства был весьма затруднен. Отдельный раздел в докладах Гросскопфа традиционно касался обстановки в немецких колониях. В 1929—1930 гг., на пике коллективизации, этой теме он будет посвящать специальные сообщения.

В итоге у Гросскопфа рождались не просто обзоры, но своего рода исследования, как по общей характеристике состояния консульского округа, так и по отдельным частным проблемам жизнедеятельности консульства и его окружения, содержащие, ко всему прочему, мнение современника, весьма компетентного специалиста-аналитика и тонкого наблюдателя.

Тщательный анализ экономического положения Сибири и состояния ее торгово-экономических связей с Германией привело Гросскопфа к весьма неутешительным выводам. Главные из них он изложил в своем докладе послу Брокдорф-Ранцау от 27 января 1925 г. «О положении служебного округа консульства Новониколаевс-



ка», копия которого была отправлена в МИД²². В докладе констатировалось, что Германия полностью утратила здесь все свои довоенные позиции. «Ни один предмет из заграничных поставок в Сибирь разнообразных материалов, — писал Гросскопф, — не покупается в Германии²³. Эти товары (молочные машины и аппараты, металлы и металлические изделия, химические продукты и лекарства, бакалея, канцелярские товары) на общую сумму примерно в 10-12 миллионов золотых марок, закупаемые Лондонским торговым представительством России, доставляются в Сибирь на английских судах «Карской экспедицией». Англия, считал Гросскопф, превратилась в настоящего монополиста в сибирской торговле, поскольку в ее руках оказался сосредоточен и почти весь экспорт сибирского масла и пушнины. Из 689 000 пудов вывезенного в 1924 г. из Сибири масла более 500 000 пудов попало в Англию. Российскую пушнину германские фирмы были вынуждены закупать на аукционах Лондона. Причина столь ненормального положения дел заключалась, по его мнению, не только в предшествовавших событиях, войнах и революциях. Сказывалось общее неблагоприятное экономическое положение послевоенной Германии. Сыграли роль и те ограничения, которые были установлены советской Россией с введением государственной монополии внешней торговли. Но все же главную вину он возлагал на торговые круги Германии, которые проявили пассивность и недальновидность, занимаясь в 1921—1922 гг. «конъюнктурными делами», вместо того чтобы обеспечить себе на будущее времена отличный рынок сбыта в России, что при тогдашних обстоятельствах сделать было гораздо легче, чем теперь. Теперь же Германии предстояло испытать растущую конкуренцию английского и американского капиталов, успешно проникающих в сибирскую экономику²⁴.

Под «конъюнктурными делами» имелась в виду нерешительность промышленных кругов, от позиции которых в значительной степени зависела выработка восточной политики Германии в правительственных сферах, колебания между Востоком и Западом в поисках пути выхода из унижительного положения, в котором страна оказалась после окончания войны. В конечном счете, эти поиски, как мы знаем, привели к Рапалло.

Думается, вывод о том, что в укреплении «рапальского курса» значительную роль сыграла деятельность консулов, внимательно изучавших сложившуюся на местах ситуацию и через свое ведомство побуждавших правительство Германии к энергичным действиям в отношении нэповской России, не будет слишком категоричным.

Данными Гросскопфа сумел воспользоваться «Германо-Российский союз развития торговых отношений», основанный в 1899 г. В сборнике «Deutsch-russisches Vertragswerk...» (1926) были помещены собранные консулом сведения и, в частности, перечислены организации столицы Сибирского края, занимавшиеся внешней торговлей, в том числе сельскохозяйственными продуктами: акционерное общество «Хлебопродукт», Сибирский Союз сельскохозяйственных кооперативов («Сибсельскосоюз»), Сибирский краевой союз потребительских обществ («Сибкрайсоюз»). Главным среди них было Сибирское государственное бюро по импорту и экспорту — «Сибгосторг».

Благодаря активным действиям сибирского консула Сибирь, воспользовавшись плодами недолгого нэпа, активизировала экспорт в Германию масла. Так, за первую половину 1925 г. стоимость вывезенного из Сибири масла, согласно немецким данным, выросла с 3,1 млн марок (1924 г.) до 3,7 миллионов. В конце 1920-х годов, по данным сибирских властей, в Германию направлялось уже до 35 % всего сибирского масляного экспорта.

Заботами Гросскопфа пользовалось и германское посольство в Москве, ежемесячно съедавшее по шесть-восемь бочонков считавшегося лучшим в России сибирского масла. (Поставки были прерваны в августе 1929 г. в связи с начавшейся в округе Гросскопфа эпизоотией сибирской язвы.)

На прямые связи с Внешторгом, расширившим свои поставки сибирской пушнины на аукционы Берлинского торгового представительства, вышел в эти годы и

²² Доклад опубликован в русском переводе: Белковец Л. П., Белковец С. В. 1924 год в Сибири в докладах Германского консула Георга Вильгельма Гросскопфа // Немецкий этнос в Сибири. Вып. 3. Новосибирск, 2002. С. 130—145.

²³ Именно Германия занимала первое место в товарообороте России в предвоенном 1913 г. Она стояла на втором месте по импорту (13, 2 % германского импорта) и на третьем месте по экспорту (8,7 %) // Staatliches Jahrbuch für das Deutsche Reich. Berlin, 1927. №. 10. S. 232.

²⁴ PA AA. Bd. 197.



Лейпциг, еще в 1924 г. покрывавший свои потребности в ней на аукционах Лондона. В Лейпциге было открыто специальное отделение по экспорту пушнины Берлинского российского торгпредства («Пушторг»). Можно думать, что именно Сибирь, как и прежде, давала большую часть вывозимой за рубеж пушнины, хотя данных на этот счет обнаружить не удалось. Но есть данные по общей совокупности германского вывоза из СССР в 1926—1927 гг. В нем доля азиатской части России составляла в 1926 г. почти 7 % всего немецкого импорта (21 млн. марок из 322,5). Главными статьями являлись пушнина, хлеб (зерно и мука), фураж, масло. Примерно в этих же пределах находился и ввоз в Сибирь товаров из Германии (25 млн. марок в 1925 г., 21 млн. марок в 1926 г.). Это были химические продукты, изделия из металлов, бумага и картон, краски и красящие вещества.

Что касается хлебного экспорта советской России, то его динамика изменилась в 1927 г., когда в связи с резким сокращением предложения хлеба и повышением цен на него заготовительные организации стали все больше «поглядывать» на восточные регионы страны. В последнем квартале 1927 г. Сибирь дала свыше 27 % хлебного экспорта. Правда, сибирское зерно, в связи с отсутствием складского оборудования и транспортными затруднениями (на которые, кстати, указывал в своем докладе еще за 1924 год Гросскопф), имело повышенную влажность, порождавшую сложности с его реализацией на внешнем рынке.

Немецкие консулы пытались также инициировать договоры о концессиях, и несколько таких договоров с советскими властями было заключено. Так, в Сибири были оформлены концессии фирмы «Briener & Comp.» на эксплуатацию серебряных, свинцовых, медных и цинковых рудников в Тетюхе, фирмы Х. Штольценберга на эксплуатацию золотого рудника в Томской губернии. В декабре 1927 г. Новосибирск в числе еще восьми крупных провинциальных городов России (Краснодара, Новороссийска, Свердловска, Казани, Ивано-Вознесенска, Твери, Смоленска и Астрахани) заключил с «Товариществом немецких строительных подрядчиков» («Gemeinschaftsgruppe deutscher Bauunternehmer für russische Bauarbeiter») предварительный договор о намерениях на проектирование и проведение канализационных работ. Фирма, коротко именуемая «Гедебаруба», обязывалась произвести проектные работы, представить их городским властям, а после согласования с ними и внесения в проект предложенных ими изменений, утвердить его в Москве в Центральном управлении коммунального хозяйства. После этого предполагалось составление окончательного проекта со всеми подсчетами стоимости предстоящих работ, цен на материалы, заработную плату, социальное обеспечение рабочих и т. п. Однако этот дорогостоящий проект мог быть осуществлен только при режиме «наибольшего благоприятствования» ему государственных советских органов — город, к примеру, обязан был принять и разместить весь заграничный технический и торговый персонал (фирма могла завозить 50 % технического и 40 % рабочего персонала из-за границы), обеспечить его соответствующим жильем. Надо было строго соблюдать финансовую дисциплину, в частности, своевременно, согласно плану, выделять необходимые средства. Фирме же необходимо было разрешить перевод денег в виде трансфертов через госбанк за границу в любое удобное для нее время и в любом удобном для нее количестве. В Сибири выполнение этих обычных для международной практики условий было практически невозможно. Проект не был утвержден, и Новосибирск соорудил свою канализацию собственными силами. Во всяком случае, следов дальнейшего участия немцев в этом деле обнаружить не удалось.

12 октября 1925 г. был заключен советско-германский экономический договор, который сумел решить трудную задачу — «переброски моста между двумя столь различными правовыми и экономическими системами». В нем самым удовлетворительным образом разрешался вопрос о въезде, о правах на занятие промыслами, о защите имущества, об охране промышленной собственности, о третьейском разбирательстве в гражданских делах. Что же касалось такого сдерживающего развитие фактора, как монополия внешней торговли в СССР, в которой отдельные политики видели «средство охраны страны от германского ввоза», то в немецких политических кругах в момент заключения договора сохранялась надежда на ее отмену в скором времени.

О тематике дел, которыми занималось консульство в 1920-е—начале 1930-х гг. ради укрепления экономических связей Сибири с Германией, рассказывает перечень депеш, отправленных консульством в посольство. Она весьма разнообразна: об

охотничьих туристических поездках в Сибирь, о посылках немецкой литературы и журналов в места проживания российских немцев, поставках овечьих ножниц, немецкого породистого скота, продовольствия, медикаментов, рекламы немецких машин и т. д., и т. п.²⁵

В консульских докладах в 1920-е гг. затрагивался вопрос о соотношении в экономике России частного и государственного секторов, о состоянии внешней и внутренней торговли, о возможностях распространения германского предпринимательства (капиталов, концессий, торговли). Гросскопф писал и об участии в освоении Сибири иностранных капиталов. На основе консульских докладов посольство Германии в Москве составляло ежегодные обзоры состояния дел в СССР, направлявшиеся в МИД. Важное место в них, наряду с разделами, посвященными политическим вопросам (внутренняя и внешняя политика), занимали характеристики финансов, торговли, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, военного строительства. Отражались и социальные вопросы (движение населения, эмиграция, зарплата, быт, цены, настроения людей). Копии консульских и посольских докладов Аусамт рассылал в разные имперские и земельные министерства и ведомства, в другие государственные органы и экономические союзы²⁶.

Как справедливо отмечал в своем исследовании Кристоф Мик, германское правительство было информировано о происходящем в СССР гораздо лучше, чем какое-либо другое правительство. «Ничего из того, что случается в России, не остается неизвестным нам», — считали в Аусамте²⁷.

4. Дела бывших военнопленных

Помимо организации консульского представительства Гросскопф уже в первые месяцы своего пребывания в Сибири занялся делами бывших военнопленных. Массовое интернирование германских военнопленных и гражданских лиц состоялось в 1920—1921 годах. Но тысячи человек по разным причинам остались в России. Одних привлекла Сибирь, где, как казалось, можно было устроить нормальную обеспеченную жизнь; другим удача улыбнулась еще во время лагерного пребывания, когда, размещенные в крупных городах, они получили возможность зарабатывать деньги, нанимаясь на разные работы к частным предпринимателям (личные услуги, домашняя прислуга, конторщики, приказчики и т. п.)²⁸. Многие бывшие германские и австрийские военнопленные сумели к этому времени обзавестись семьями и детьми и остались в Сибири в силу своего семейного положения...

Так, попытку осесть на сибирской земле предприняли семеро бывших пехотинцев, добровольно отказавшихся от возвращения на родину и основавших в деревне Кимильтай Иркутской губернии коммуны российских немцев-коммунистов «Родина». Здесь они занялись сельским хозяйством и промыслами. Главным поводом создать коммуну, как считал Гросскопф, было желание овладеть огромным складом с продуктами, одеждой, бельем и прочими товарами, принадлежавшим германскому Красному Кресту и расположенным на железнодорожной станции Кимильтай. В августе 1920 г. в «коммуне» числились 83 члена (из них пять коммунистов, остальные — сочувствующие). К сожалению, ожидания обеспеченной жизни в России не оправдались, дела коммунаров шли не слишком хорошо, и в начале 1922 г. они обратились к германскому правительству с просьбой оказать им материальную помощь, которую можно было бы считать компенсацией за их отказ вернуться домой. Каждому новоиспеченному немецкому колонисту в итоге было выделено «из частных средств» по 1 тыс. марок²⁹. Дальнейшая судьба коммунаров не прослеживается по документам, кажется, что позже, когда были проедены и эти деньги, они вернулись на родину³⁰.

²⁵ Bundesarchiv. R 9215. Bd. 197, 198.

²⁶ О широком использовании еженедельных четырехстраничных докладов новосибирского консула посольству Центральной службой Германии, обрабатывавшей зарубежную экономическую информацию, писал Кристоф Мик. См.: Mick, Christoph. Sowjetische Propaganda, Fuenfjahrplan und deutsche Russlandpolitik 1928—1932. Stuttgart: Steiner, 1995. S. 60—64.

²⁷ Mick Christoph. Op. cit. S. 65.

²⁸ См.: «Распоряжение Временного правительства от 17 марта 1917 г. о переводе всех, использующихся частными лицами военнопленных на сельскохозяйственные работы» // ГАТО. Ф. 3. Оп. 19. Д. 1702. Л. 210.

²⁹ Akten der Vollmächte und Entscheidung von 15. Juni 1922 // PA AA. R 60200.

³⁰ PA AA. Bd. 82.



Значительную часть оставшихся в Сибири военнопленных составляли участники движения «интернационалистов», в которое влились члены бывших немецких организаций левого толка, в том числе союза «Спартак». Они сотрудничали с новой властью и получали разного рода, большие и малые, посты в новых руководящих структурах. В Сибири в 1920 г. германскими и австрийскими военнопленными были укомплектованы Национальный отдел при Сибревкоме (Сибнац), в котором наряду с эстонской, латышской, татарской и другими была организована немецкая секция. В Омске, Томске, Барнауле, Красноярске, Иркутске, Семипалатинске и Новониколаевске работали губернские, а в 10 уездах компактного проживания немцев — уездные национальные отделы в советских органах. Национальные отделы и немецкие секции действовали в Сиббюро ЦК, при губернских и уездных комитетах РКП, иностранные отделы были сформированы при уездных партийных комитетах. «Интернациональные батальоны» функционировали в Красной Армии. Немецкие секции были созданы также при губернских отделах народного образования (в Омске, Барнауле, Красноярске). Главной задачей их была пропаганда коммунистических идей посредством национальной печати и литературы, которые должны были помочь «классовому расслоению», «росту классового самосознания» национальных меньшинств³¹. Немецкой секции при губнаробразе было поручено организовать работу немецких школ в сибирских колониях.

После подписания Соглашения 19 апреля 1920 г. о возвращении на родину, о чем власти, согласно договоренностям, оповестили пленных «посредством правительственного сообщения», руководство секций развернуло в Сибири массовую пропагандистскую кампанию с целью предотвратить выезд в Германию «интернационалистов», с одной стороны, и выковать из отъезжающих в Германию настоящих борцов за дело мировой революции, с другой. Были организованы многочисленные заседания, митинги, собрания, лекции, конференции разных уровней, на которых партийные эмиссары произносили речи об интернационализме, задачах мировой революции и советской власти, в мрачных тонах изображали политическое и экономическое положение послевоенной Германии.

Так, летом 1920 г. отправился в служебную поездку по Сибири заведующий Немецкой секцией при Губнаробразе в Омске бывший германский военнопленный Рудольф Кизилевский. Одной из задач его путешествия была агитация среди немцев в связи с начавшимся возвращением на родину. Во всех городах, крупных и мелких (от Омска до Иркутска), он встречался с активистами, проводил разнообразные мероприятия, отчет о которых сохранился в ГАНУ. На встречах он произносил на немецком языке речи «о значении коммунизма», об интернациональных организациях, обязательно «давал подробное описание того, что сейчас творится в Австро-Германии», чтобы убедить «возвращающихся на родину товарищей в том, что их там ожидает мало радости»³².

Результатом этой и других аналогичных акций стало то, что тысячи настроенных прокоммунистически военнопленных не захотели возвращаться на родину и остались в Сибири строить новое социалистическое государство. Другие, промедлив, утратили право на бесплатный выезд, и столкнулись потом с массой сложностей, связанных с хозяйственной и транспортной разрухой, препятствовавшей выезду.

Все эти люди стали объектом правового воздействия германского консула. Поскольку официально иностранное гражданство их не было легализовано, местные сибирские власти стали рассматривать их вместе с другими сибиряками иностранного происхождения советскими гражданами и в 1923 г. начали их мобилизацию в Красную Армию. Германскому послу в Москве Брокдорф-Ранцау по просьбе Гросскопфа пришлось вмешаться и принести «решительный протест» Г. В. Чичерину «в связи с политикой сибирских властей»³³.

Протест возымел действие, мобилизации были приостановлены, а соответствующие органы занялись подготовкой документов, в которых определялось правовое положение немцев на советской земле. Ими стали подписанные в Москве Брок-

³¹ Голишева Л. А. Организация национальных отделов при советах на территории Сибири (1920—1921 гг.) // Вопросы истории Сибири. Томск, 1965. С. 165—175.

³² Отчет о поездке см.: ГАНУ. Ф. П-1. Оп. 9. Д. 78. Материалы о деятельности «интернационалистов» см. также в книге: Lager, Front und Heimat. Deutsche Kriegsgefangene in Sowjetrußland 1917 bis 1920. Bd. 1, 2.

³³ Telegramm von Brockdorff-Rantzau an AA. 6.11.1923 // PA AA. R 31688.



дорф-Ранцау и М. М. Литвиновым 12 октября 1925 г. торговый и консульский договоры между Германией и СССР, которыми следовало руководствоваться консулам, решая проблемы бывших военнопленных — требовалось помочь желающим остаться в Сибири с оформлением законного пребывания в СССР и отправить домой желающих выехать на родину.

Тех бывших военнопленных, которые завели семьи в местах расположения лагерей, вступив в брак с местными русскими женщинами, консулы считали навсегда потерянными для Германии, поскольку их дети говорили только на русском языке, а «сами они ощущали себя уже русскими людьми». Гросскопф, в частности, весьма сожалел о том, что лишь немногие из них продолжали сохранять интерес к происходящему на родине и поддерживать связи с консульством. Большинство отвергали или оставляли без ответа все усилия консула по оформлению их статуса и пренебрегали его требованиями оформления разрешающих пребывание в России документов — видов на жительство иностранца³⁴.

С желающими вернуться на родину дело обстояло не лучше. В январе 1924 г. консул Гросскопф снабдил германскими паспортами около 300 бывших военнопленных, проживавших в Омске. Он же инициировал и продление срока обмена военнопленными до 1 июля 1924 г. Советское правительство согласилось на предложение германской стороны, поскольку к этому времени не была закончена и реэвакуация русских военнопленных из Германии³⁵.

Всем желающим вернуться на родину разрешалось по предъявлении документа о службе в армии получить в сборных пунктах бесплатные билеты до Москвы или Петербурга, где их принимали и обслуживали уже германские власти. Местом сбора обретавшихся в Сибири немцев стал Новониколаевск. С целью хоть как-то облегчить жизнь самых неустроенных из них, Гросскопф арендовал дом и соорудил приют, для которого работавший в консульстве столяр смастерил деревянную мебель (нары и столы), а посольство прислало восемь узких войлочных матрацев, четыре подушки из птичьего пера, пять ватных одеял из простой серой материи и шесть простыней. «Все они сильно потрепаны, частично разорваны и грязны, — писал консул, — и очевидно, происходят из бывшего лагеря военнопленных, но при нынешних обстоятельствах ничего другого не остается как использовать их»³⁶.

В дальнейшем Гросскопф отправлял желающих выехать на родину бывших военнопленных на средства Германии. Все последующие годы он с помощью Сибирского краевого исполнительного комитета проводил большую работу по установлению их места жительства, составлял списки установленных, рассылал им циркуляры о возможности получить бесплатно немецкое гражданство. Он делал запросы на родину, в те места, где они родились, чтобы найти родителей, других родственников. Некоторые откликались на призыв, соединялись с консульством. Немногие даже согласились на предложение консула выехать на родину. Кое-кто, поблагодарив консула за заботу, отказывался от нее и объяснял отказ тем, что здесь, в Сибири, уже заведена семья и растут дети. Были среди нежелающих возвращаться и двоеженцы, оставившие на родине жену и 4-5 детей. Некоторые писали о том, что уже приняли советское гражданство, вступили в большевистскую партию, и сопровождали свой отказ не слишком вежливыми выражениями³⁷.

На 1.02.1928 г. в списке разысканных Гросскопфом бывших военнопленных значились 214 человек. Один из них — Пауль Пауч (рожд. 1891 г. в г. Штеттине), проживавший в Варгашином районе Курганской области, от возвращения на родину отказался, но стал помощником Гросскопфа в консульстве в качестве курьера-швейцара³⁸. Под № 195 стоит в списке имя Пауля Борста, проживавшего тогда в Иркутске. Извещение о бесплатном возвращении на родину ему было послано 21.04.1926 г.

³⁴ РА АА. Вд. 387.

³⁵ Нота НКВД СССР Посольству Германии в СССР от 24 апреля 1924 г. // ДВП СССР. Т. 7. С. 215—216.

³⁶ Письмо Гросскопфа в МИД от 23 марта 1924 г. // РА АА. R 84215.

³⁷ Так, Йозеф Шульце из Сосновки (Омская губерния) писал консулу: «Больше не беспокойте меня, пожалуйста, так как я стал гражданином РСФСР и имею об этом документы. Ехать на родину у меня нет желания, пока там отсутствует советская власть. И если здесь власть изменится, я найду путь без Вас». См.: *Listen der freiwillig im Russland zurückgebliebenen ehemaligen deutschen Heeresangehörigen* (Списки добровольно оставшихся в России бывших германских граждан) // РА АА. R 83808.

³⁸ См. о нем: Белковец Л. П. «Большой террор» и судьбы немецкой деревни в Сибири (конец 1920-х — 1930-е годы). М.: Литературное агентство «Варяг», 1995. С. 244—246.



«Он отказывается от родного гражданства, — значится в документе, — он является членом компартии и гражданином СССР»³⁹. Павел Борст сделал в СССР неплохую карьеру. Он был организатором в 1930 г. МТС в Гальшштадте, центре Немецкого района на Алтае, стал ее директором. В юбилейном для района, которому исполнилось пять лет, 1932 году, он, за заслуги в деле социалистического строительства, в том числе за самоотверженные действия во время восстания в Гальшштадте в 1930 г., был награжден орденом Ленина. В 1934 г. за «контрреволюционную деятельность» Борст был осужден на 10 лет лагерей, из которых уже не вернулся⁴⁰.

К концу 1930 года в округе Гросскопфа остались 152 бывших германских военнопленных (не считая коммунистов), большинство которых проживали в тех же местах, что и во время плена, занимались сельским хозяйством (115 были самостоятельными сельскими хозяевами), состояли в браке с русскими женщинами и «ощущали себя русскими людьми». Только 26 человек из них проживали в городах: Омске, Новосибирске, Томске, Иркутске⁴¹.

Консул организовал также уход за могилами военнопленных на многочисленных сибирских кладбищах. За два года (1925—1926) он лично объехал все места расположения бывших лагерей, в том числе такие отдаленные как Канск, Ачинск, Иркутск, Березовка. Необходимо было разыскать места захоронения и установить на могилах памятники. Он заручился в этой работе поддержкой НКВД, который снабдил его специальным обращением к местным властям об оказании ему «всяческого содействия». При этом местные административные и коммунальные органы должны были следить за тем, чтобы не были поставлены памятники, могущие вызвать «недовольство местного населения».

Около двух тысяч могил военнопленных были установлены им в пределах сибирской части консульского округа и получили свои надгробия, в том числе в городах Новониколаевске (700 могил), Омске (218), Березовке (217), Иркутске (70), Ачинске (36), Красноярске (38), Канске (61), Барнауле (190) и в других (47). Для ухода за ними в ряде мест были наняты сторожа⁴². К сожалению, никаких следов этих могил до настоящего времени не сохранилось.

В дальнейшем его деятельность на этом поприще опиралась на поддержку Народного союза Германии для обеспечения ухода за могилами военных⁴³. Постоянными в его переписке с посольством оставались темы о родном гражданстве бывших военнопленных, положении оставшихся в СССР, поддержке и помощи им.

5. Начало ухудшения отношений.

Борьба консула за права германских граждан — сельских хозяев

Немцев, побратавшихся с Советской Россией, еще долго мучили сомнения в правильности сделанного шага, тем более что западные державы расценивали его как тяжелый удар, нанесенный им в момент, когда они уже были готовы пойти на известные уступки Германии в вопросе о репарациях. Не было единодушия и в МИДе. Здесь, во главе с Карлом фон Шубертом, сложилась группа западников, которая видела возможность для Германии стать равноправным членом европейского сообщества. Не отвергая той пользы, которую имели для Германии отношения с Россией (он не был их противником), Шуберт полагал, что они не должны мешать установлению контактов со странами Запада. В конечном счете, эта концепция привела к политике, именуемой западными историками «политикой Локарно» (в отличие от «политики Рапалло»)⁴⁴.

³⁹ Listen der freiwillig im Russland zurückgebliebenen ehemaligen deutschen Heeresangehörigen // PA AA. R 83808.

⁴⁰ См. о нем: Белковец Л. П. «Большой террор»... С. 188.

⁴¹ Grosskopf an D.V.M. 26 сентября 1930 г. // PA AA. Bd. 387.

⁴² ГАНО. Ф. Р-47. Оп. 5. Д. 36. Л. 15.

⁴³ Несколько иначе обстояли дела с могилами русских воинов в Германии. Советскому консулу в Кёнигсберге оставалось лишь поблагодарить в лице обер-президента власти и население провинции «за образцовый порядок, в котором сохранялись могилы наших соотечественников, солдат и бывших военнопленных». В ответ было сказано, что «они всегда считают своим долгом следить за охраной могил не только своих граждан, павших в бою, но и иностранных воинов». См.: «Из доклада консула Мерзона полпреду СССР в Германии от 2.10.1929» // АВП РФ. Ф. 82. Оп. 13. П. 52. Д. 35. Часть этих могил сохранилась в нынешней Калининградской области.

⁴⁴ Krüger Peter. Die Aussenpolitik der Republik von Weimar. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, 1985. S. 181.



Известный российский исследователь советско-германских отношений С. З. Случ полагал в свое время, что четыре последовавших за подписанием в 1926 г. Берлинско-го договора года демонстрируют такую устойчивую тенденцию к ухудшению отношений между СССР и Германией, какой не знал никакой другой период в истории Веймарской республики. Он видел причины этого процесса в усилении тоталитарных черт советского режима, с одной стороны, и в изменении международной обстановки, связанном с ослаблением Версальской системы и, соответственно, с укреплением позиций Германии, с другой. Этот период продолжался до середины 1930 года⁴⁵.

О явных изменениях не в лучшую сторону в советско-германских отношениях во второй половине 1920-х гг. писали и немецкие специалисты. Вольфганг Михалка называл это состояние германской дипломатии «отрезвлением», наступившим после эйфории середины 1920-х гг., вызванной тяжелым состоянием российской экономики и часто проявлявшейся ненадежностью торгового партнера. В немецких экономических кругах накапливалась «усталость от России» еще и в связи с полной неясностью, что с нею будет, «и не приближается ли она к полной катастрофе»⁴⁶.

«Похолодание» в отношениях в действительности началось уже в 1927—1928 гг., чему способствовали не только причины внешнего характера, но и внутриполитическое и экономическое положение Советского Союза, вызывавшее тревогу у германских политиков. Известно, что германское правительство возлагало большие надежды на российский нэп, который должен был обеспечить «эволюцию» советской экономики и самой системы в направлении капитализма. Но развитие событий в СССР не оправдывало этих надежд. Ни торговля, ни совместные советско-германские предприятия никак не способствовали «эволюционному» процессу. Все «командные высоты» экономики — крупная промышленность и торговля, банки, транспорт и др. оставались в руках советского государства. Оно не собиралось отказываться от монополии внешней торговли, которая оставалась главным сдерживающим развитие отношений фактором. С исчезновением иллюзий на ее скорую отмену, в Германии подняли голову противники Рапалло, заговорившие об ошибочности кредитной и торговой политики в отношении СССР. Вновь был поднят вопрос о компенсациях за ущерб, понесенный германскими гражданами во время мировой войны. Активизировал свою деятельность «союз немецких кредиторов России», ставший составной частью международной организации кредиторов⁴⁷.

В 1926—1927 гг. на отношения с Германией все сильнее стала оказывать свое влияние внутренняя политика в СССР, в частности, начавшаяся социалистическая модернизация промышленности. Доверие к Советскому Союзу то и дело подрывалось разного рода эксцессами во внутренней политике сталинского руководства, в первую очередь в деревне, о чем благодаря поступающей из консульств информации правительство Германии было хорошо осведомлено. В конце 1929 г. произошел ряд «недружелюбных актов» в отношении СССР «в германской печати и в германской общественности». Действовавшие в Германии советские учреждения и совместные советско-германские предприятия были обвинены в подготовке революции в Германии. Нападкам в таком духе подверглось, в частности, германороссийское акционерное общество «Дерот», сбывавшее экспортировавшийся из СССР бензин. Немецкая пресса объявила его организацией, специально созданной для целей пропаганды и финансирования коминтерновской работы. «Потоком брани» отреагировала на политику закрытия церквей в СССР германская печать. Еще один выпад СМИ был связан с попыткой эмиграции из СССР немецких колонистов, бежавших от коллективизации. Только половине из собравшихся в предместьях Москвы немецких крестьян, главным образом сибирских, проблемами которых интенсивно занимался консул Гросскопф, удалось добиться выезда из страны.

⁴⁵ Случ С. З. Германо-советские отношения в 1918—1941 гг. (Мотивы и последствия внешнеполитических решений.): автореф. дис. ... докт. ист. наук. М., 1995. С. 22—24.

⁴⁶ Michalka Wolfgang. Russlandbilder des Auswärtigen Amtes und deutscher Diplomaten // Н.-Е. Volkman (Hrsg.) Das Russlandbild im Dritten Reich. Köln, 1994. S. 87.

⁴⁷ Шишкин В. А. Цена признания: СССР и страны Запада в поисках компромисса (1924—1929 гг.). СПб., 1991. С. 299.



Вторая половина предполагаемых эвакуантов была насильно возвращена в места их прежнего жительства⁴⁸.

История эта заключалась в следующем. В конце 1928 г. возникло дело 16 семей германских граждан, проживавших в Исиль-Кульском районе Омского округа, которые решили распродать свое имущество и выехать в Германию. Трудности, с которыми они при этом столкнулись, явствуют уже из первого послания Гросскопфа в КИК, временно исполняющему должность начальника краевого АО И. А. Макарову, где он, предполагая возможную некомпетентность руководства в тонкостях предстоящей процедуры, расписал все надлежащие шаги властей. Учитывая короткий срок действия выездных виз, необходимость согласовать отъезд с отходом пароходов в Германию, Гросскопф также убедительно просил начальника КАО «уведомить Омский окрадротдел и районные милиции, чтобы они не чинили проволочки» при оформлении бумаг.

Согласно постановлению ЦИК и СНК СССР от 12 сентября 1924 г., выезжающим за границу лицам разрешалось вывезти иностранной валюты и выписанных в ней переводов, чеков и векселей, благородных металлов в слитках и изделиях из драгоценных камней на общую сумму до 300 руб. на одно лицо. Каждому члену семейства, выезжающему по паспорту главы семьи, также полагалась сумма в 150 руб.⁴⁹ Кроме этой, так называемой «паспортной нормы», германским реэмигрантам, согласно ст. 5 «Соглашения о поселении» договора от 12.10.1925 г., разрешался вывоз с собой тех сумм, которые составляли выручку от ликвидированного имущества, если они доказаны соответствующими документами. Под имуществом понимались инструменты, орудия, утварь и т. п., нужные исключительно для осуществления профессии или промысла, а также предметы, предназначенные для домашнего или личного потребления. Не могли вывозиться процентные бумаги и личные сбережения.

Разрешение на вывоз валюты свыше паспортной нормы (до 2000 руб.) давали на местах особые валютные совещания Наркомфина, которые действовали в крупных городах при местных органах НКФ. Вопрос о сумме свыше 2000 руб. мог быть разрешен Особым валютным совещанием (ОВС) при Наркомфине Союза СССР по представлениям местных финансовых органов, производивших оценку имущества и определявших сумму валюты. Но уже 18.06.1926 г., то есть спустя всего восемь месяцев после подписания советско-германского договора, особой инструкцией № 57 НКФ СССР местные ОВС были упразднены. Теперь ходатайства о вывозе валюты свыше 300 руб. на каждое лицо стали рассматриваться в Москве в ОВС при НКФ⁵⁰. Кроме того, местным АО было дано негласное указание о необходимости добиваться сокращения продажи и вывоза из страны валюты всеми выезжающими лицами. Паспортную норму валюты рекомендовалось выдавать «на полную сумму в 300 руб. в особо исключительных случаях»⁵¹.

Омские власти отказали реэмигрантам в оформлении на месте документов о валютном возмещении вырученных от продажи имущества сумм. Гросскопф, не знавший о передаче всех, такого рода дел, в центр, в ОВС при НКФ (инструкция, как о том говорилось в разъяснении НКВД, не применялась, пока выезды не приняли массового характера), продолжал настаивать на выдаче сумм до 2000 руб. на местах. Тем временем Омский АО, выполняя негласное указание свыше, отказал эвакуантам и в выдаче паспортной нормы валюты, сославшись на якобы существующее распоряжение о том, что «обмен валюты будет производиться на границе». Затем АО было предписано выдавать им справки на сумму лишь в 75—100 руб. Кроме того, от некоторых граждан были затребованы еще два дополнительных документа:

⁴⁸ Заявление Полномочного Представителя СССР в Германии Н. Н. Крестинского Министру Иностранных Дел Германии Курциусу от 11 апреля 1930 г. // ДВП СССР. Т. 13. С. 202—207; Запись беседы Заместителя Народного Комиссара Иностранных Дел СССР М. М. Литвинова с Послом Германии в СССР Диркеном от 5 июля 1930 г. // ДВП СССР. Т. 13. С. 379—382. См. подробности об эмиграционном движении немецких колонистов и его последствиях в кн.: Белковец Л. П. «Большой террор» и судьбы немецкой деревни в Сибири (конец 1920-х — 1930-е годы). М., 1995.

⁴⁹ Первоначально эти суммы составляли 200 и 100 рублей соответственно. См.: Декрет ВЦИК и СНК от 19 апреля 1923 г. // СЗ РСФСР. 1923. № 32. Ст. 360.

⁵⁰ Из НКВД в Иночась адмтдела на запрос от 15.07.1929 г. о вывозе валюты германскими гражданами реэмигрантами // ГАНО. Ф. Р-47. Оп. 1. Д. 776. Л. 15, 15 об.

⁵¹ ГАНО. Ф. Р-47. Оп. 1. Д. 600. Л. 89, 89 об.



справка о том, имеют ли они домработницу, и удостоверение нарсуда, что они не состоят под судом.

Заявление в краевой АО потерявшего терпение Гросскопфа по этому поводу было полно сарказма. Он просил проинформировать Омский отдел, что тот имеет право требовать только удостоверения о неимении налоговых недоимок и справки милиции о месте жительства. «Если же в последнее время действительно последовало распоряжение властей, что выезжающим германским гражданам для получения виз надлежит предоставить кроме двух вышеупомянутых документов также и справку о судимости и справку о том, держат или не держат выезжающие домашних работников, Германское консульство было бы благодарно за сообщение, где такое распоряжение опубликовано», — писал Гросскопф⁵².

В конце концов, делом этой группы германских граждан занялся, по жалобам консула и посла, НКВД в Москве. Начальнику АО НКВД Клокотину пришлось сделать серьезное внушение краевому адмотделу, «нарушившему закон» о паспортной норме валюты реэмигрантам. Он просил его не допускать этого в будущем и не вызывать этим возражения со стороны иностранных миссий и консульств, «могущие повлечь нежелательные последствия». «Добиваться сокращения продажи и вывоза иностранной валюты, безусловно, нужно, — бесхитростно увещевал он своего подчиненного, — но не в таких решительных формах. Здесь может быть использован путь соглашения с иностранцами. Во время личного разговора необходимо попытаться убедить иностранца в том, чтобы он подал заявление на покупку меньшей суммы, сославшись, например, на то, что в настоящее время в отделениях Банка нет валюты. Практика работы НКВД показывает, что в большинстве случаев таким путем можно достигнуть весьма осязаемых результатов. Затем следует широко использовать все формальные моменты, наличие или отсутствие которых в деле о пребывании или выезде иностранца может дать некоторое основание для отказа в выдаче справки на полную норму. Но если иностранец будет решительно настаивать на выдаче ему справки на полную сумму, а по действующим правилам никаких оснований для отказа нет, в таких случаях необходимо выдавать справку на получение валюты по норме»⁵³.

23 февраля 1929 г. последовало официальное сокращение паспортной нормы валюты, которая теперь зависела от страны выезда. Для граждан СССР и иностранцев, выезжающих в пограничные страны Европы, она составила не более 50 руб., а в прочие страны Европы и пограничные страны Азии — 75 руб. Члены семьи могли претендовать лишь на половину этих сумм. Однако и урезанную норму валюты могли получать не все категории иностранцев.

Что касается Исиль-Кульских эвакуантов, то их дело махинациями с валютой не ограничилось. Весной 1929 г. в отношении одного из них, Якова Брауэра, проживавшего в поселке Николайполь с 1909 г. и имевшего семью в составе шести человек, было принято решение о выселении «как социально опасного элемента» и распродаже хозяйства. Причиной стало невыполнение дополнительного задания о запродаже государству хлеба в количестве 160 пудов и неуплата «Союзхлебу» доли задолженности ликвидированного менонитского товарищества «Агроном», членом которого он был. Эта задолженность в сумме 3053 руб. была разложена на 11 бывших членов из 70, и Брауэру досталось 300 руб. Хозяйство Брауэра было признано «крепким кулацким», в нем применялась «наемная сила». На 26 с четвертью десятинах посева он, согласно «установленным негласным путем сведениям» Пучковского сельсовета, намолотил в 1928 г. 900—1000 пудов хлеба, из которых сдал государству чуть более 565 пудов. Этого оказалось мало, и его обязали сдать еще 160. Было учтено также, что Брауэр извлекал доход от эксплуатации на стороне своего трактора, который у него был изъят только весной 1929 г. Годом раньше он имел паровую мельницу, молотилку с двигателем, занимался снабжением граждан семенами «на выгодных для себя условиях». Кроме того, Брауэр «открыто враждебно относится ко всем мероприятиям советской власти и, прикрываясь германским подданством, злобно не выполняет постановления общества и с местной властью совершенно не считается» — значилось в объяснении, которое дал по просьбе консула начальник СКАО Мирошник. В декабре 1928 г. Брауэр просил, ввиду плохого урожая на ряде

⁵² ГАНО. Ф. Р-47. Оп. 1. Д. 776. Л. 30.

⁵³ ГАНО. Ф. Р-47. Оп. 1. Д. 776. Л. 89—89 об.



участков, о снижении налогового обложения и о восстановлении в избирательных правах, но и в том, и в другом ему было отказано. Из дополнительного задания он сдал лишь 19 пудов хлеба, а остальное сдавать отказался, как и выплачивать долю долга товарищества. Милицию же, которая пришла описывать его имущество, в дом не пустил. Несмотря на запрет купли-продажи живого и мертвого инвентаря в районах сплошной коллективизации, который должен был перейти ближайшему колхозу или совхозу по твердой цене, Брауэр устроил 3 июля 1929 г. публичные торги, откупившись от милиции дачей взятки в виде 4 % с торговой выручки, за что потом и был подвергнут аресту.

12 апреля Гросскопф, получив жалобы еще от 10 германских граждан, проживавших в Пучковском сельсовете (всего их было там 81 душа), о дообложении их дополнительными заданиями, которые требовалось выполнить в 3-дневный срок, отправил в СКАО письмо с просьбой разобраться, наконец, с тем, что происходит в Омском округе. Крестьяне, жившие здесь «издавна», жаловались ему на то, что останутся без хлеба на пропитание и без семян на предстоящий посев, если выполнят это распоряжение. «Кроме того, — писал консул, — они обратили внимание на грубое обращение органов местной власти. Так, член местной ячейки ВКП (б), тов. И. П. Колмаков сказал И. И. Клингенбергу (который получил дополнительное обложение в 170 пудов): «Сначала мы тебя почистим, потом ты можешь ехать в Германию и там рассказывать, что Советская Россия тебя ограбила». Уполномоченный РИКа тов. Шундуков сказал, что власти не намерены считать ни с посевом упомянутых лиц, ни с хозяйствами таковых. При произведении... описи имущества Клингенберга Ив. Ив., тов. Гербенко не ограничился составлением списка описанного имущества, а с фонарем в руке обошел подвал, чердак, амбар и т. д. и обшарил не только шкафы, но и кровати»⁵⁴.

Попытки оформить выезд на родину тем временем продолжали наталкиваться на яростное сопротивление местных властей. Гросскопфу пришлось апеллировать не только в посольство, но и через него в МИД о необходимости принятия чрезвычайных мер. Реакция последовала 26 июня 1929 г. в виде вежливого письма из НКВД в СИБАО с просьбой «учитывать возможность протестов со стороны Германского посольства, каковые являются крайне нежелательными». Следовало смягчить нажим на граждан Германии «в вопросах самообложения» (по их просьбе), «поскольку на них, как выяснилось (пришлось познакомиться, очевидно, с текстом договора 1925 г. — Л. Б.), ни самообложение, ни пятикратное обложение вообще не распространяются», ибо те не являются «налогом, установленным законодательством равномерно для всех жителей страны»⁵⁵.

5 февраля 1930 года Гросскопф опубликовал в местной немецкой газете «Обращение Германского консульства ко всем проживающим в сибирской деревне немецким гражданам» с объяснением принадлежащих им согласно договору 1925 г. прав. Он объявлял, что правительственные постановления об обострении классовой борьбы в деревне не относятся к гражданам Германии. Собственность граждан Германии не может быть ни экспроприирована, ни конфискована или инвентаризирована, то есть она не подлежит отчуждению. Граждане Германии также не могут быть выселены или подвергнуты высылке. Им должно быть предоставлено время на продажу своих жилых и хозяйственных построек, мебели, сельскохозяйственных машин, скота, семян, зерна и прочего имущества любому покупателю. Они свободны от всякого рода общественных трудовых повинностей, включая гужевою повинность. Всем, кто желал выехать в Германию, было обещано возмещение распроданного имущества. В местах, где продажа имущества в частные руки была запрещена, следовало продавать его совхозам и колхозам. Машины и предметы из металла, не нашедшие покупателей, было разрешено сломать и продать государственным заготовительным организациям как лом, уведомив о том сельсовет. Обо всех сомнительных случаях следовало информировать консульство.

Аналогичное уведомление еще ранее, 1 февраля, ушло от имени консула в Сибирский КИК, которому было предложено не препятствовать ликвидации имущества германскими гражданами. По его просьбе соответствующие распоряжения КИК отдал окружным исполнительным комитетам⁵⁶.

⁵⁴ Отношение германского консула в крайадмтдел от 12 апреля 1929 г. // ГАНО. Ф. Р-47. Оп. 5. Д. 21. Л. 135, 135 об.

⁵⁵ ГАНО. Ф. Р-47. Оп. 5. Д. 84. Л. 13, 15.

⁵⁶ РА АА. R 83850.



Точка в этом деле, правда, неокончательная, была поставлена в письме от 13 апреля 1930 г. временно исполняющего обязанности Народного комиссара иностранных дел М. М. Литвинова Наркому внутренних дел Толмачеву, копия которого была получена 20 апреля секретной частью Сибкрайиспокома. В нем говорилось следующее: «Германское посольство сообщило НКВД, что в округах Омском, Славгородском и Петропавловском местные административные органы отказываются выдавать германским гражданам удостоверения, необходимые для получения разрешения на выезд (справка об уплате налогов и о том, что данный гражданин не состоит под следствием). По сообщению Посольства просьба германских граждан Клингенберг, Крюгер, Драве, Брауэр о выдаче удостоверений была отклонена Райисполкомом в Иссиль-Куле со ссылкой на то, что удостоверения вообще не выдаются. Посольство при этом обратило внимание НКВД на помещенную в газете «Сельская Правда» (от 12/III-30 г. № 27) заметку, в которой указывается, что НКВД предложил местным органам крайне осторожно выдавать различные справки кулацким элементам, т. к. последние используют их в незаконных целях. В том же районе по сообщению Посольства железно-дорожные билеты продаются только по разрешению сельсоветов; последние же их не выдают (Германское посольство ссылается на случай с проживающим в Иссиль-Кульском районе гр. Клингенберг, который не мог купить ж.д. билета). НКВД просит Вас предложить соответствующим местным административным органам в отношении германских граждан точно руководствоваться предписаниями советско-германских договоров и советских законов и немедленно отменить все мероприятия, противоречащие последним. О принятых Вами мерах просьба в срочном порядке проинформировать НКВД»⁵⁷.

Можно считать, что консул Гросскопф одержал победу в борьбе за права своих граждан. К концу 1930 г. желающие выехали из СССР, а нежелающие и колеблющиеся хотя бы на время были оставлены в покое — решением Согласительной комиссии⁵⁸ еще раз было подтверждено освобождение германских граждан в СССР от всех дообложений как денежными, так и натуральными повинностями (платежами), от принудительных работ, принудительных займов, конфискаций и реквизиций имущества⁵⁹.

Но победа была недолгой. Только в течение года, да и то с большими оговорками, советская сторона придерживалась этого решения. С начала 1932 г. начались перебои с переводом денег, а с октября этого года выплаты были полностью прекращены. «Теперь германские граждане, — констатировал посол Герберт фон Дирксен [6], — вынуждены выезжать в Германию без всяких средств и становиться обузой для органов социального обеспечения». К июлю 1933 г. по данным, поступившим от консулов, без всякого движения у советских властей находилось 233 заявления на общую сумму в 781.854 рубля⁶⁰.

Невыплата валюты стала также причиной введения разного рода проволочек с оформлением выездных виз, которое затягивалось на такое время, за которое семья успевала проесть все, что у нее еще осталось. В целом ряде случаев консульствам приходилось отправлять немецких граждан домой на собственные средства⁶¹.

Одновременно в разных концах страны, в условиях нараставшего продовольственного кризиса, спровоцированного коллективизацией, продолжали наращаться темп экспроприации и высылки «кулаков». Они не могли не затрагивать и германских граждан, хотя отнятие хлеба, скота и т. п. у них в ряде мест маскировалось под обязательный закуп по ничтожной цене, что, собственно, не меняло дела. Это были

⁵⁷ ГАНО. Ф. Р-47. Оп. 1. Д. 1164. Л. 126, 126 об.

⁵⁸ Согласительная комиссия ежегодно должна была собираться на сессию в Москве или Берлине для рассмотрения разного рода споров и в особенности — разногласий, возникающих при толковании двусторонних договоров и соглашений, в том случае, если их урегулирование дипломатическим путем натолкнется на непреодолимые трудности. Комиссия создавалась согласно Конвенции о согласительной процедуре между СССР и Германией, которую подписали 25 января 1929 г. М. М. Литвинов и новый посол Герберт фон Дирксен. Германская сторона рассматривала ее как своего рода замену обычного договора об арбитраже (третейском суде). Позднее Дирксен писал в своих мемуарах, что заключением этого акта он пошел навстречу руководству НКВД, решительно не принимавшему идеи третейского суда, поскольку не было возможности найти посредников, свободных от предубеждений против советской системы.

⁵⁹ Deutsche Botschaft in Moskau an das Ausamt. 01.07.1933 // PA AA. Bd. 387.

⁶⁰ В списке, присланном в посольство Гросскопфом, значились 23 человека, передавших свои заявления в валютный сектор Наркомфина, на общую сумму 86.808,35 руб. // Там же.

⁶¹ Die Reichsdeutschen in der Union der S.S.R. Stand vom November 1935 // PA AA. R 83854. См. подробнее о том: Belkowez Larisa, Belkowez Sergej. Gescheiterte Hoffnungen. Das deutsche Konsulat in Sibirien 1923—1938. Essen: Klartext Verlag, 2004.



реквизиции, сопровождавшиеся штрафами за несдачу поставок, высылками и лишением свободы. Сибирские власти изобрели при этом новый способ раскулачивания германских граждан — сельских хозяев. Они стали рассматривать их русских жен как самостоятельных хозяек, а их мужей — бывших военнопленных — как нанятых сельхозрабочих или пайщиков. Ситуация осложнялась тем, что многие были женаты на вдовах не вернувшихся с войны крестьян, в том числе на русских немках, у которых были дети от первого брака. Такие хозяйства стали признавать принадлежащими советским гражданам и поэтому подлежащими раскулачиванию⁶². Не сумели избежать немецкие крестьяне и арестов за сопротивление раскулачиванию. На 1 октября 1931 г. в списке заключенных, составленном Гросскопфом, значились восемь крестьян, некоторые подверглись штрафам, другие — высылке, судьба многих осталась ему неизвестной⁶³.

Труд германских крестьян на земле в стране Советов, считал Герберт фон Дирксен, заканчивался. «Судя по тому, как идут дела, — писал посол, — их пребывание в СССР долго не продлится. Коллективизация окончательно превратит хозяйства германских граждан в островки благополучия, которые не выдержат зависти и вражды живущих впроголодь в колхозах крестьян. Эти хозяйства обречены, у них нет будущего»⁶⁴.

Окончательно советское государство «освободило» иностранцев, уже не проживающих в Союзе ССР, от принадлежащих им по праву собственности или по праву застройки домов и всякого рода иных строений, в 1937 г. Все эти объекты передавались «местным советам депутатов трудящихся по месту нахождения этого имущества»⁶⁵.

(Продолжение следует.)

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Асмис был женат на подданной России, у которой в Москве проживали мать и сестра, работавшая stenotypistкой в посольстве. В мае 1926 г. посольство просило НКВД дать визу для выезда обоих в Германию на свидание с приехавшей туда с младенцем супругой Асмиса, ставшего германским послом в Сиаме. Позднее Асмис был функционером (сотрудником ведомства по делам колоний) в НСДАП, как «военный преступник» был 17 июня 1945 г. арестован советскими оккупационными властями, интернирован в СССР и умер, вероятно, в этом же месяце в одном из лагерей под Воркутой. См. о нем: Heeke... С. 347, 368; Perkins, John. An old-style Imperialist an National Socialist Consul-General Dr. Rudolf Asmis (1879—1945) // John Millfull (Hrsg.). The Attractions of Fascism. Social Psychology and Aesthetics of the «Triumph of the Right». New York u.a., 1990. P. 273—288.

2. Консул Георг Вильгельм Гросскопф, именовавший себя в России Вильгельмом Фридриховичем, в течение 13 лет возглавлял сибирское консульство, которое стало значительным этапом в его дипломатической карьере.

В автобиографии, составленной им на русском языке 31 октября 1920 г., он писал: «Я, прусский подданный, родился 18-го ноября 1884 г. в г. Вендене, Лифляндской губ. Отец мой — ученый садовник Фридрих Гросскопф, мать Матильда ур. Штейнбаум. Родители мои умерли». Раннее сиротство заставило юношу после окончания в 1901 г. Рижского городского реального училища поступить на коммерческую службу в экспедиторские и корабельные конторы Риги, в которых Гросскопф провел почти пять лет. В 1905—1907 гг. он «состоял» студентом Рижского политехнического училища (института) по политическо-экономическому и коммерческому отделению. В марте 1906 г., с должности канцеляриста в германском консульстве в Риге, началась дипломатическая служба студента Гросскопфа, которая в 1909 г. привела его в Москву, на должность секретаря германского генерального консульства. В 1913 г. он стал драгоманом (переводчиком) в германском посольстве столичного Петербурга. Во время

⁶² Bericht von Grosskopf an die D.B.M. 13.03.1931 // PA AA. R 83852.

⁶³ Haftliste. 01.10.1931 // PA AA. R 83889.

⁶⁴ Brief von Dirksen an das Ausamt. 01.06.1933 // PA AA. Bd. 387.

⁶⁵ См. Постановление СНК СССР «Об имуществе иностранцев, не проживающих на территории Союза ССР» // СЗ СССР. 1937. Отд. 1. № 75. Ст. 368.

Первой мировой служил в штабе 84 пехотного полка, исполнял должность коменданта и переводчика, был награжден военными наградами, в том числе Железным крестом 1-ой степени. В марте 1918 г. Гросскопф вышел в отставку в чине обер-лейтенанта и вернулся в Аусамт (МИД). С 1 января 1920 г. в звании канцлера Гросскопф возглавил в Финляндии канцелярию германского посольства. В 1921 г. он успешно сдает консульский экзамен и защищает сочинение (своего рода «диссертацию») на тему «Выбытие Советской России из мирового хозяйства и последствия, вызванные этим для народных хозяйств России и Германии». 12 мая 1922 г. следует его назначение вице-консулом в генеральное консульство Германии в Петрограде. Не проходит и года, и он нужен ведомству уже в качестве консула в создаваемое в Сибири представительство...

3. Граф Ульрих фон Брокдорф-Ранцау родился 29 мая 1869 в Шлезвиге в старинной дворянской семье. Юрист по образованию, прошел службу в прусской армии, в 1894 г. начал дипломатическую карьеру, служил в Брюсселе, был секретарем германского посольства в Петербурге и Вене, советником миссии в Гааге, генеральным консулом в Будапеште. В 1912—1918 гг. — посланник в Копенгагене. С 1919 г. — глава МИДа Германии в кабинете Филиппа Шейдемана. Первый чрезвычайный и полномочный посол Германии в РСФСР (СССР) (в 1922—1928 гг.). Будучи активным сторонником советско-германского сближения, получил прозвище «Красный граф».

4. М. М. Лашевич (1884—1928) — известный советский партийный и военный деятель, командовал СибВО, участник оппозиции Л. Д. Троцкого, которого, по словам Гросскопфа, он должен был сменить на посту наркома по военным и морским делам. Однако в 1925 г. он стал лишь заместителем у К. Е. Ворошилова и заместителем председателя РВС СССР. Гросскопф сожалел о его отъезде из Новосибирска. См.: Brief an Ausamt 10.11.1925 // PA AA. R 84213.

5. Гросскопф сообщал 10.12.1925 г. в МИД некоторые подробности революционной биографии Эйхе: «Эйхе — латыш, родился в 1890 г. в Курляндии. С 15 лет состоит в революционном движении, с 1914 г. — член ЦК РКП (б). Он был задержан немецкими оккупационными властями в 1918 г. в Риге и сначала содержался в тюрьме, позднее в концентрационном лагере Фридрихгоф, откуда бежал в августе 1928 г. в Москву» (PA AA. R 84213). Именно Эйхе стал творцом сурового большевистского режима в Сибири, развязавшего террор против крестьянства и массовые репрессии 1930-х гг. Сам стал их жертвой. Расстрелян в 1940 г.

6. Герберг фон Дирксен, сын известного дипломата, юрист по образованию, участник мировой войны (лейтенант, награжден Железным крестом II степени), находился на дипломатической службе с 1918 г. В 1919 г. — референт по вопросам стран Балтии в Министерстве иностранных дел при Брокдорф-Ранцау. В первой половине 20-х годов стал специалистом в польских делах, будучи советником посольства в Варшаве, руководителем польской референтуры в министерстве и генеральным консулом в свободном городе Данциге. В 1925 г. Дирксен пришел в Восточный отдел МИДа в качестве заместителя его директора, Эриха Вальрота. В 1928 г. сменил на посту германского посла в СССР ушедшего из жизни Брокдорф-Ранцау.



Владимир ЯРАНЦЕВ

ЛАБИРИНТЫ И ОТРАЖЕНИЯ — 6*

О литературе не только художественной

I.

Кто только ни ругал Серебряный век, от А. Горького, обозвавшего самый его расцвет «позорным десятилетием русской литературы», до позднего Н. Коржавина. Станислав Куняев в книге «Любовь, исполненная зла...» (М., Голос-Пресс, 2012) отругал этот «век» лишний раз за «неправильную» любовь — языческую, гомоэротическую и т. п. Благо нашелся повод: участвовавшая мелькание в СМИ Людмила Дербиной, сожительницы поэта Николая Рубцова, при неясных до сих пор обстоятельствах убившей более сорока лет назад поэта.

Оказалось, что убийца — поэтесса и большая поклонница Анны Ахматовой, которую, следуя логике книги, надо признать соучастницей этого преступления. Ибо под ее, одной из знаковых фигур Серебряного века, влиянием сформировалось поэтическое кредо Дербиной, в соответствии с «законами не только языческого дохристианского, а даже недочеловеческого мира». Такой же, языческой, была и любовь поэтессы, сравнивавшей себя в стихах с «медведицей», «лесной огромной кошкой», «волчицей», «рысью».

Поэзия Дербиной, может быть, и интересна как специфическое явление провинциального, в худшем смысле этого слова, самосознания. Вернее, «недосознания», где Ахматова играет роль крайнюю, подставную. А вот Серебряный век тут совершенно ни при чем. Особый организм, развивавшийся по своим законам культурной всеядности, непрерывного синтезирования всего со всем, уподоблений и аналогий, он весьма

далек от вологодской драмы 1971 года с участием эпигонки-«ахматовки» с неуравновешенной психикой и яркого, но беспутного поэта есенинской складки.

Кстати, Сергея Есенина Куняев вывел за рамки этого «нечистого» Серебряного века. И сделал это еще в начале 90-х годов в совместной с сыном ЖЗЛ-овской книге. Время создания книги было такое, почти фронтовое, когда жаркие «перестроечные» схватки между «патриотами» и «либералами» с победой последних в 90-е гг. сменились позиционными, «окопными» боями. Но и не назывешь книгу «Сергей Есенин» «баррикадной» или «окопной». И про «маски», которые надевал, чтобы остаться поэтом, сказано, и про пьянство на грани алкоголизма, и про хулиганство на грани антисемитизма. Ничего почти что не скрывается и не замалчивается, но линию авторов постоянно чувствуешь: во все периоды жизни и творчества — «скифско»-эсеровский, «имажинистский», «айседордункановский», «бакинско-персидский», «московско-кабацкий», «советский» Есенин не изменял своему «чувству родины», русскому духу вне всяких влияний и воздействий. Н. Клюев или Л. Троцкий, А. Мариенгоф или А. Белый, И. Вардин или А. Воронский — никто не мог истребить его русскость, песенную мелодию стиха.

Так и для Куняевых ни вопиющие скандалы (в Америке у поэта Мани-Лейба или в «столовой на Мясницкой» в Москве, в «Стойле Пегаса» с Б. Пастернаком или Доме Герцена со всеми сразу перед роковым отъездом в Ленинград), ни явные следы имажинизма в бытовом и литературном творчестве, ни антисемитские загибы не меняют

* Продолжение. Предыдущие части см. «Сибирские огни», 2011, № 6, № 8; 2012, № 7, № 11; 2013, № 1.

раз и навсегда принятой точки зрения о «светоносном поэте» и «бесконечной легенде» о нем как исключительно русском поэте.

Видимо, действительно, понять Есенина можно только сердцем, душой. А можно ли умом, филологией, как это попытались сделать Олег Лекманов и Михаил Свердлов в книге «Есенин» (2-е изд., М., Астрель CORPUS, 2011)? Ведь Есенина, как и Россию, которую он олицетворяет, повторяем, «умом не понять, аршином общим не измерить». Эрудированные авторы-литературоведы тем не менее решили оценить Есенина и его биографию вне «апологетического пафоса» и тютчевского предупреждения. Что в итоге?

В первую очередь они показали кровную принадлежность Есенина Серебряному веку. Начиная с поклонения А. Блоку, смотрин у Д. Мережковского и З. Гиппиус в костюме «народного сказителя в лаковых сапожках», «по праву соседствования с черной маской Андрея Белого, алым хитоном Лидии Зиновьевой-Аннибал, желтой кофтой Владимира Маяковского» и заканчивая бурным трехлетием имжинизма — младшего брата футуризма, где хулиганство уличных эпатажно-антимещанских акций сочеталось с литературным: обязательность сочетания «чистого» и «нечистого» — «соловья» и «лягушки», «коровы» и «оранжереи» (из манифеста «Буян-остров»), имажинизма, который учил Есенина «литературному ушкуйничеству», «живой разбойной силе» (И. Грузинов. Имажинизма основное. М., 1921). Пребывая при этом в изысканном костюме денди (цилиндр, трость, «деллосовское широкое пальто», лайковые перчатки, духи и проч.). Между «шармером» и «хулиганом» устранилась грань, как и между «мордобоем» реальным и поэтическим.

Весь Серебряный век построен на таких «сдвигах» от «низкого» к «высокому» и обратно ради полноты живневосприятия и жизнеотражения. Такое под силу было только подлинному таланту, гению, которых и оказалось так много в эту «серебряную» эпоху. Но и они в итоге не выдерживали эстетства с его культом парадокса, что обращивалось жутью двойственности, «нежным хулиганством» (Г. Маквей): был Есенин то «ангелом и душкой», то дебоширом и алкоголиком. В конце концов, и Лекманов со Свердловым нашли подходящую формулу для такого раздвоения — доктор Джекил и мистер Хайд из романа Р. Стивенсона, где «мудрый благородный врач превращался иногда силой зелья в мистера Хайда, чтобы в этом

виде отдаваться своим порочным наклонностям».

А как иначе могло быть в этой книге, если Свердлов — специалист по английской литературе, да и акмеизм, изучению которого посвятил свою жизнь Лекманов, тоже далеко не русского происхождения. Собственно, не есть ли сами авторы ЖЗЛ-овского «Сергея Есенина» и авторы «Есенина» «CORPUS-овского» — доктор Джекил и мистер Хайд? Ибо одни склонны изображать «благородного» и очень русского, другие — порочного и с нерусскими «наклонностями». В общем-то, уже давно найдена форма примирения наиболее контрастных мнений о той или иной фигуре под одной обложкой — книги серии «Pro et contra». Давно пора бы и о Есенине издать такой томик, а то и два. Есть ведь и о Гумилеве, Блоке, Белом, Мережковском, Гиппиус, Бунине, об Ахматовой. Есенин со своей кричащей двойственностью просто обязан быть в этой замечательной серии.

Или и впрямь существует негласное табу народной любви, в ряду с Рубцовым, Шукшиным, Высоцким и т. д. — мастерами слова не высшего разряда, зато с аурой? А тут еще борьба с «есенинщиной», Н. Бухарин, А. Крученых, А. Мариенгоф с их «враньем» или «без вранья», только пуше раздразнивших есенинолюбов. И совсем уж горячая — до сих пор! — тема убийства / самоубийства Есенина. «Джекилы» за первое, «Хайды» — за второе.

Но ведь могло быть и третье, выходящее за рамки, объединяющее «про эт контра» в одно. На него указывает выступление И. М. Гронского в 1959 г. перед работниками ЦГАЛИ, гласящее: Есенин и С. Клычков «решили инсценировать самоубийство» и для этого Есенин «сделал не полную петлю, а просто привязал веревку к батарее», рассчитывая, что В. Эрлих сразу прочтет его записку с «До свиданья, друг мой, до свиданья» и «предотвратит самоубийство». Услышав чьи-то шаги в коридоре, Есенин хотел имитировать повешение, но оно оказалось настоящим, так как никто в тот момент не пришел, не спас. Отсюда и это выражение недоумения и ужаса на лице умершего поэта, отмеченное многими очевидцами, и это вполне соответствует версии о его нечаянном самоубийстве. Странно, что Лекманов и Свердлов привели эту версию в сноске, мелким шрифтом. А ведь она так идеально вписывается в импульсивный характер Есенина, получившего крещение имажинизмом с его часто рискованными акциями-«перформансами».

II.

Впрочем, веселое имажинистское время для Есенина, решившего начать в Ленинграде новую жизнь, тогда уже миновало. А вот тема смерти, в том числе самоубийственной, рефреном проходит через все его творчество. Как и у классиков: Толстой и Бунин — самые выдающиеся в этом ряду, готовившиеся к смерти и смертельно боявшиеся ее. Не меньше, а может, и больше думали о ней в свои еще не старые годы Пушкин, Лермонтов, Гоголь. И достаточно трудно опровергнуть мнение, что дуэли Пушкина и Лермонтова были скрытыми самоубийствами. А одна из последних версий, академик Н. Петракова, гласит, что Пушкин сам же себе написал и послал роковой диплом роконосца. Гоголь и вовсе в последние свои дни не видел уже грани между жизнью и смертью.

Но можно и смерть сделать событием своей жизни, важным и нужным ее моментом. Чтобы ощутить себя, наконец, человеком в полной мере. Таков герой книги Евсея Цейтлина «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти» (СПб, Алетейя, 2012). Йокубас Йосаде, литовский писатель-драматург, с необычайным чувством жизни, вкусом к жизни. Остроту, обостренность ощущения жизни ему, несомненно, придает близость смерти. А усиливает выбранный автором книги способ подачи «материала» — фрагменты телефонных разговоров, магнитофонных и дневниковых записей, словно стенографирующих живой ритм жизни, а не хронологический.

Но это и не стенограмма, подразумевающая беспристрастность. Это мозаика со своим сложным ритмом чередования мыслей, оценок, воспоминаний, с которыми Цейтлин вступает в очный или заочный диалог, соглашаясь или споря. И на каждом участке текста — живое естество человека, к смерти готовящегося, но думающего о жизни, проживающего ее еще раз. Кажется, что это оголение живого, животрепещущего физически ощутимо. Каким бы словесным приемом ни пользовался автор. Это может быть самохарактеристика героя: «Я все еще ищу себя. Даже сейчас, перед смертью»; авторская характеристика: «Несмотря на огромную самодисциплину, его сознание, как у большинства людей, неустойчиво... Скачки. В течение нескольких минут: от одной темы к другой. От Ницше до... гречневой каши».

Это могут быть и говорящие заголовки к фрагментам: «Ярый враг тайн», «Тень Фрейда», «Нить страха», «Воспоминание о

пепле», «Убийцы в белых халатах» и др. — и заголовки вспомогательные, начинающие абзац: «Драматургия — суть моей жизни», «Ситуация и впрямь по Оруэллу!», «Почему судьба бережет его?» и т. д. Это и эпизоды, малые и большие, но равнозначимые для героя в потоке импульсивных воспоминаний. Например, как на войне убил немца и взятую у трупа фотографию поставил на письменный стол, «чтобы не поддаваться соблазну забыть».

Не знаешь, что встретишь на следующей странице, в следующем фрагменте. И в этом не просто авторская мысль о текучей непредсказуемости жизни человека, тем более на пороге смерти, а мысль о человеке, людях, племени, живущем в особых условиях диаспоры, где преобладает страх за себя, свое достояние, свою жизнь.

Пора уже сообщить, если читатель не догадался уже сам, что Йосаде — еврей. Т. е. человек, постоянно живущий в страхе, под прессом антисемитизма. Особенно в середине XX века, сначала терпя от фашистов, потом — сталинистов, организовывавших кампании по борьбе с космополитизмом и врачами-убийцами, а потом от «застойного» социализма с его цензурой, когда драматург Йосаде зачастую не видел своих пьес ни в печати, ни на сцене. Хотя и успешно перешел на литовский язык. А после краха СССР и получения Литвой самостоятельности пришло время умирать. Хотя евреи — «в течение тысячелетий» жили в этих «предсмертных» условиях страха, в лучшем случае, говорит Йосаде, «постоянного унижения».

Не отсюда ли их развитые умственные способности как самозащита и лекарство от страха? С другой стороны, еврей, встраивавшийся в социум той или иной страны, становится противоречив, отчего и рождаются люди со столь причудливыми биографиями, своего рода «чудики». Литовский драматург, начинавший как еврейский писатель, Йосаде еще и христианин, но тот, для кого «иудаизм — начало начал», «основы мирозерцания».

До последней минуты его «не волнуют проблемы имущественные. Ему бы дописать, додумать». Может, поэтому в книге больше всего волнуется последняя глава «Смерть и несколько слов после» и даже несколько слов в финале: «Долгие годы человек ищет — любовь, призвание, удачу. Ищет, не понимая, что же это такое — любовь, призвание, удача. В конце концов, оказывается: $2 \times 2 = 4$. В конце концов, оказывается: нам нужно совсем немного. А иногда кажется: нужно ли это вообще?»

Может, поэтому, от такого философского минимализма, Цейтлин именуется в книге своего героя одной, но весьма энергичной буквой, скорее звуком — «Й». Знак усиления, прорыва, пророчества. Таковой была и философия Дон Кихота с его донкихотством, взывавшим к лучшему в человеке. Случайно или нет, но фамилия героя Цейтлина так хорошо совпадает с одним из вариантов фамилии героя Сервантеса: «Кесада», т. е. «сырный пирог» по-испански. Заметим, однако, что сам Дон Кихот именуется себя Алонсо Кихана Добрый, подчеркивая свое главное качество. Совпадение из разряда характерных.

И еще одно такое, характерное совпадение или притяжение близких и по звучанию, и по смыслу. Героем одной из лучших книг Цейтлина «Голос и эхо» («Долгое эхо», 1985) стал Кристианос Донелайтис, начало фамилии которого также отсылает к герою Сервантеса. Это и не литературоведческое исследование, и не чистая очеркистика, а тот же «экспериментальный» жанр мозаики, основанный на беседах с писателем. Только не умирающим, а уже давно умершим. Долголетие же ему (Донелайтис жил в 1714—1780 гг.) обеспечила его поэзия, точнее одна поэма, но какая!

Поэма «Времена года» (1765—1775) — это чудо непрерывности стиха, его жизни. Гекзаметр Донелайтиса по-гомеровски эпичен, изображая картины жизни литовского села 18 века, колоритные портреты богачей и бедняков, тяжелую работу одних и буйные забавы других, нищету и обжорство, пьянство и драки. Поэт спускается на самое дно жизни, и тут же взвивается ввысь вместе с птицами, к солнцу и радости, несмотря ни на что. Свойство ли это поэтического размера или поэтического мировоззрения Донелайтиса, но мир в его стихах предстает единым и слитным в своей пестроте. Может, потому, что поэт необычно свободен и естественен в переходах от одной картины к другой.

Главное в поэме, что жизнь продолжается. За «Радостями весны», «Трудами лета», «Благами осени» и «Зимними заботами» (главы поэмы) опять последуют «Радости весны» и т. д. и т. д. «Времена года» — это времена жизни, показывающие ее круговорот, смерти там нет места, она просто невозможна в этой бесконечной смене времен года. Может, поэтому и привлекла внимание Цейтлина эта книга без конца и без смерти: задумываясь о проблеме ухода из жизни, он пытается понять «логику этой удивительной жизни», почему «ниточка судь-

бы Донелайтиса», становясь «все тоньше и тоньше», не прервалась, а наоборот, только укрепилась, и этот поэт стал не просто широко известным в Литве и за ее пределами, но и оказал «уникальное влияние... на развитие целой культуры»: Донелайтиса знает с детства каждый литовец.

Литература существует в поле культуры, ею порождается и ее же обогащает, литературу можно изучать с точки зрения ее бессмертия, т. е. культуры как одного из синонимов существования человека и человечества. И потому книга Цейтлина о Донелайтисе, «литовская тетрадь», это книга прежде всего о людях, в которых Донелайтис продолжает жить и воскресать. Книга очерковая, мозаичная, полная поездок, встреч, бесед.

Таков уж стиль мышления и мировоззрения Цейтлина, что искусственная цельность ему не нужна. Ибо это всегда — сужение, ограничение, селекция, значит, и ущербность. Он работает со всем материалом, сразу в поле культуры и литературы. Таковы его очерки в книге «Несколько минут после. Книга встреч» (СПб, Алетейя, 2012) о создателе тувинской письменности А. Пальмбахе, обрусевшем немце по отцу, говорившем по-тувински лучше, чем коренные жители. О поэте из высокогорного армянского села Норайре Багдасаряне — Норике, в котором так «много сошлось несоединимого», качество, как мы помним, весьма ценное автором в творческих людях. О шорском поэте С. Торбокове, в поэзии которого «трагическое отсутствовало» и смерти которого от сердечного приступа помогли пчелы, не узнавшие хозяина. Трагическое все же наступило поэта, не в творчестве, так в жизни. Вернее, в смерти.

III.

Эта книжная диалогия Евсея Цейтлина о том, как жизнь переходит в смерть и обратно. Как в Йокубасе Йосаде есть Донелайтис, а в Донелайтисе — Йосаде, завершивший свои «Времена года» злой зимой, мертвящей природные стихии. И весна с летом не наступят, если люди, «существа неразумные», не будут молиться Богу, а Бог не услышит людей: «Не забывай же и впредь о нуждах наших, всевышний...» — заканчивает свою поэму, точнее, ее текст Донелайтис, поэт и кенигсбергский проповедник. Да и Йосаде говорит о том же, признавая, что человек, в силу своей гордыни, ищет то, что уже найдено и существует там, на небесах. Но не искать не может.

Таков же, в общем-то, и труд критика / литературоведа. Найти в неизвестном, т. е. лит. новинке, вечное, уже давно открытое классиками, но вечно же — пока существует еще литература — нуждающееся в переоткрытии. На этом вот отрезке времени, на данной отметке шкалы лит. процесса. Активнее, интереснее прочих в этом вечно молодом поиске новые, только что явившиеся критики, энергичные, полные сил.

Такова Валерия Пустовая, обозначившая себя на самых престижных площадках «толстых журналов» одновременно с началом века и тысячелетия и проявившая искусство цепкого «критикования», глубокого бурения лит. продукции. Выпало Пустовой шагнуть в литературу в одном строю со славными неореалистами. Так что вольно или невольно устои и векторы своей критической деятельности она сформировала под влиянием прозы Р. Сенчина и И. Кочергина, З. Прилепина и С. Шаргунова, О. Зоберна и Д. Новикова. Поэтов, как можно понять, в среде этих сугубых прозаиков почему-то не оказалось, отсюда, видимо, и суровая эпика статей Пустовой, ее концептуальность — пожалуй, главная черта ее творчества. Собранные в одну нетоненькую книгу «Толстая критика. Российская проза в актуальных обобщениях» (М., РГГУ, 2012), да еще под эгидой главного гуманитарного вуза страны, ее статьи особенно отчетливо отражают эту основательность критика.

Дело тут еще в построении книги. В том, что серьезные, рассужденческие, железно аргументированные статьи и серии (блоки) статей даны в первой половине книги. Кульминации эта серьезность достигает в середине, в разделе о теме «постистории» в литературе. А затем, как под горку: от «сказок» в произведениях расплодившихся ныне сказочников-«сказкоделов» до новобранцев неореалистического цеха с неизвестными широкому (зауральскому наверняка) читателю именами. Если бы Пустовая переименовала строй своей книги, начав ее со сравнительно «легких» разделов, то, может, и ощущения были бы другими?

Скажем, начать бы с Сергея Шаргунова, его лит. практики и кредо. Он ведь — «первый уровень познания... любопытное младенчествушное “Я”», которое «ползет по открывшемуся полю жизни, счастливый в своем неведении о Боге, грехе и смерти», с исповеданием неореализма в духе «новой искренности», как реализма, «возвышающегося над реальностью». И далее — состыковать бы эти романтические главки со «сказочной» главой, смягчив схематичную су-

хость, почти академизм классификаций (а они в книге сплошь и рядом). Все равно ведь анализ каждого отдельно взятого «сказкодела», будь то М. Фрай, Л. Петрушевская, А. Старобинец и др. у Пустовой получается лучше, ярче, интереснее. А «деконструкторы» они, «консерваторы» или «новаторы» — дело второе, исходящее из гиперкритического отношения Пустовой к наличному лит. материалу.

Сама Пустовая тоже, по сути, творит «сказку»: «Критика... это построение собственного мира, подобно тому, как писатель создает индивидуальный художественный мир». В том-то и дело, что индивидуален не только каждый критик, будь то «традиционалист» О. Павлов, «журналист» Д. Быков или «эстет» К. Кобрин. Индивидуальны и Сенчин с Прилепиным, что, порой, весьма противоречит их направленческому неореализму.

Излюбленная метода Пустовой — сравнение, сравнение и еще раз сравнение, дающее пищу мысли и без того жадной на скорые выводы и актуальные обобщения (см. подзаголовок книги). Так, анализ двух романов В. Маканина и С. Гандлевского только подготавливает вывод о том, что «Сенчин — продолжение линии Гандлевского (в его романе «(НРЗБ)». — В. Я.), Кочергин — преобразование линии Маканина (его романа «Андеграунд...». — В. Я.)». А включение Сенчина в раздел «портретов» таких разных писателей, как Вик. Ерофеев, А. Иличевский и В. Пелевин, просто-таки обязывает читателя к сравнениям. Да и как не сравнивать, если Сенчин изображен тут словно бы «на фоне», изначально с «плюсом». Очевидно, в силу его «религиозного инстинкта», пусть и «вывернутого».

Понятно, что глава «Постистория. Как жить дальше» неплохо дополняет палитру критика, показывая разнообразие интересов, вкус Пустовой к основательным суждениям, глубокой (может, не всегда адекватно-соразмерной таланту того или иного писателя) шпенглеровской разработке темы. Тема вот только слишком уж скучная, несмотря на далекие от скуки произведения анализируемых авторов («Американская дырка» П. Крусанова). Вообще, думается, литература 00-х, а нынешняя так и еще изрядней, грешила подобной актуальной словесностью часто, когда «крепкая связь с общественными настроениями последнего времени», говоря словами Пустовой, делала ту или иную книгу чересчур актуальной и, следовательно, быстро устаревающей. Помнит ли кто сейчас, например, книгу Доренко «2008»? Вопрос риторический.

Но Пустовая, видимо, дорожит своими «постисторическими» статьями, как Н. Бердяев дорожил свободой своего философствования. Вспомнили же мы автора «Самопознания» не всуе: на страницах «Толстой критики» это имя встречается не так уж редко и почему бы не предположить, что Бердяев является для автора подлинным эталоном в ее критическом творчестве, склонном к философии? Интересные параллели можно наметить, если вдруг их сравнить, например, с помощью другого философа, В. Зеньковского: «излагать философские идеи Бердяева очень трудно» в силу его «презрительного отношения к философской систематике». Близко к автору «Толстой критики» и такое замечание: «Часто читателю трудно уловить, отчего данная фраза следует за предыдущей: порой кажется, что отдельные фразы можно было бы легко переместить с места на место — настолько неясной остается связь из рядом стоящих фраз».

Не будем углубляться насчет «передвижки» фраз и степени связности текстов Пустовой, но фразеология и стиль критика по-своему афористичны. Где бы мы ни открыли книгу: «Эксклюзивность детства Саши Савельева» и «драма аномальности его детства», «бабушка — это антидетство», «текст готовит шибайущий в нос шейк из неуместной иронии... дутой серьезности», «слабости героя заматерели» и т. п. И достаточно много тяжелых фраз: «Проблема выстаивания личности уступает здесь место проблеме самосохранения жизни за счет воспроизведения в каждом новом поколении ее нормального хода».

Избыточность критических излияний все же лучше бедности или шаблонности мысли. И хотя кажется, что иногда Пустовая, анализируя тексты, больше объясняет и доказывает сама себе, чем читателю, чувствуешь силу и уверенность критика. А это, пожалуй, главное в нашей все более уходящей в историю профессии. Впрочем, такие, как Валерия Пустовая, вряд ли согласятся с последним утверждением.

IV.

Без убежденности в своей правоте критике, пожалуй, не выжить на арене лит. борьбы, часто напоминающей гладиаторскую. Юрий Павлов, автор книги «Критика XX — XXI вв. Литературные портреты, статьи, рецензии» (М., Литературная Россия, 2010), предпочитает называть своих единомышленников «правыми», что, в общем-то, соответ-

ствует давней отечественной традиции деления мыслящих людей на консерваторов и радикалов, славянофилов и западников, архайстов и новаторов и, наконец, «русских» и «нерусских».

Традиция эта, видимо, неискоренима, на каждого Карамзина всегда найдется свой Шишков, а на Белинского — Розанов. Именно с него, великого парадоксалиста отечественной словесности, словно материализовавшегося из «подпольных» произведений Достоевского, и решил начать свою «право»-критическую книгу Павлов. Хотя трудно найти писателя более разноречивого, маятникоподобного и, в общем-то, беспринципного, чем Розанов. Сам автор, не затушевывая размах этих колебаний между полюсами, говорит, например, о достаточно длительно-положительном его отношении к Белинскому, родоначальнику русской интеллигенции, погубившей в итоге страну.

Выходит, своими похвалами «неистовому Виссариону» сам Розанов внес лепту в крушение Российской империи, «слинявшей в три дня»? С евреями и еврейством еще более наглядно: глубокий знаток Ветхого Завета и древнего иудейства, он постоянно переходил от любви к ненависти в отношении роли евреев в судьбе России. Пока, наконец, перед смертью не попросил прощения «за все мои прегрешения» перед этой «благородной и великой нацией еврейской». Казалось бы, нагляднее не придумаешь и не процитируешь. Тем не менее Павлов, приведший эти слова Розанова, заканчивает главу уверенностью в том, что «в личности и творчестве Розанова русское начало преобладало над русскоязычным».

Если уж такие недюжинные мыслители так сильно колебались, то что говорить о нынешних последователях Розанова в их борьбе с «русскоязычностью» за «русскость»? Картина тут непростая, градуированность шкалы между этими полюсами немалая. В книге Павлова можно обнаружить такие промежуточные стадии и отдельные явления, как «советский официоз» (Г. Марков, С. Сартаков), «безопасный русизм» (С. Залыгин), «денационализированные русские» (Д. Быков). Сам автор выбирает трюичное деление русских, «три народа»: «большой народ» — по культуре, духу и исповеданию «в своей жизни и деятельности православных идей и идеалов»; «малый» — русский лишь «по крови» и противоположный «большому по означенным ценностям»; «амбивалентный», «совмещающий в себе взаимоисключающие идеалы, ценности «малого» и «большого» народов.

Сам Павлов, кстати, относит себя к последним: «Я — амбивалентный русский», откровенно пишет он, характеризуя, таким образом, и всю свою книгу, «розановскую» по зачину и представленным в ней лит. портретам. Ибо главные лица «русской партии» в литературе не менее противоречивы, чем их духовный глава. Вторым после Розанова не зря поставлен В. Кожин, учившийся пониманию литературы у М. Бахтина и исполнивший его «совет»: «Читайте Розанова». Сам автор «Поэтики Достоевского» и «Рабле» еврейской темой не вдохновлялся: теоретик «полифонии» и «карнавальности» был достаточно амбивалентен для этого. Зато Кожин увлекся, обнаружив, что и семиотизм тоже нужно дифференцировать.

Как и у русских, у евреев тоже есть три типа, из которых только один отрицательный — тот, «который и не еврей и не нееврей (т. е. в условиях русской жизни чужд ее основам)», но «стремится воздействовать на политику, идеологию, культуру». Вот и получается, что русские и евреи квиты: и те и другие амбивалентны и обвинять друг друга могут только в отсутствии писательского таланта или недостаточной компетенции, если речь идет о критике. «Кровь», национальность тут ни при чем.

Собственно, этому — уличению того или иного мастера критического цеха в ошибках и несуразностях, подлинных или мнимых, в стиле мастера этого дела В. Бушина, — и посвящена эта книга. В главе об «эстетствующем интеллигенте» Б. Сарнове перечисляются большие и малые ляпы автора «Самоубийства Маяковского», в основном вокруг Л. Брик, в которой Павлов не находит ни одного светлого пятна. Любить такую, беспросветную, подлинно национальный поэт не мог, потому и Маяковский — один из самых «химически чистых русскоязычных» писателей. Не найти позитива и в главах книги о Д. Быкове: «Чичиков и Коробочка в одном флаконе», он по-хлестаковски судит и о Пастернаке и обо всех, кого упоминает в своей ЖЗЛ-овской книге (Блок, Цветаева, А. Вознесенский). Причиной всему не только неконтролируемость его словесного потока, но и «шестидесятничество», т. е. точка зрения «денационализированной личности».

Иначе и быть не может у Павлова, высоко оценившего ЖЗЛ-овские биографии А. Островского и Достоевского, написанные М. Лобановым и Ю. Селезневом. Эти признанные вожди «русской партии» единственно безупречные фигуры в книге Павлова, ибо основывают свои позиции на «твердых народных морали». Написанные ими био-

графии классиков Павлов столь же придиристо не разбирает, увеличивая их положительность на фоне антиподов — С. Рассадина («религиозно-духовная составляющая отсутствует»), А. Дементьева («склонность к манипуляциям») и его шефа по «Новому миру» А. Твардовского («прежде всего советский человек»), О. Сулейменова (автор «Аз и Я» пишет, что «русичи — дикие жители лесных чащоб», приобрели культуру от евреев через кочевников), В. Кирпотина (ставит «художника-реалиста» в Достоевском выше «верующего проповедника») и даже В. Кожина, высказавшего идею «ренессансного реализма» («равновесие нации, личности, государства») в творчестве Пушкина и Гоголя.

Найдутся изъяны и у других: И. Золотусский плохо пишет о Победоносцеве и хорошо о Ельцине, В. Бондаренко грешит «авангардизмом» и посейчас, отыскивая «русское начало» у И. Бродского, А. Витухновской, В. Сорокина, И. Дедков постоянно «лавировал» между «левыми» и «правыми», а В. Лакшин, идеолог «новомирства», всю жизнь оставшийся «левым», только к концу жизни раскрылся как «правый» в своих дневниках.

Характер этой книги, несомненно, газетно-публицистический. И не только потому, что все ее главы — статьи из газет «Литературная Россия» и «День литературы». Но и потому, что во главу угла ставит тот самый безответный русско-еврейский вопрос. Ибо дело не в нациях, а в личностях, многообразие которых показывает сам Павлов в своей книге. Предъявлять друг другу счет на уровне наций — вопрос на самом деле бухгалтерский.

V.

Есть, впрочем, еще одна форма лит. критики, загримированная под художественное произведение. Жанр непрямого, гипотетического (от серьезного научного слова «гипотеза») высказывания таит в себе огромные возможности. С одной стороны, сладость запретного, с другой — еще более сладкое рассужденчество, когда можно до такой тонченности дойти, до такой мудрости, почти масонской, оккультной, что дальше просто некуда.

Не зря автор романа «Икс» (М., Эксмо, 2012) Дмитрий Быков написал его, имея опыт почти сакральных «Орфографии» и «Остромова» о тайне буквы «ять» и людей, вычеркнутых в 1918 г. вместе с ней реформой не только орфографии, и о тайне «учеников

чародеев», «полулюдей», живущих, вопреки их «высоколевитирующим» знаниям, в полупространстве-полувремени. Новый роман, свободный, слава богу, от многословной многостраничности романов предыдущих, сакрализует М. Шолохова и «шолоховский вопрос» об авторстве «Тихого Дона».

Быков, правда, сразу же, еще в предисловии, откестился от этого набившего оскомину «вопроса», заявляя, что расширяет роман до темы «тайны авторства как такового». Но уйти хоть целиком, хоть частично ему уже невозможно: материал тут сплошь «шолоховский», тем более что и камуфляж тут чисто символический. Диагноз прозрачен, как фамилия главного героя Шелестова: авторов должно быть обязательно как минимум двое, лучше совершенно разных, чтобы из этого «зазора, от щели этой» между ними и выходило на письмо, в тексте все самое лучшее, художественное. При этом автор № 1, как правило, старый, старорежимный, а автор № 2, хоть и «переписчик», но с обновленным мировоззрением, что обеспечивает шедевральность произведению. «Кто не живет в двух мирах, тот тупица», — говорит Логинов, один из таких раздвоенных, но превысивший меру, чрезмерно увлекшись своим «Капоэром», миром № 2.

Итог: Шелестов-Шолохов использовал текст настоящего автора «Тихого Дона» Трубина, но если бы он этого не сделал, «Пороги» (т. е. «Тихий Дон») не стали бы гениаль-

ным романом. И больше роману ничего не надо: ни оправдания плагиата или апологетики Шолохова, ни, наоборот, его язвительного разоблачения. Все учтено, обдуманно, «пущено в дело».

Не таковой ли и должна быть, в конце концов, и лит. критика — не торопящаяся «припечатывать» и развенчивать только на основании «диагонального» чтения или нескольких вырванных из текста цитат? Пора уже стать философичнее, глубже, образованней наконец, писать о лит. новинке не «рецензию», а «роман» (не в смысле объема), предлагать не мнение, а теорию. Но для этого нужна и стоящая того литература. Желательно современная. Но может быть, как раз критика, максимально приближенная к литературе, и поднимет общий уровень отечественной словесности, расширит ее культурную среду до той, которая питала шедевры? Ясно одно: усилия должны быть обоюдными, формы — разнообразными, авторы — универсальными (по возможности!).

И пусть поначалу будут лабиринты и «бесконечные тупики». Появление шедевра — всегда просвет, выход, пусть и не окончательный. Лабиринт — обещание выхода, его преддверие, а не безысходность. Потому автор этой серии «лабиринтов» ныне выходит из лабиринта до новых времен и шедевров. Надеемся, что наша литература, и критика особенно, ими не оскудеет.



БУЛГАКОВ И ИМАЖИНИСТЫ

Известно, что М. А. Булгаков крайне сложно относился к современной ему поэзии. Единственным отзывом о стихах было письмо И. А. Булгакову с критикой на его пробы пера: он требовал от брата ясности языка, точности употребляемых слов, логической непротиворечивости содержания.

Как нетрудно догадаться, больше всего таким требованиями соответствовали не современные, а пушкинские стихи. Булгаков больше любил классику и к этому выводу приходят многие исследователи. Но если вчитаться хотя бы в самые известные произведения писателя («Мастер и Маргарита», «Белая гвардия»), немного разобраться в их контексте, то мы с удивлением обнаружим, что М. А. Булгаков пристально следил за жизнью и творчеством имажинистов.

Для того чтобы представить круг чтения М. А. Булгакова, надо обратиться к критическим обзорам, зафиксировавшим всё то, что происходило в литературном процессе того времени. «В 1920 и 1921 гг. в Москве шумели имажинисты. Главными у них были С. Есенин, А. Мариенгоф, А. Кусиков и В. Шершеневич» — констатировал И. Н. Розанов в своем «Обзоре художественной литературы за два года», датированном ноябрем 1922 г.

Начнём с небольшого штриха к нашей картине — это появление имажиниста Рюрика Ивнева в «Записках на манжетах»: «Вчера ехал Рюрик Ивнев. Из Тифлиса в Москву.

— В Москве лучше.

Доездили до того, что однажды лег у канавы:

— Не встану! Должно же произойти что-нибудь!

Произошло: случайно знакомый подошел к канаве и обедом накормил» [2].

Булгаков описывает фарсовый эпизод, укладывающийся в имажинистскую парадигму: «смешение чистого и нечистого», театрализованность, эпатаж.

Помимо Р. Ивнева в «Записках на манжетах» появляется и другой имажинист —

И. Старцев в качестве поэта Скарцова, поступающего на службу в Лито.

На сегодняшний день сложилось целое направление в литературоведении, изучившее роман в мельчайших деталях и интерпретирующее его в любом удобном контексте. Одна из волнительных тем этого направления посвящена поиску прототипов героев «Мастера и Маргариты».

Поэт Иван Бездомный — безусловно, образ собирательный, но и круг прототипов для этого образа весьма значим. Известный литературовед Мариэтта Чудакова писала: «И сам Есенин, и молодые поэты из его ближайшего окружения последних московских лет <...> Иван Старцев и Иван Приблудный — стали, на наш взгляд, материалом для построения “двух Иванов” — сначала Ивана Русакова в “Белой гвардии”, затем — Ивана Бездомного в “Мастере и Маргарите”».

Если с последним утверждением мы можем согласиться, то о прототипе Ивана Русакова у нас есть кардинально иное мнение, но об этом чуть позже. Вернёмся к Ивану Бездомному. Проще всего сопоставить его с Иваном Приблудным: оба имеют схожие псевдонимы, но в рассуждениях Валерия Мешкова в статье «Сергей Есенин и Михаил Булгаков» сразу отвергаются все поэты, не снискавшие большой славы: «Возникает мысль, что если в образе второстепенного персонажа романа, поэта Рюхина, Булгаков использовал какие-то черты Маяковского, <...> то и приходим к предположению, что прототипом Бездомного должна быть фигура поэта, никак не меньшая, <...> Сергей Александрович Есенин». Естественно, что это всего лишь одна из версий.

Другой герой романа — Коровьев-Фагот. Исследователь творчества Булгакова А. Барков видит прототипом этого героя и актёра В. И. Качалова, близко дружившего с имажинистами, и собственно имажиниста Н. Эрмана. Литературовед рассматривает фильм «Весёлые ребята»: «Помните сцену в фильме: стадо коров, ведомых “веселой

песней”, ломится напрямую через ухоженную усадьбу?.. <...> это было в жизни, в еще более непристойной форме <...> коровки попали на дачу не случайно, их погнали “Веселые ребята”, в их числе — Эрдман. <...> помните эпизод в романе, когда вся контора поголовно горланит “веселую песню”, и с ней же отправляется на грузовиках в психушку? И Фагот-Эрдман — разве сам фильм не стал глумлением над “светом”? Кстати: вспомните, с чьей легкой руки свихнулась эта контора? Правильно — кривляки-Фагота» [1].

Подобное глумление над частной собственностью, над «светом» и делает, по мнению А. Баркова, Н. Эрдмана одним из главных прототипов Фагота. Это версия достаточно спорная, но то, что Эрдман так или иначе повлиял на судьбу «Мастера и Маргариты», свидетельствует жена Булгакова: «О том, какое значение Булгаков придал его [Эрдмана] аресту, свидетельствует скупая запись в дневнике Елены Сергеевны от 12 октября 1933 года, — пишет тот же А. Барков. — “Утром звонок Оли: арестованы Николай Эрдман и Масс. Говорит, за какие-то сатирические басни. Миша нахмурился. <...> Ночью М. А. сжег часть своего романа”. Как можно видеть, сам факт ареста в какой-то мере повлиял на реализацию творческих замыслов Булгакова при создании “Мастера и Маргариты”» [1].

Обратимся ко второму популярному роману М. А. Булгакова. Как мы прежде выяснили, Мариэтта Чудакова называет в числе прототипов Ивана Русакова С. Есенина, И. Старцева и И. Приблудного. Первые два поэта, надо заметить, — имажинисты. Тем не менее нам больше импонирует в этом вопросе позиция С. Шаргородского, который приводит доказательства, что прототипом Ивана Русакова был А. Б. Мариенгоф, не исключая при этом «звериной метафоричности персонажа, которая воспроизводит зооморфный космос С. Есенина» [10] и личного знакомства Булгакова со Старцевым. На Мариенгофа указывает «матерная молитва» и общий цинический богоборческий дух стихотворений.

Помимо этого С. Шаргородский находит и других представителей имажинизма, зашифрованных в героях «Белой гвардии»: «Под маской Б. Фридмана, вероятно, скрывается художник Б. Эрдман <...> В. Шаркевич четко указывает на В. Шершеневича» [10]. И Б. Эрдман, с которым М. А. Булгаков тесно дружил в 30-е гг., и В. Шершеневич — оба участники Ордена имажинистов. Да и сама группа фантомистов-футуристов, в

которую входил Русаков, напоминает об имажинистах: вторая составная часть названия группы лишней раз напоминает о том, что Мариенгофа, Есенина и Шершеневича называли эпигонами Маяковского и Кручёных.

В основу пьесы «Зойкина квартира» положен случай, произошедший с Есениным и Мариенгофом. Шатова Зоя Петровна, содержавшая притон, который и описывается Булгаковым, арестована весной 1921 года. При её аресте были задержаны и Мариенгоф с Есениным. В 1929 году вышел в свет десятый номер журнала «Огонёк»: в нём следователь ЧК Самсонов опубликовал статью, в которой подтвердил наличие притона в действительности: «У Никитских ворот, в большом красного кирпича доме, на седьмом этаже посещали квартиру небезызвестной по тому времени содержательницы <...> специального салона для интимных встреч Зои Шатовой» [8].

В «Романе без вранья» Мариенгоф также описывает этот случай. Поэты не успевают попасть в дом Зои Петровны — на пороге их задерживает ГПУ: «В час ночи на двух грузовых автомобилях мы компанией человек в шестьдесят отправляемся на Лубянку. Есенин деловито и строго нагрузил себя, меня и “Почем-Соль” подушками Зои Петровны, одеялами, головками сыра, гусями, курами, свиными корейками и телячьей ножкой. В “предварилке” та же деловитость и распорядительность. Наши нары, устланные бархатистыми одеялами, имеют уютный вид» [5].

В «Зойкиной квартире» Булгакова действие происходит по адресу: Садовая ул., д. 105, кв. 104. В действительности такого дома не существовало, а притон, как утверждает и у Мариенгофа, и у Самсонова, находился у Никитских ворот. Но по обстановке в квартире, по имени главной героини контекст узнаётся легко.

Если говорить о поэзии, то и в этой пьесе предпочтение автора отдаётся стихам А. С. Пушкина и песне «Кокаинетка», чьё авторство приписывается и А. Н. Вертинскому, и В. Г. Агатову. Поэтические вставки создают необходимую атмосферу для предстоящего действия или же, наоборот, придают этому действию фарсовые нотки.

Один из действующих персонажей «Зойкиной квартиры» — Поэт. Как-либо идентифицировать героя невозможно, но есть один момент, который вкупе с остальным контекстом указывает на знание Булгаковым творчества имажинистов: «Курильщик достаёт бумажник. Зойка появляется как из-под зем-

ли, принимает два червонца. Один из них протягивает Лизаньке, та прячет его в чулок» [4; 123]. Именно этот червонец, запрятанный в чулок, напоминает известные строчки Мариенгофа из поэмы «Магдалина»: «А я говорю: прячь, Магдалина, любовь до весны, как проститутка “катеньку” за чулок» [6; 38]. Подобная аллюзия может показаться случайностью, если не принимать во внимание описанные нами выше совпадения и возможные прототипы булгаковских героев.

Также мы можем найти в исследованиях и новые прототипы для З. П. Шатовой и её квартиры: «В. Левшин, молодой сосед Булгакова по квартире № 34, искал прототипы в совсем ином ряду, — пишет М. Чудакова, — он писал о сходстве Зойки с женою художника Якулова [художник-имажинист. — *О. Д.*] (его студия помещалась в том же доме на Большой Садовой) Натальей Юльевной Шифф — “редкой красоты фигура и горбоносое, асимметричное, в общем, далеко не миловидное лицо” (в “Театральном романе” Максудову, задумавшему вторую пьесу, мерещится “женщина с асимметричным лицом”» [9; 330].

Ближе всех Булгаков сошёлся с двумя имажинистами — с братьями Николаем и Борисом Эрдманами. Об их визитах вспоми-

нает Е. С. Булгакова: «11 июня 1939 года пьесу Булгакова слушали братья Эрдманы, художник и драматург, их мнение было для автора особенно важным» [3]. Булгаков в тот период готовил пьесу для И. В. Сталина — это был давний госзаказ.

До этого эпизода с читкой пьесы «Батум» он писал письмо вождю в попытке выволить из ссылки Н. Эрдмана. Об этом мы можем узнать из комментариев к пьесе: «В письме к нему от 4 февраля 1938 года Булгаков просил в частности о том, чтобы Эрдману “была дана возможность вернуться в Москву, беспрепятственно трудиться в литературе, выйдя из состояния одиночества и душевного угнетения”» [3]. Как известно, И. В. Сталин был чуток к литераторам и их творчеству. И в этот раз прислушался к М. Булгакову. Н. Эрдман был возвращён, а позже в 1951-ом году был даже удостоен Сталинской премии за сценарий к фильму «Смелые люди».

Как мы видим, отношение Булгакова к современной поэзии было сложным, но писатель всерьёз следил за литературным процессом. Свидетельством тому являются аллюзии на творчество поэтов; сами поэты нередко становятся прототипами для героев книг Булгакова.



ЛИТЕРАТУРА

1. Барков А. Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита»: альтернативное прочтение [Электронный ресурс] // Сайт, посвящённый книге А. Баркова. Режим доступа: <http://meniprea.narod.ru/master35.htm>
2. Булгаков М. А. Записки на манжетах [Электронный ресурс] // Библиотека М. Машкова. Режим доступа: <http://lib.ru/BULGAKOW/manzhety.txt>
3. Булгаков М. А. Комментарии к пьесе «Батум» [Электронный ресурс] // Сайт, посвящённый творчеству Булгакова. Режим доступа: <http://bulgakov.lit-info.ru/bulgakov/piesy/batum/batum-5.htm>
4. Булгаков М. А. Полное собрание пьес, фельетонов и очерков в одном томе — М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2010 г. — 123 с.
5. Мариенгоф А. Б. Роман без вранья: роман; мемуары. — М.: Эксмо, 2009. — С. 194 сл.
6. Мариенгоф А. Б. Стихотворения и поэмы. / Составление, подготовка текста, вступительная статья, примечания А. Кобринского. — СПб.: Академический проспект, 2002 г. — 38 с.
7. Мешков В. Сергей Есенин и Михаил Булгаков. <http://esenin.niv.ru/esenin/articles/article-16.htm>
8. Ройзман М. Д. Всё, что помню о Есенине [Электронный ресурс] // Электронная библиотека «Либрусек». Режим доступа: <http://lib.rus.ec/b/46589>
9. Чудакова М. Жизнеописание Михаила Булгакова. — М.: Книга, 1988 г. — 330 с.
10. Шаргородский С. Фантомист-футурист Иван Русаков [Электронный ресурс] // Заметки о Булгакове. М.: НЛЮ, № 30, 1998 г. Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/nlo/1998/30/shargor-pr.html>

НИКОЛАЙ КЛЮЕВ

Главы из биографического повествования

РОЗА, СМЯТАЯ В НАРЫМЕ

В Томске Клюев снял угол в избе, значившейся как дом № 12 по переулку Красногоского Пожарника.

Из письма Н. Ф. Христофоровой-Садомовой от 24 октября 1934 года:

«На самый праздник Покрова меня перевели из Колпашева в город Томск, это на тысячу вёрст ближе к Москве. Такой перевод нужно принять за милость и снисхождение, но, выйдя с парохода в ненастное и студёное утро, я очутился второй раз в ссылке без угла и без куска хлеба. Уныло со своим узлом я побрёл по неизмеримо грязным улицам Томска. Кой-где присаживался, то на случайную скамейку у ворот, то на какой-либо приступок. Промокший до костей, голодный и холодный, уже в потёмки я постучался в первую дверь кособокого старинного дома на глухой окраине города в надежде выпросить ночлег Христа ради. К моему удивлению, меня встретил средних лет бледный, с кудрявыми волосами и такой же бородкой человек — приветствием: “Провидение послало нам гостя! Проходите, раздевайтесь, вероятно, устали”. При этих словах человек с улыбкой стал раздевать меня, придвинул стул, стал на колени, стачил с моих ног густо облепленные грязью сапоги. Потом принёс валенки, постель с подушкой, быстро наладил мне в углу комнаты ночлег. Я благодарил, еле сдерживая рыдание, разделся и улёгся, — так как хозяин, ни о чём не расспрашивая, попросил меня об одном: успокоиться, лечь и уснуть. Когда я открыл глаза, было уже утро, на столе кипел самоварчик, на деревянном блюде — чёрный хлеб...»

Первый раз за всё время ссылки он встретил такое отношение к себе. Впору было залиться благодарными слезами.

Он знал, что его конец близок. А насколько он был близок — тому подтверждение было в том же документе о переводе

поэта в Томск. На казённой бумаге появилось примечание, сделанное синим карандашом: «В дело массов». Юрий Хардинов, первым исследовавший «Дело ссыльного Н. А. Клюева», дал существенное разъяснение по этому поводу:

«По утверждению помощника прокурора г. Москвы советника юстиции В. Рябова, синий карандаш на делах тридцатых годов означал предрешённость судьбы — неминуемую гибель жертвы НКВД. Эта надпись на деле Клюева выполнила своё роковое предназначение».

* * *

Как и в Колпашеве, поэт вынужден был просить милостыню... Об этом вспоминала студентка медицинского института Нина Геблер в 1989 году:

«...Меня остановил очень пожилой, как мне показалось, мужчина, высокого роста, склонный к полноте, бледный с несколько одутловатым лицом, с полуседыми волосами, подстриженными по-крестьянски под “кружок”. Одет был очень плохо: запомнилась синяя в белую полоску рубашка-косоворотка, по окружности опоясанная шнурком. Но, несмотря на плохую и даже грязную одежду и рваные брезентовые туфли, он имел вид благородного, интеллигентного человека. Он подошёл ко мне, протянул руку и попросил милостыню на кусок хлеба опальному поэту Клюеву. Я смутилась, денег как будто со мною не было, и я предложила ему зайти к нам...»

А просящий милостыню Клюев и здесь *подобился* своему «прадеду Аввакуму», вещавшему: «Сказать ли, кому я подобен? Подобен я нищему человеку, ходящу по улицам града и по окошкам милостыню просящу...»

В гостях у семьи Геблер он вспоминал и о Есенине, и о Горьком, и о Леонове, и о

* Окончание. Начало в № 5 (2013 г.).

Пришвине... На вопрос, не сослан ли Клюев за антисоветскую работу против коллективизации среди крестьян, отвечал, что никакой такой работой не занимался и ни в каких организациях не состоял.

По Томску быстро разнеслась весть о том, что в городе отбывает ссылку известный поэт, учитель Есенина, при том что есенинские стихи ходили по рукам в огромном количестве списков. Студенты Томского университета, преодолевая вполне естественную тревогу (за одно чтение Есенина и обсуждение его стихов можно было вылететь из ВУЗа с волчьим билетом, не говоря уже об исключении из комсомола или из партии!), решили прийти к поэту в гости.

Их было четверо — Виктор Козуров, Николай Копыльцов, Кузьма Пасекунов, Ян Глазычев.

«Человек, вышедший из дома, очень похож на Льва Толстого, — вспоминал Козуров. — Обращало внимание чисто внешнее сходство: тот же примерно рост и комплекция, овал лица, жилистые крестьянские руки и та же лопатообразная борода, только тёмная и заметно короче. Но главное, что бросалось в глаза, — это одежда: простые шаровары из какой-то грубоватой, чуть ли не домотканой материи, под цвет им — просторная рубашка-косоворотка, подпоясанная узким неброским ремешком, на ногах — домашние туфли, надетые на босу ногу.

Неволью подумалось, что все эти атрибуты не случайны. Вероятно, человек сознательно и обдуманно доводил их до полной похожести. Об этом свидетельствовала и поза, которую он принял, появившись на крыльце: ладонь, заложенная за пояс, и внимательный, изучающий взгляд чутько прищуренных глаз, устремлённый в нашу сторону, и лёгкая полуулыбка на лице, и продолжительная пауза, которую он выдержал, прежде чем заговорить с нами...»

Это было написано уже в 1981 году, и на всём этом уже лежит отчётливый отпечаток клюевской «репутации», устоявшейся за минувшие годы. Козуров не мог не отдавать себе отчёта в том, что видел перед собой нищего и загнанного человека, носившего то, что у него есть. Но уж больно велик оказался соблазн представить Клюева талантливым актёром, «обдумавшим» своё появление перед студентами... Сам же Клюев давно уже отринул все «личины житейские» и покаялся в них, о чём мемуарист, естественно, не имел никакого понятия.

Студенты начали расспрашивать его о Есенине, и Клюев, задумчиво поглаживая бороду, говорил:

— Да, Серёжу-то я знал хорошо. Хорошо знал Серёженьку... Жаль мальчика. Рано ушёл. Совсем рано. Лучше бы он меня вспоминал. Так было бы справедливее. Ну, а что я вам о нём скажу? Что нужно, об этом в своё время сказано и написано. А чего не нужно, лучше и не вспоминать. Так-то оно правильнее будет. Одно скажу: большого человека потеряли, очень большого. Вряд ли ещё когда такой народится...

На просьбу прочесть любимые им стихи Есенина Клюев ответил, что любит все его стихи как свои. Может, его-то стихи больше любит, чем собственные.

И начал читать «без перерыва и без видимой связи между собой», — как вспоминал Козуров: «Песнь о собаке», «Персидские мотивы», «Сорокоуст», «Письмо к матери»... «С особым волнением и дрожью в голосе и, кажется, с искренними слезами на глазах прочёл он, по нашей просьбе, “Клёны мой опавший...” И долго потом не мог успокоиться, вздыхая и проводя ладонями по глазным впадинам. Но “Русь уходящую” читать отказался, никак не мотивируя своего нежелания».

Он словно заново вернулся памятью к последней встрече с Есениным в «Англетере», к той невольной обиде, которую нанёс своему брату, слушая его последние стихи. И читая, каялся перед ним. И за те свои слова, и за несправедливые строчки «Кремля», которыми отбрасывал Есенина в прошлое... Он уже знал всё, что вешали делегаты писательского съезда о его любимом друге: Бухарина, услышавшего в есенинском поэтическом голосе «культ ограниченности и кнутобойства», у которого Есенин представлялся как «идеолог кулачества»; Тихонова, усмотревшего «однообразные и скучные банальные строки последнего его (Есенина. — С. К.) периода», что, якобы, «написаны на костях его биографии»; Александровича, у которого Есенин «кулацкими элементами фольклора питал своё творчество»... Нет, не желал он петь с ними в унисон, не для них были его песни — ещё и потому просил позже Яра выслать ему «Кремль» для переделки.

И потом, разговаривая с пришедшим к нему рабфаковцем Алексеем Шеметовым, спросил:

— Кто же из поэтов нашего века вам ближе? Тот, кого ныне славят? Маяковский?

— Нет. Есенин. И вы.

— Вот как! Значит, молодёжь нас знает? Не думал. Выходит, мы не совсем забыты. Отрадно. Есенин — глубинно русский песнопевец. Придёт время, Россия будет отмы-

ваться его чистоструйной поэзией от пожара-ришной копоти...

Как сказал тогда в «Англетере» — будут нежные юноши и девушки книжечки составлять из его стихов.

И сейчас — как в воду глядел.

* * *

Всё, кажется, позади у старого поэта. И в эти последние два года жизни поражает взлёт его духа, высота его мысли, душевная сосредоточенность и *очищение сердца*. Именно так он назвал своё философское стихотворение в прозе, которое начал писать в Томске в конце 1934-го и, закончив, отослал Христофоровой-Садовой 30 апреля 1935 года.

С многочисленными ссылками на книги Ветхого и Нового завета Клюев, отвечая на письмо Надежды, излагает самые сокровенные мысли, пишет, по существу, о своём духовном *перерождении*, совершающемся в состоянии спокойной и углублённой радости от предвкушения грядущего очищения и сороднения с Господом нашим.

Он пишет о людях с *природным сердцем*, которые «совершают свой грех добровольно... страшатся суда и смерти, но не боятся греха»... Об *обновлённом сердце* человека обращённого, который находится в состоянии борьбы, старается не грешить, но ему это не удаётся... Это стадии возрастания духа, которые проходил он сам. И, наконец, об *очищенном сердце*.

«Вот тогда-то я уже не уклоняюсь от прямого пути, жизнь моя течёт, как река. Новые песни вложены в уста мои...

Многие поверяют Писание своим опытом, вместо того, чтобы проверить свой опыт Писанием. Многие объясняют Слово Божие согласно с своими мыслями, чтобы успокоить совесть. Не верьте ни своему, ни чуждому опыту: верьте тому, что говорит Бог о благословении, Им даруемом... В своём последнем письме ко мне Вы несколько раз советуете мне обратиться и очиститься. Но при обращении душа не получает очищения — она только с момента обращения становится собственностью Христовой, но ещё не получает очищения, о котором говорит Иоанн, XV, 2: “Всякую ветвь, приносящую плод, Он очищает”. Итак — очищению подвергается ветвь, уже находящаяся на лозе... <...>

Дорогая Надежда Фёдоровна, драгоценное дитя Божие, Вы, осмысливая меня как личность, — чаще принимаете за меня подлинное лишь моё отражение в искушениях,

которыми я, как никто, бываю окружён... Прикосновение к нам раскалённых стрел сатаны не есть ещё бездна и грех (Еф. VI, 16). Хотя они будут обжигать нашу душу и лишать нас покоя, вызывая те или <иные> мысли и сомнения, но если мы будем только спокойно наблюдать это, стрелы улетят обратно так же скоро, как прилетели. Наоборот, если мы углубимся в эти мысли, будем стараться понять, откуда они явились, — тогда горе нам... Вспомните моё спокойствие в молитве и при встрече с искушениями. *Только спокойной сердцем может моё спокойствие при встрече с грехом объяснить моим участием во грехе* (выделено мной; и это нужно помнить при любом разговоре о Клюеве! — С. К.)... Не смотрите на свою или чужую немощь, но взирайте на могущество Божие. Не смотрите на свою наклонность ко греху, это дрожжи Адамовы, но всегда помните силу Христа, тогда Он и сохранит Вас. Так поступаю я — один из грешников, ради которых и пришёл Свет в мир».

Клюев беседует с Христофоровой-Садовой как с равной себе собеседницей, отвечая на её, судя по клюевским письмам, довольно жёсткие послания, которые, к сожалению, не сохранились. В «Очищении сердца» он продолжает и развивает мысли о Павла Флоренского из книги «Столп и утверждение истины» («потрясающей книги», по его же словам), в частности, из письма девятого «Тварь», где Флоренский рассуждает о тварной природе человека: «Очищение сердца даёт общение с Богом, а общение с Богом выпрямляет и устрояет всю личность подвижника. Как бы растекаясь по всей личности и проникая её, свет Божественной любви освящает и границу личности, тело, и отсюда излучается во внешнюю для личности природу. Через корень, которым духовная личность уходит в небеса, благодать освящает и всё окружающее подвижника и вливается в недра всей твари». Клюев, прослеживая свою собственную духовную эволюцию, отодвигает *тварную* тему в сторону и сосредотачивается именно на «общении с Богом», путь к которому именно в «очищении сердца». Именно оно преобразует душу и сообщает до духовное равновесие, которое необходимо в той жизни, где нищета, грубость, голод и предчувствие близкого конца.

* * *

А что же Анатолий Яр-Кравченко?

С переездом в Томск Николай перестал получать его письма. Сам же Яр в письмах к

родным с увлечением расписывал свою бурную искромётную жизнь.

«Я сейчас заканчиваю портреты Куйбышева, Кирова и этим заключается книга Челюскинцев. Выйдет она 13 апреля. А первая книга — Вам. В ней 26 моих портретов. На эти деньги я шью шубу из лучшего драпа с настоящим котиковым воротником. На это придётся добавить денег. У меня есть надежда на деньги...»

Успех, материальное благополучие, вход в официальный живописный синклит... Всё это не могло не сказаться на его отношении к жизни. Не тот уже мальчик был Анатолий, который наслаждался каждой минутой общения с дедушкой.

Из письма Клюева Лидии Кравченко, матери Анатолия:

«От Толи четвёртый месяц не получаю никакой весточки. Его любовница слишком опытна, чтобы выпустить добычу из своих когтей. Но я надеюсь на природный ум нашего горячего художника. В его годы человек меняет не только кожу, но и душу...»

Впрочем, Клюев не мог не понимать, что дело здесь не только и не столько в «любовнице».

Из писем Анатолия родителям:

«Н(иколаю) А(лексеевичу) не пишу по некоторым соображениям, очень занят. Напишите ему самые дорогие и лучшие слова. Он благословил мой жизненный путь великим светом красоты и прекрасного. Имя его самое высокое для меня...»

«Я среди этих каменных гор и этого гордого молчания природы много думаю о Дедушке, который прошёл через мою жизнь, показал мне диковинную птицу и ушёл. А я стою зачарованный, стою, боюсь дышать, чтоб не отпугнуть паву. Но она неудержима, обнимает протянутые к ней руки и расправляет крылья, чтоб улететь. Я плачу».

Анатолий сохранит все письма Клюева и все подаренные и присланные ему стихи. Он сохранит и светлую память о нём до самого конца своей жизни. Но пава улетела уже тогда, когда вкусил молодой живописец плодов официального признания. И не желал ничем омрачать свою новую жизнь. Перепиской со ссыльным поэтом — тем более.

Анатолий прошёл невредимым через все испытания, окончил свои дни в почёте. О Клюеве вспоминал радостно и благодарно, но скуп.

И всё же Николай продолжал писать Анатолию. И в одном из писем, уже незадолго до конца, выслал своей последнее из известных нам стихотворений.

* * *

«В чаше страдания не может быть ни одной лишней или бесполезной капли».

Эти слова Александра Блока из письма Клюеву, запомненные и пронесённые через годы, Николай поставил в качестве эпитафии вместе с цитатами из «Послания к Евреям», «Книги пророка Исаяи» и «Экклезиаста» в письме к Лидии Кравченко.

Николай регулярно посещал Троицкую единоверческую церковь, где настоятелем был бывший князь Ширинский-Шихматов, с которым у поэта сложились близкие и доверительные отношения. Службы в ней совершались до 1939 года, когда она была закрыта, а открылась вновь только в 1944 году.

В иконостасе и сейчас можно увидеть домовые иконы XVIII века: Обрадованное Небо, Трерядницу, Николая Чудотворца, Архангела Михаила... В церкви было три придела — для староверов, единоверцев и католиков (которым негде было больше совершать свои службы)...

Мимо застроенного теперь оврага уходил поэт в Михайловскую рощу и дальше — к Белоозеру, вокруг которого ныне разбит парк. Посещал он и старообрядческий храм, что на улице имени Яковлева... Навещал Ширинского-Шихматова у него дома на Войлочной Заимке, где в ту пору был совершенно бандитский район.

Из письма Варваре Горбачёвой от 25 октября 1935 года:

«Какое здесь прекрасное кладбище — на высоком берегу реки Томи, берёзовая и пихтовая роща, есть много замечательных могил... Но жаворонков и сельских ласточек по весне здесь не слышно. Ласточки только береговые и множество сизых ястребов. Ещё до Покрова выпал глубокий снег, ветер низкий, всешарящий, ищущий и человечески бездомный. Мой знакомый геолог говорит, что и ветер здесь ссыльный из Памира или из-за Гималаев, но не костромской, в котором сорочий шёпот и овинный дымок. Как Москва? Как писатели и поэты — как они, горемыки миленькие, поживают. Жалко сердечно Павла Васильева, хоть и виноват он передо мною чёрной виной. Переживу зиму — на весну оправлюсь. Теперь же я болен. Лежал три недели в смертном томлении, снах и видениях — под гам, мерзкую ругань днём и смрад и храпы ночью. Изба полна двуногим скотом — всего четырнадцать голов. Не ему мои песни. Лютый скот не бывал в Гостях у Журавлей. Может ли он быть любим? Но блажен тот, кто и скота милует!..»

На территории тогдашнего Томска находилось четыре кладбища — православное, католическое, еврейское и старообрядческое. Скорее всего, Клюев писал о православном кладбище, на территории которого позже были воздвигнуты корпуса завода «Сибкабель».

«Мой знакомый геолог» — это одно из последних в жизни радостных обретений Клюева. Речь идёт о ссыльном геологе Ростиславе Сергеевиче Ильине, в доме которого Клюев часто бывал. Читал хозяевам отрывки из «Песни о Великой Матери», стихи из цикла «Разруха», рассказывал сочинённую им сказку о коте Евстафии и другие сказы... Вера Ильина, жена Ростислава, вспоминала через много лет:

«...Его манера сказителя Севера, мимика, удивительное звукоподражание создавала впечатление такого художественного целого, что забывалось всё окружающее... Он изображал жужжание мухи под пальцами ребёнка, разных животных, мог говорить разными голосами, так что трудно было себе представить, что говорит один человек... Прекрасны были его отрывки из неоконченной поэмы о матери, особенно в его передаче. Многие он забыл и дополнял просто рассказом. Мы очень просили его записать то, что он помнит, но он этого не сделал и продолжить уже не мог...»

Помню, как-то нам было с ним по пути. Он часто останавливался, то перед какой-нибудь ёлочкой, то перед берёзкой, и говорил о том, как у них расположены ветки, на что они похожи: получалась чуть ли не поэма. Остановился перед домиком, мимо которого я проходила, не замечая его, а тут я сама начинала видеть, что “время разукрасило стены, как не мог бы сделать ни один художник, — и нарочно так не придумаешь”, как гармонирует изба наличником с целым этого столетника; а что этому крепкому домику не меньше 100 лет, видно из того, как срублены лапы. Как-то он сказал, глядя на валенки Ростислава Сергеевича с розовыми разводами, стоявшие на печке: “Для Вас это валенки сушатся на печке, а для меня — целая поэма”...»

Из письма Надежде Христофоровой-Садомовой с очередной просьбой похлопотать перед Калининным с помощью Надежды Обуховой, Петра Кончаловского и Викентия Вересаева:

«Положение моё очень серьёзно и равносильно отсечению головы, ибо я, к сожалению, не маклер, а поэт. А залить расплавленным оловом горло поэту тоже не штука — это похуже судьбы Шевченка или По-

лежаева, не говоря уже о Пушкине, которого Николай I-й сослал... и куда же? — в родное Михайловское, под сень тригорских холмов». Я бы с радостью туда поехал. Поплакал бы, пожаловался бы кое на что на могилке Александра Сергеевича! Не жалко мне себя как общественной фигуры, но жаль своих песен — пчёл сладких, солнечных и золотых. Шибко жалят они моё сердце. Верю, что когда-нибудь уразумеется, что без русской песенной соли пресна поэзия под нашим вьюжным небом, под шум плакучих новгородских берёз. С болью сердца иногда читаю стихи знаменитостей в газетах. Какая серость! Какая неточность! Ни слова, ни образа. Всё с чужих вкусов. Краски? Голый анили, белила да сажа, бедный Врубель, бедный Пикассо, Матисс, Серов, Гоген, Верлен, Ахматова, Верхарн. Ваши зори, молнии и перлы нам не впрок. В избе есть у меня и друг — жёлтый кот — спит со мной, жалеет меня, кормлю его жамкой. Здоровье моё плохое. Простите. Прощайте!..»

Вера Ильина вспоминала, что в разговорах о поэзии Клюев утверждал: поэт должен говорить только видимыми образами, и посему отказывался считать поэзией стихи Владимира Соловьёва... Что уж тут говорить о стихах «знаменитостей» 1930-х годов... Сам же он продолжал творить, частично записывая сочинённое на бумаге, а частично оставая в памяти.

Он общался в это время не только с живыми, но и с давно ушедшими.

Из письма Варваре Горбачёвой от 23 февраля 1936 года, после получения от семьи Клычковых денежного перевода:

«...Купил молока, муки белой, напёк оладий, заварил настоящего трёхрублёвого чая, а когда собрал стол, то и пить не мог, всё бормотал, шептал и звал любимых — со мной чайку испить! И они пришли. Первой явилась маменька — как бы в венчальной фате, и видима почти по колени, потом дядюшка Кондратий в свете самосожженного сруба, Серёженка — сильно неподвижный, не освободившийся, Александр, Николай, Владимир, Ильюша — все отошедшие, но в неистребимой силе живущие, даже до цвета и звука!.. Я часто хожу на край оврага, где кончается Томск, — вливаюсь в заревые продухи, и тогда понятней становится моя судьба, судьба русской музыки, а может быть, и сама Жизнь-мать. Но Сибирь мною чувствуется, как что-то уже нерусское: тугой, для конских ноздрей воздух, в людской толпе много монгольских ублюдков и полукровок. Пахнущие кизяком пельмени и огромные китайские самовары — без решёток и душ-

ника в крышке. По домам почему-то железные жаровни для углей, часто попадает синяя тян-дзинская посуда, а в подмытых половодьями береговых слоях реки Томи то и дело натыкаешься на кусочки и черепки не то Сиам, не то Индии. Всё это уже не костромским суслон, а каким-то кумысом мутит моё сердце: так и блёкнут и гаснут дни, чую, что считанные, но роковое никакой метлой не отметишь в сторону...»

Это письмо было написано перед очередным поворотом в его судьбе. 23 марта Клюев был арестован по обвинению в участии в «церковной контрреволюционной группировке» и заключён в местную тюрьму, где его разбил левосторонний паралич. Отнялись рука и нога, закрылся левый глаз, да ещё настиг порок сердца. Лишь чудом каким-то выжил. Изъяты были стихотворения и поэмы, записанные уже в Томске.

В тюремной больнице он, возможно, вспоминал свои старые стихи буйных революционных лет.

**В китовьем жиру увязают и пули,
Но страшен поэту петли поцелуй,
Меня расстреляют в зелёном июле
Под плеск осетровый и жалобы струй...**

**Никто не узнает вождя каравана
В узорном бурнусе на гжучем коне...
Не ветлы России, а розы Харрана
Под смертным самумом вздохнут
обо мне!**

Но и в этот раз ему удалось избежать пули...

«Дело» № 12264 не сохранилось. Известен лишь документ об освобождении 4 июля «ввиду приостановления следствия... ввиду его болезни — паралича левой половины тела и старческого слабоумия». Слова о «приостановлении следствия» в донесении Управления НКВД по Запсибкраю были зачёркнуты составившим донесение капитаном НКВД Подольским. Явно раскручивалось очередное групповое дело, в этот раз *не докрученное* до конца.

Возможно, сыграло свою роль в освобождении поэта обращение Ростислава Ильина к Екатерине Павловне Пешковой, которая снова помогла опальному поэту. Весной Ильин получил научную командировку в Москву и Ленинград, в Москве был у Надежды Христофоровой-Садомовой, которой рассказал о бедственном положении Николая, и написал письмо в Политический Красный Крест:

«Глубокоуважаемая Екатерина Павловна.

Поэт Николай Алексеевич Клюев в марте арестован в Томске (где он отбывал ссылку), у него был удар, отнята левая сторона, и он сразу был переведен в тюремную больницу. В чём он обвиняется, — неизвестно. Во всяком случае, ему не может быть предъявлено обвинение в порочном поведении. Одновременно с ним арестованы епископ и др<угие> церковники.

Клюеву в его исключительно тяжёлом положении могло бы помочь личное заступничество А. М. Горького...»

Трудно сказать — обращалась ли Екатерина Павловна к Горькому, который мог поговорить напрямую с Ягодой, что был всегда в его доме — или действовала сама. Так или иначе, Клюев в июле месяце вернулся под свой негостеприимный кров в совершенно разбитом состоянии.

Из письма Надежде Христофоровой-Садомовой после освобождения:

«С марта месяца я прикован к постели. Привезли меня обратно к воротам домишка, в котором я жил до сего, только 5 июля. Привезли и вынесли на руках из телеги в мою конуру. Я лежу... лежу, мысленно умираю, снова открываю глаза — всегда полные слёз. Из угла смотрит мне в сердце “Страстная” Владычица, Архангел Михаил на пламенном коне низвергает в пучину Вавилоны, Никола Милостивый в белом омофоре с большими чёрными крестами, с необыкновенно яркими глазами, лилово-агатовыми, всегда спасающими. В своём великом несчастье я светел и улыбчив сердцем... Теперь я калека. Ни позы, ни ложных слов нет во мне. Наконец, настало время, когда можно не прибегать к ним перед людьми, и это большое облегчение. За косым оконцем моей комнатки — серый сибирский ливень со свистящим ветром. Здесь уже очень холодно, грязь по хомут. За дощатой заборкой режут ребята, рыжая баба клянёт их, от страшной общей лохани над рукомыльником несёт тошным смрадом, остро, но вместе нежно хотелось бы увидеть сверкающую чистотой комнату, напоённую музыкой «Китежа», с «Укрощением бури» на стене, но я знаю, что сейчас на берегу Томи, там, где кончается город, под ворохами осенних листьев и хвороста найдётся и для меня место...»

Из письма Варваре Горбачёвой от 10 августа 1936 года.

«У меня были с трудом приобретённые кой-какие редкие книги и старинные иконы — мимо которых я как художник не могу пройти равнодушно, но и они с злополучного марта месяца в чужих руках. Сибирь объясняет знание древнего искусства вуль-

гарным церковничеством. Иное понимание этих вещей не входит никому в сознание. Вот тебе и университетский город! Мне ставится в вину, конечно, борода и непосещение п<и>вного зала с уединёнными прогулками в сумерки за городом (я живу на окраине). Посещение прекрасной нагорной церкви 18-го века с редкими образами для ссыльного — чудовищное преступление! Не знаю, в теле или без тела, наяву или во сне — на фоне северной резьбы и живописи — несколько раз являлась моя покойная мать, — вся как лебединое пёрышко в синеватых радугах, утешала меня и утирала мои слёзы неизреченно ароматным и нежно-родимым платочком...»

Ещё один, последний и редкостный дар, последнее сокровище в жизни было даровано ему на этой земле, удивительная находка, которой он сподобился посреди тяжелейшего быта, в невыносимой атмосфере пьяных скандалов и нескончаемых погрёков в своём временном пристанище.

Из письма Надежде Христофоровой-Садомовой от начала октября 1936 года:

«Горе мне, волю ненасытному! Всю жизнь я питался отборными травами культуры — философии, поэзии, живописи, музыки... Всю жизнь пил отблеск, исходящий от чела избранных из избранных, и когда мои внутренние сокровища встали передо мной как некая алмазная гора, и тогда-то я не погордился. Но всему своё время, хотя это весьма обидно.

Я сейчас читаю удивительную книгу. Она написана на распаренной берёсте китайскими чернилами. Называется книга “Перстень Иафета”. Это не что другое, как Русь 12 века, до монголов. Великая идея святой Руси — как отображение церкви небесной на земле. Ведь это то самое, что в чистейших своих снах провидел Гоголь, и в особенностях он, единственный из мирских людей. Любопытно, что в 12-м веке сорок учили говорить и держали в клетках в теремах, как нынешних попугаев, что теперешние черемисы вывезены из Гипербореев, т. е. Исландии Олафом Норвежским, зятем Владимира Мономаха. Им было жарко в Киевской земле, и они отпущены были в Колывань — теперешние вятские края, а сначала держались при киевском дворе, как экзотика. И ещё много прекрасного и неожиданного содержится в этом “Перстне”. А сколько таких чудесных свитков погибло по скитам и потайным часовням в безбрежной сибирской тайге?! Пишу Вам в редкие минуты моей крепости телесной...»

Поистине, сколько погибло таких чудесных свитков! Погибла, очевидно, безвозвратно и найденная Клюевым книга.

«По улице не жожу, больше лежу», — пишет он Варваре Горбачёвой. Единственное, что ещё спасает, — книги. Беда, что изъято многое и не возвращено, но и память кое-что сохранила. Он цитирует в своих последних письмах Феогида, Романа Сладкопеца, Метерлинка, Иоанна Кронштадтского...

В письме Варваре Горбачёвой сообщает, что написал «четыре поэмы». «Кремль» мы, слава Богу, знаем, от остальных трёх — не осталось и следа... Впрочем, стоп: намёк на след всё же остался. Сергей Васильевич Балакин, сын хозяйки последней клюевской квартиры по адресу: Старо-Ачинская улица, 13, — вспоминал отдельные читанные поэтом строки:

**От Москвы до Аляски —
кулацкий обоз.
Сломанные косточки,
крови горсточки...**

Очевидно, это строки из поэмы «Нарым», начатой ещё в Колпашеве. Но более об этой поэме мы ничего не знаем.

Зато сохранилось посланное в письме к Яру стихотворение, которое принято считать последним:

**Есть две страны: одна — Больница,
Другая — Кладбище, меж них
Печальных сосен вереница,
Угрюмых пихт и верб седых!**

**Блуждая пасмурной опушкой,
Я обронил свою клюку
И заунывно кукушкой
Стучусь в окно к гробовщику:**

**«Ку-ку! Откройте двери, люди!»
«Будь проклят полуночный пёс!
Куда ты в глиняном сосуде
Несёшь зарю апрельских роз?!**

**Весна погибла, в космы сосен
Вплетает вьюга седину»...
Но, слыша скрежет ткацких кросен,
Тянусь к зловещему окну**

**И вижу: тётушка Могила
Ткёт жёлтый саван, и челнок,
Мелькая птицей чернокрылой,
Рождает ткань, как мерность строк.**

**В вершинах пляска ветродуев,
Под хрип волчицной трубы
Читаю нити: «Н. А. Клюев —
Певец олонецкой избы!»**

года в его деревянном домике. «Когда я посетил его в последний раз, — вспоминал критик, — библиотека и архив представляли собою сплошную кашу бумаги, истоптанной солдатскими сапогами на полу всех трёх комнат домика; теперь от него осталось только одно воспоминание...» Но из воспоминаний Разумника видно, что Клюев писал ему о грядущей возможности выехать из Томска «с чемоданом рукописей»... Трудно представить себе, что это был за чемодан, и письмо это, конечно, было отправлено не в августе 1937-го, как писал критик, а ранее... Так или иначе, можно предположить, что Клюев ждал окончания своего срока... И дождался бы, если бы не роковые события мая-июня 1937 года.

* * *

В последние годы историками установлено, что к середине 1930-х годов в высших эшелонах власти до последнего предела обострилось противостояние Сталина и группы его верных соратников, с одной стороны, и секретарей крайкомов и обкомов, «красных баронов», умытых кровью гражданской войны и не желающих расставаться с «революционными» методами управления, — с другой.

25 марта 1937 года, сразу по окончании февральско-мартовского пленума, на котором региональные «бароны» устроили настоящую *истеричку*, требуя продолжения *охоты на ведьм*, по личному указанию секретаря Западно-Сибирского крайкома Роберта Эйхе начальник управления НКВД по Западно-Сибирскому краю Сергей Миронов (он же Мирон Король) составил письменное предписание, где обосновывалась необходимость «тащить» Клюева «не на правых троцкистов», а «по линии монархически-фашистского типа». Эйхе готовился к проведению грандиозной «операции», с которой, собственно говоря, и началась кровавая чистка 1937 года.

После раскрытия «генеральского заговора» и ареста Тухачевского и других командиров Красной Армии в мае 1937-го можно было реально убедить Сталина в существовании *пятой колонны* по испанскому образцу. И с ней необходимо было разобраться немедленно, иначе нечего было и думать об альтернативных кандидатурах на грядущих выборах. Но прежде всего нужно было найти эту самую *пятую колонну*, тогда можно было бы доложить и о начале расправы с ней. О начале, *только о начале*, чтобы раскручивать кровавый маховик дальше.

Эйхе стал готовиться в марте, сочиняя «линию монархически-фашистского типа»... Можно было, в духе времени, использовать и «троцкистов», но в «Клюева-троцкиста» никто бы не поверил даже из местного начальства. И успеть в изготовлении сей страшной «организации» (у которой ещё и названия-то не было!) нужно было до июньского пленума 1937 года, на котором предстояло выложить козырные карты на стол.

Название организации появилось в апреле: 29-м апреля датирован протокол допроса арестованного в Томске Голова Александра Фёдоровича.

«ВОПРОС. На допросе 19 апреля 1937 г.<ода> Вы признали, что являетесь членом контрреволюционной организации «Союз Спасения России», назвали участников этой организации. Дайте характеристику известным Вам членам контрреволюционной организации, указанным Вами в предыдущем показании.

ОТВЕТ. В состав контрреволюционной организации «Союз Спасения России» входят лица с явно враждебными взглядами против Советской власти, приверженцы монархического строя...»

И далее — имена: Георгий Лампе, бывший морской офицер Павел Иванов, преподаватель русского и латинского языков Томского университета Александр Успенский, бывший кулак Гавриил Диков, студенты университета братья Рязанцевы, некто Беляев... И, наконец:

«О принадлежности к этой организации Лампе, Беляева, бывш. княгини Волконской, адмссыльного писателя Клюева — мне известно со слов Ивановского, который всех знает лично, посещал их квартиры и обсуждал с ними вопросы борьбы с Соввластью. Особо он придавал значение участию в этой организации писателя Клюева и Волконской, говоря, что “это — люди непримиримой борьбы”...»

Показания эти выжимал из подследственного оперуполномоченный 7 отдела УГБ младший лейтенант госбезопасности Горбенко.

Пётр Ивановский, такой же административноссылный, был, очевидно, знаком с Клюевым, как и некоторые другие персонажи этого дела, из которых и склачивалась пресловутая «организация».

15 мая был допрошен Александр Успенский, по его словам — «по своим убеждениям — социалист».

«ВОПРОС. Кто является руководителем организации?»

ОТВЕТ. Со слов Ивановского мне известно, что идейным вдохновителем и руководителем организации является писатель Ключев, отбывающий в данное время ссылку в г. Томске.

Ивановский говорил мне о том, что Ключев является известной фигурой среди монархических элементов как в России, так и за границей прошлой своей деятельностью, что он и теперь остался авторитетной личностью среди людей, ненавидящих советскую власть.

При этом Ивановский говорил мне, что Ключев отбывает ссылку в г. Томске за продажу своих сочинений, направленных против советской власти, одному из капиталистических государств, какому именно — он не упоминал, только указал, что сочинения Ключева были напечатаны за границей, и ему прислали за них 10 тысяч рублей.

ВОПРОС. Лично вы были знакомы с Ключевым?

ОТВЕТ. Нет, личной связи с Ключевым я не имел. Ивановский, как я понял из его слов, с Ключевым знаком давно и находится с ним в близких отношениях, посещали друг друга на квартирах и т. д.»

Слышал несчастный звон, да не знал, где он. «Испорченный телефон» работал на полную катушку. «Монархизм» Ключева взялся, очевидно, из читанных поэтом отрывков «Песни о Великой Матери»... Рассказ о знакомстве с Этторе Ло Гатто превратился в «продажу сочинений капиталистическому государству», и сумма гонорара была явно выдумана, поскольку даже от берлинских «Скифов» Ключев в своё время не получил ни рубля!..

Но главное было сделано: от свидетеля получен необходимый «материал».

28 мая был выдан одер № 656 с поручением произвести обыск и арест «гр. Ключева Николая Алексеевича», проживающего по адресу: г. Томск, Старо-Ачинская ул. 13, кв.1.

В тот же день было выписано «Постановление об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения». Ключев, оказывается, «является руководителем и идейным вдохновителем контрреволюционной монархической организации “Союз Спасения России”, существующей в г. Томске, принимал в ней деятельное участие, группируя вокруг себя контрреволюционный элемент, репрессированный соввластью. Имеет связи с зарубежными монархическими элементами, по заданию которых проводит к-р работу по объединению враждебных элементов Соввласти...» и потому привлекается в качестве обвиняемого по статье 58, части 2, 10, 11. То

есть речь шла о подготовке вооружённого восстания с целью захвата власти, пропаганде и агитации, содержащей призыв к свержению или подрыву советской власти и распространении и изготвления литературы соответствующего содержания, и всё это осложнялось действиями *организации*. И тут же составляется начальником 3-го отделения Том. ГО НКВД лейтенантом госбезопасности Великановым «Справка», в которой все вышеприведённые обвинения дополняются ещё тремя пунктами:

«Присутствуя на контрреволюционных сборищах, Ключев выдвигал вопросы борьбы с советской властью путём вооружённого восстания...»

Будучи враждебно настроен к существующему строю, находясь в ссылке в г. Томске, Ключев продолжает писать стихи контрреволюционного характера, распространяя их среди некоторых участников контрреволюционной организации...»

Но и этого мало. Нужно дополнить ещё вот чем:

«Установлено, что некоторую часть своих контрреволюционных произведений Ключев переправил за границу из г. Томска через соответствующих лиц, имеющих связи с представителями иностранных государств».

Кем установлено? Когда? Неужели в эту «передачу» превратились обращения Ключева в Красный Крест?

Впрочем, истина никого не интересовала. Было предписано мерой пресечения избрать «содержание под стражей в местах заключения, подведомственных органам НКВД».

А на следующий день был допрошен Пётр Ивановский, назвавший Ключева в числе других 33-х членов «организации». Ещё через день — допрос Георгия Лампе, который сначала вообще отрицал существование какого-либо «союза», но когда ему пригрозили очными ставками, — сломался. Тут уже одним Томском дело не ограничилось. Щупальца «Союза» оказались куда длиннее!

«ВОПРОС. Какие директивы Вами получались от Московского кадетско-монархического центра?»

ОТВЕТ. Директива Московского монархического центра нашей организации предъявляла требование развернуть работу по созданию монархических формирований в Нарыме. При этом особенное наше внимание обращалось на сконцентрированный в Нарымской ссылке монархический элемент и на спецпереселенцев. Последние рас-

сматривались как живая сила будущих повстанческих отрядов.

Волконский как-то говорил мне: “Вы понимаете, что спецпереселенцы — это организованная масса, которая при наличии соответствующих военных кадров может представить собой довольно внушительную армию”.

И по тому, как говорил Волконский, вполне естественно, что Московский центр фиксирует наше внимание на спецпереселенцах. Значительно позже эту же задачу в разговорах со мной подчёркивал и Ключев...

Второй задачей ставилось: максимальное привлечение в организацию реакционной части научных работников Томских ВУЗов...

Третье: предъявлялось также требование обеспечить своё влияние на монархические элементы Алтая...»

И, наконец, 5 июня пришли за Ключевым. При обыске изъяли рукописную тетрадь, 6 рукописей на отдельных листах, удостоверение личности, выданное НКВД, и 9 штук разных книг.

Это был его шестой арест из тех, о которых достоверно известно на сегодняшний день.

* * *

В анкете, которую заполнял Горбенко 6 июня со слов Ключева, есть вещи достаточно странные. В частности, год рождения указан 1870-й. Скорее всего, это фантазия самого следователя, глядящего на измождённого больного старика. Местом рождения своего Ключев назвал место приписки своих родителей — деревню Макеево Кирилловского уезда Новгородской губернии.

Социальное положение — из крестьян середняков.

Имущественного положения — нет. Политического прошлого — нет. Беспартийный. Ранее в партиях не состоял (ни о приёме в РКП(б), ни о последующем исключении не обмолвился). Образование — среднее, но при этом официального образования не имеет. Под судом и следствием, если верить анкете, был лишь раз в 1934 году, когда приговорили к 5 годам ссылки.

Состояние здоровья: паралич и порок сердца. Подпись внизу выведена еле-еле, с наклоном вниз.

В тот день был задан лишь один-единственный вопрос:

— Скажите, за что Вы были арестованы в Москве и осуждены на ссылку в Западную Сибирь?

— Проживая в Полтаве, я написал поэму «Погорельщина», которая впоследствии была признана кулацкой, я её распространял в литературных кругах в Ленинграде и Москве. По существу эта поэма была с реакционным антисоветским направлением, отражала кулацкую идеологию.

На этом допрос прервался. Ни единого вопроса о «Союзе Спасения России» Ключеву задано не было. Возможно, следовательно не видел в том нужды.

Ключев сидел в тюрьме, когда в конце июня в Москве проходил Пленум ЦК — самый таинственный пленум в истории компартии, ибо заседания, проходившие 22—26 июня, не стенографировались. Результатом стало исключение из рядов ВКП(б) 9 членов ЦК и 10 кандидатов в члены ЦК. Междоусобная борьба разгорелась не на шутку. Кроме того, на Пленуме был принят один чрезвычайно важный документ.

«Постановление Политбюро от 28 июня 1937 г<ода>

О вскрытой в Зап. Сибири к.-р. повстанческой организации среди высланных кулаков.

1. Считать необходимым в отношении всех активистов повстанческой организации среди высланных кулаков применить высшую меру наказания.

2. Для ускоренного рассмотрения дел создать тройку в составе нач. УНКВД по Зап. Сибири т. Миронова (председатель), прокурора по Зап. Сибири т. Баркова и секретаря Запсибкрайкома т. Эйхе».

* * *

Из протокола допроса Никиты Ширинского-Шихматова от 19 июля 1937 года:

«ВОПРОС: Вам известен Ключев Николай Алексеевич?

ОТВЕТ: Да, Ключева Николая Алексеевича я знаю, он отбывает ссылку в гор. Томске за контрреволюционные преступления.

ВОПРОС: Вы признали, что являетесь сторонником монархического строя в России. Скажите, с кем Вы из своих знакомых говорили по вопросу борьбы с советской властью и восстановления монархии в СССР?

ОТВЕТ: Об этом я говорил с Николаем Алексеевичем Ключевым. Мы считали, что советская власть рано или поздно должна быть свергнута силами извне, т. е. путём военного выступления капиталистических государств против СССР...

ВОПРОС: Кем и когда Вы были привлечены в... контрреволюционную организацию?

ОТВЕТ: В состав кадетско-монархической организации я вошёл через Клюева Николая Алексеевича в конце сентября 1936 г<ода> или начале 1937 года.

ВОПРОС: При каких обстоятельствах Вы были вовлечены в состав контрреволюционной организации?

ОТВЕТ: После ряда бесед на контрреволюционные темы с Клюевым Николаем Алексеевичем, он сообщил мне, что в г. Томске существует контрреволюционная монархическая организация, ставящая своей задачей вооружённое свержение советской власти...»

Через 2 дня было вынесено постановление о продлении сроков следствия. Число участников «организации» всё увеличивалось, всё новые и новые подследственные давали показания о том, что Клюев, якобы, говорил, что, дескать, «недолго осталось коммунистам существовать, скоро мы станем хозяевами России и восторжествуем», что «конец 1937 года должен быть началом беспощадной борьбы и уничтожения коммунистов» и что «Япония и Германия придут к нам в качестве наших освободителей»... Чем страшнее — тем лучше!

Наконец, 9 октября сотрудником Томского ГО НКВД Чагиным был допрошен сам Клюев. Он заявил, что виновным себя не признаёт, ни в какой контрреволюционной организации не состоял и к свержению советской власти не готовился. Заявил, что убеждённый монархист, не желая вступать по этому вопросу ни в какую полемику со следователем. Признал (точнее, согласился с допрашивающим, очевидно, желая кончить всё это поскорее), что «действительно продал свои труды представителям иностранной буржуазии», что «знал, что на советскую власть должны рано или поздно выступить фашистские страны» и «был настроен пораженчески», но «в контрреволюционной организации не состоял», с членами «организации» беседовал о церковных делах, в разговорах «выражал недовольство соввластью»... Следователь как будто не слышал — перед ним лежали подробные показания остальных арестованных, складывающиеся в цельную картину.

«ВОПРОС: Следствием вы достаточно обличены. Что вы можете заявить правдиво об организации?

ОТВЕТ: Больше показаний давать не желаю».

Такого ответа не дал на допросах ни один из так называемого «Союза Спасения России».

Подпись под протоколом уже почти невозможно разобрать — рука не слушалась.

В обвинительном заключении по делу № 12301 за подписью капитана госбезопасности Овчинникова указано, что «Клюев виновным признал себя частично». А 13 октября датирована выписка из протокола № 45/10 заседания тройки управления НКВД Новосибирской области, постановившей:

«Клюева Николая Алексеевича РАССТРЕЛЯТЬ. Лично принадлежащее ему имущество конфисковать».

И, судя по документам, тюремной жизни поэту было отпущено ещё 10 дней.

...Здание пересыльной тюрьмы в Томске, где сидели в своё время и Сталин, и Свердлов, и Киров, доживает свои последние дни перед скорым сносом. В старом корпусе № 1 есть карцер № 3, ныне не используемый по назначению. На двери карцера прикреплена табличка:

«В этой камере с июня по октябрь 1937 года содержался поэт Клюев Н. А. (1884—1937).

Едва ли он дождался расстрела, как другие заключённые. Очевидно, он уже умирал.

«Выписка из акта» свидетельствует, что «постановление Тройки УНКВД от 13 октября месяца 1937 года о расстреле Клюева Николая Алексеевича» приведено в исполнение «23-25/X 1937 г<ода>». Час приведения приговора в исполнение не указан, и вместо подписи сотрудника оперштаба — нечто неразборчивое.

Действительно ли его расстреляли на Каштаке, где сейчас стоит православный крест в память всех убиенных? Или он окончил свои дни в камере и его просто зарыли на кладбище, на месте которого сейчас стоят корпуса «Сибкабеля»? Странная бумага, не дающая нам окончательного ответа ни на один вопрос.

Проходит почти два года — и из Новосибирска в Томск направляется следующий запрос:

«Начальнику Томского ГО НКВД.

В вашем районе отбывает ссылку ссылочный Клюев Николай Алексеевич. Срок ссылки ссылочному Клюеву закончился 2/11. 39 года, об освобождении его из ссылки никаких сообщений нет. В трёхдневный срок сообщите в 1-й спецотдел НКВД, когда освобождён и куда выбыл. Если же ссылочный

Клюев не освобождён, то немедленно освободить и выдать справку.

Зам.нач. 1-го спецотдела УНКВД НСО ст. лейтенант госбезопасности Дасов. Пом. оперуполномоченного Лушпий».

Эта бумага неопровержимо свидетельствует о том, что о конкретном масштабе террора, особенно в провинции, представления не имели не только в Москве, но и в областных центрах. На местах ежовские подручные убивали людей, даже не огласив им приговора. Запрос пришёл в Новосибирск, очевидно, из Москвы в ту пору, когда Лаврентий Берия, сменивший Ежова на посту наркома НКВД, стал разбираться с теми делами, что успели натворить чекисты до него, между делом выпуская из тюрем тех, кто не дал на себя показаний. В областных управлениях НКВД дрожали мелкой дрожью, ожидая своей участи, и этот запрос лишь подлил масла в огонь страха и ненависти.

Ответа из Томска не было, во всяком случае, он не известен. О судьбе Клюева долгое время ходили легенды, самая живучая из которых гласила: он отбыл свой срок, освободился, выехал в Москву, но по дороге скончался от сердечного приступа на одной из станций. Владимир Чивилихин даже называл конкретную станцию — Тайга, очевидно, по ассоциации со знаменитым кинофильмом 1930-х годов «Партийный билет», где эта станция упоминалась как место ссылки бывших кулаков.

И сегодня мы знаем только то, что Николай Алексеевич Клюев окончил свои дни в Томске.

По делу 1937 года Клюев был реабилитирован военным трибуналом Сибирского военного округа в 1960 году, и для широкой публики это оставалось неизвестным вплоть до конца 1980-х годов, когда по запросу Комиссии по его творческому наследию он был, наконец, реабилитирован и по делу 1934 года.



Складчина. Избранное. 1995—2012. Кн. 1. Проза. Поэзия. — Омск: ИД «Наука», 2012.

Можно сказать, что современная литература находится сейчас в состоянии естественной раздробленности: за пределами данного города мало и неохотно знают и узнают о творчестве соседей близких и дальних. Альманахи здесь выступают одной из форм лит. коммуникации, в них, без особой придирчивости регулярных «толстых» журналов-ежемесячников, публикуются авторы данного региона. «Складчина» занимает в ряду таких альманахов-культурных посредников свое видное и почетное место. Подтверждение этому — издание «Избранного», «лучшего, что появилось на страницах издания почти за двадцать лет его существования», которое имело вид сначала «сборника», затем газеты и, наконец, альманаха. Стоявшие у истоков несгибаемой (еще более подходящий эпитет — «неистребимой», учитывая трудную издательскую судьбу журнала) «Складчины» Е. Злотина, А. Лейфер, М. Малиновский, Э. Шик, а также Р. Абубакирова, С. Поварцов, А. Декельбаум, В. Чешегоров, А. Лизунов сумели дать ей такой заряд, что, рожденный вместе с новой лит. организацией — Омским отделением Союза российских писателей в 1993 г. журнал достойно миновал противоречивые 00-ые и вышел в нынешние 2010-е с богатым наследием и новым коллективом редакторов: Г. Гаврилов, А. Дегтярев, Г. Кудрявская, В. Шелленберг и др. А также программой противостояния «всеобщему обольваниванию, “опопсению” и пошлости, насаждаемыми» ТВ и прочими псевдоискусствами.

Под такой программой подписались бы многие лит. организации и писатели. Не зря «Складчина», как и ее «Избранное», составлялись по принципу должного творческого уровня, а не наличия членского билета той или иной организации. Да и другой принцип — алфавитный, тоже вполне демократичен, объединяя в один список таких прозаиков и поэтов, как Е. Асташкин, Н. Березовский, В. Бородин, Г. Бородянский, В. Вайнерман, Г. Гаврилов, О. Григорьева, А. Дегтярев... Увы, приходится прерывать перечисление всех 44 авторов книги, где каждый достоин быть названным, чье творчество заслуживает отдельных статей и чьи произведения стали известными не только в литературе современного Омска. Главное их достоинство — увлекательность чтения, «интересность» сюжета и содержания в целом. Будь то последний день жизни милиционера Маклакова из рассказа Н. Березовского или вся жизнь затаившегося иуды Акима Плахина, бывшего полиция-убийцы из повести В. Бородина, эпизод из жизни ребенка из Подмосковья, ставшего «мышонком» в огромной и циничной Москве из рассказа Т. Мокроусовой и В. Бердичевского или мгновения из жизни в «микропрозе» С. Дрыгина с участием саксофониста, дворняжки, подушки, крестика и др. необходимых мелочей человеческой жизни.

Главный редактор и один из составителей «Избранного» А. Лейфер пишет, что со здоровым чувством юмора относится к любым параллелям и сравнениям омской «Складчины» с историческим «тезкой» 1874 г., где опубликовались Достоевский, Островский, Салтыков-Щедрин, Тургенев. На наш же взгляд, содержание и направленность

прозы (о поэзии надо говорить отдельно) «Избранного» «Складчины» вполне отвечает духу того многообразного реализма, который был создан лучшей русской прозой 2-й половины 19 века. Разумеется, без сравнения степени таланта и лит. дара двух разных эпох. Можно, однако, верить в то, что настанет и такое время, когда подобное сравнение станет возможным. Ведь «Складчине» нет и тридцати лет!

В. Озолин. Фантазер, гитарист, сочинитель. Избранные стихотворения. — Барнаул, 2012.

В перечислительном этом названии книги не хватает многого и, может быть, главного: моряк, сибиряк, хабррец, непоседа из тех, что не любят «тихонь». Продолжить ряд можно близкими, понятными поэту вещами: «снежные валы» и «стаи льдин», Арктика и Карское море, «сахалинские берега» и Обская губа, Северное море и Великий океан. А еще Л. Мартынов, И. Сельвинский, А. Вознесенский. Перечислять можно много и долго. Но Вильям Озолин (1931—1997) — поэт, которого не уместить в перечисления, это заведомо ложный путь. Куда важнее понять и оценить то, как удастся поэту с такой биографией (сын репрессированного, для которого родины стали, поочередно, восемь сибирских городов) и географией, насчитывающей десятки городов, поселков, ареалов (обширный их список занимает всю заднюю обложку книги), быть и лириком, «громким» и «тихим».

Видимо, это чисто сибирская черта: могучим усилием мысли и чувства, обусловленным столь широким географическим размахом, попытаться соединить несоединимое, объять необъятное, выйти за пределы одного чувства, одной строки, одного стихотворения, еще не дописав его. Этот вечный порыв к вечно неоткрытому сродни освоению безразмерного Великого океана — главная черта поэзии В. Озолина. Выражается это и содержательно, и формально, и визуально, зачастую в неровном, словно рваном, «рельефе» его стихового строя. Ярче всего черты его поэзии выражены в «программном» стихотворении «Черные утки»: «Когда пурга слепит глаза у пароходов, / Когда у самолетов гнутся крылья... / Сквозь снежные заряды полным ходом / Несется / Черных уток / Эскадрилья!» У этих отважных уток поэт и его поэзия «премудрость мужества» и постигает. Не утаил

В. Озолин и особенности своего происхождения — «наследства», в котором были и «дед, швед», и «отец, латыш», и «бабушка-южанка». От них он и получил сочетание «полярного ветра» и «вороненых крыльев» в душе и в своей лирике — сразу и романтически-«сказочной», и любовной, и гитарной, и исповедальной. Страстность его природы внесла в «жизнелюбовность и оптимизм» его поэзии еще одну ноту — «с трудом сдерживаемые боль, тревоги, горькую иронию, язвительность», как пишет автор предисловия Вл. Казаков. И все потому, что В. Озолин — поэт живого, «разговорного» слова, идущий от жизни.

Татаренко Ю. А. Чтонаторительный падеж. Стихи 2006—2011. — Новосибирск, ООО «Манускрипт», 2012.

Автор этой книги и не скрывает свою принадлежность к «актуальной» поэзии на злобу дня, мгновенного потребления, заменяющей газету или листовку, будто специально для идущего на демонстрацию или митинг. Много в такой «площадной» поэзии открытых и доступных форм объясняет и плодотворная работа автора в театре (песни к «чужим» спектаклям, спектакли свои, включая «мини-пьесы» и либретто к мюзиклам) и документальном кино. Плюс беспреседенная активность интервьюера: «опубликовал сотни интервью», признается он, давая в послесловии «Избранные факты биографии» обширнейший список имен, от Евтушенко, Быкова и Гандлевского до Юрского, Табакова, Додина и даже К. Цзю и М. Прохорова. Вот и стихи Татаренко в этой книге — своего рода автоинтервью, в стиле этого очень уж разговорного жанра, без тонкостей и глубин, зато с избытком «политики», всех интересующей и одновременно всем давно надоевшей. Тут и «билеты в углах маршруток», и «ГБ с кулаками», и «депутатские кресла», и «кепка мэра и даже Тимур Бекмамбетов.

Верить, что Ю. Татаренко, и правда, «душно в подвалах газет», а может, и тошно от газетчины собственных строчек, но он их упорно пишет. Почему? От потребности ли в «гражданской поэзии», или от чувства глобальной раздвоенности: «Да, мы живем в одной стране, / Но только государствах — разных!»? Потому ли, что таков уж «падеж» его поэзии, рифмуемой с «падежами» нынешней жизни, главный из которых беспросветный «чтонаторительный»? А скорее всего, потому, что является заложником

своего карнавалльно-театрального языка и стиля, о котором хорошо написал в предисловии к книге С. Шаргунов: «Музыка скрежета, визга, грома, звона, рыка. Обилие, густота слов, намеков, имен... Атмосфера хмельного головокружительного вертепа». Соглашусь и с тем, что Ю. Татаренко столь же социален, сколько и «внесоциален», который мог бы потратить свою поэзию на «изображение природы, женщины, ребенка» и т. д. Впрочем, у поэта, отмечающего свое 40-летие, еще все впереди.

Дмитриев А. Крестьянин и тинэйджер. — М.: Время, 2012.

Это во всех отношениях замечательный роман — весьма интеллигентный и эlegantный, словно одетый в стильный костюм современного «москвошвея». Читатель, конечно, сразу отметит его лаконичность: чуть более 300 страниц при почти карманном формате и необыкновенную увлекательность, обеспеченную, скорее, атмосферой легкой мистики и искусного монтажа, чем сюжетом. Секрет и этой увлекательности, и легкомистичности в истории о непьющем фермере-одиночке из бывших «афганцев» и 19-летнем бывшем студенте из Москвы, скрывающемся у него от призыва в армию по воле родителей, в мастерстве аналогий, доходящих до совпадений: «крестьянин» Паниюков и его возлюбленная Саня находятся в отношении очевидной симметрии с «тинэйджером» Герой (Герасимом) и его пылкой любовью по имени Татьяна. С одной стороны, кажется, что этот роман геометрично расчерчен аккуратным автором, наподобие если не В. Набокова, то Е. Лапутина. А с другой, что эта геометричность — лишь следствие какой-то заветной для А. Дмитриева думы о мире как об очень тесном для людей пространстве без новизны и неожиданностей. Не зря ведь разоблаченная Герой Татьяна, умом которой он так восхищался, оказывается, говорила чужими словами, мыслила заемной у своего престарелого любовника мудростью. Еще более ужасно, что мысли эти — о жалкой участи интеллигенции: веря «в слово, в смысл, в ценности», она «оказалась в положении средневековых евреев», «всюду гонимых и презираемых». Так, сам собой созревает финал романа, где Паниюков и Гера, крестьянин и тинэйджер, меняются местами, и не только географически. Вернее, должны поменяться, ибо автор вдруг ломает стройную конструкцию своего ро-

мана и в дымке его смутного окончания мы видим бывшего юного инфантила на танковой броне, видимо, в армии и, кажется, где-то на Кавказе.

И уже сомневаешься, об интеллигенции ли этот роман, о хождении ли ее в народ и о самом ли народе, вращающемся в замкнутых кругах сословий, социальных ниш и страт, коллективного или сугубо личного существования. (Или даже в том, что он о фатальном одиночестве «двух человек из параллельных миров», «опытов» и «правд», как пишет В. Пустовая). Неужто это роман о социальном оптимизме людей, прощающихся со своими либеральными иллюзиями самодостаточного счастья? По крайней мере загадочная стрекоза, появляющаяся в самом конце романа как символ перерождения героя, отменяет какую-либо однозначность толкования, вдобавок уводя произведение в пространство лит. классики, к Набокову, Мандельштаму или Заболоцкому. В этом и искусственность новой книги прошлогоднего букеровского лауреата А. Дмитриева, и робкий шаг навстречу социальному реализму.

Ерофеев В. В. Акимуды. (Нечеловеческий роман). — М.: РИПОЛ, 2012.

Этот большой и неуравновешенный текст в формате романа явно вдохновлялся событиями недавней пересмены власти и «болотного» деления населения, в основном московского, на противников и сторонников нового старого президента. Последние именованы у В. Ерофеева «мертвыми», отбрасывающими страну в тоталитарное прошлое. Хотя автор и не чувствует к ним какой-то «баррикадной» ненависти, не очень-то отделяя их от живых, т. е. либералов. Вообще, В. Ерофеев достаточно политически миролюбив, и все это бурление «за» и «против» интересует его с точки зрения умеренного абсурда, знамением чего и является это диковинное слово-понятие «Акимуды». Вряд ли бы сам автор объяснил до конца, что сие означает: не страна и не народ, не люди и не духи, не враги и не друзья. И не посольство булгаковского Воланда, как можно было бы подумать.

Зато по ходу романа можно многое узнать об авторе, который сквозь затеянную им «акимудятину» вдруг да признается: «Меня ненавидят фашисты», «меня не любят либералы», а также «церковники», «московские филологи», «недолюбливает внеси-

стемная оппозиция» и т. д. С вопросом на устах «Так кто же любит меня?» В. Ерофеев описывает анатомически подробный секс без комплексов, вперемежку со своим детством, отцовской работой дипломата и нескончаемыми путешествиями далеко на запад и юг России, думая, что этим отвечает на вопрос. Но, наверное, главный, кто любит В. Ерофеева, это он сам. Нормальный, в общем-то, человеческий и писательский эгоизм, без которого не может быть творчества. Случай В. Ерофеева, может быть, чуть иной, по сравнению, скажем, с Д. Быковым или З. Прилепиным, которых он мудрено зашифровывает в «Козлова-Радищева» и «Самсона-Самсона», поскольку диагностируется тем же «Акимудом», в котором слышится, помимо Бермуд (любимый вектор Ерофеева-путешественника) и просто «муд» (любимая тематика Ерофеева-беллетриста), еще нечто интравертное («аки», т. е. «как» — «нечто», «вроде»). Отсюда же, видимо, и проблемы с цельностью этого «нечеловеческого романа», который перерастает своего закомплексованного автора, согласно его же понятиям: «Писатель — не мастер. Он со-

здает текст, который, прежде всего, независим от него самого, от его моральных качеств, наконец, даже от его ума — текст, который *больше* автора, интереснее, смелее и философичнее его», в отличие от «отсебятины» — «продукта самовыражения». Где тут «текст больше автора» и «отсебятина» — все та же «акимудская» проблема. Которая в том, что «Акимуды и нигде и везде» и в том, что «Вот вы вроде бы что-то понимаете, а потом — хлоп! И ничего вы не понимаете!» Остаются «лирические отступления» — тексты-монологи о Москве или Сталине, похожие на блогерские, новеллы «Однорукая» или «Красная ящерица», шедевральные сами по себе.

Пример В. Ерофеева с его новым романом симптоматичен для нынешних лидеров писательско-издательских рейтингов. Они все больше замыкаются в себе, когда им кажется, что они, наоборот, все больше политизируются, левеют или правеют. Выигрывает ли от этого противоречивого процесса литература — пока неясно, но время безоглядных деклараций вроде «Похорон советской литературы» как будто уходит.

В. Я.



АВТОРЫ НОМЕРА

Базанов Владимир Михайлович родился в 1941 г. в Семипалатинске. Учился на филологическом факультете Томского университета, окончил заочное историческое отделение Семипалатинского пединститута, окончил пять курсов Литературного института им. Горького. В начале 60-х годов начал публиковать свои рассказы в молодёжных областных и городских газетах Томска, Семипалатинска, Алма-Аты, Ленинграда и Риги. В 1954-м году в частном издательстве «Эдельвейс» вышла книжка «Побег и погоня».

Белковец Лариса Прокопьевна, доктор исторических наук, профессор Томского государственного университета. Выпускница историко-филологического факультета Томского университета. Автор более 150 научных и учебно-методических работ, в том числе 10 монографий и учебных пособий. Почетный работник высшего профессионального образования РФ, член-корреспондент Сибирского отделения Академии наук высшей школы. Специалист по истории российско-германских дипломатических отношений. Стажировалась в университетах ФРГ, работала в архивах и библиотеках Бонна, Берлина, Бохума, Марбурга и др. Преподаватель Новосибирского юридического института (филиала) Томского государственного университета. Живет в Новосибирске.

Ветров Антон родился в 1991 году в Санкт-Петербурге, учился в институте иностранных языков. В «Сибирских огнях» публикуется впервые.

Дугаров Баир Сономович родился в с. Орлик Окинского района Бурятии. Автор многих поэтических книг. Лауреат Государственной премии Республики Бурятия в области литературы и искусства, кандидат исторических наук. Публиковался в журналах «Байкал», «Москва», «Октябрь», «Сибирские огни», стихи переводились на монгольский, латышский, болгарский, венгерский, английский и другие языки. Член Союза писателей России. Живет в Улан-Удэ.

Кудимова Марина Владимировна родилась в 1953 году в Тамбове. Окончила Тамбовский пединститут. Переводит поэтов Грузии и народов России. Произведения Марины Кудимовой переведены на английский, грузинский, датский языки. Лауреат премий им. Маяковского и журнала «Новый мир». Живет в Перedelкинe.

Кулаков Сергей Анатольевич родился в 1964 г. в Архангельске. Окончил театральный институт г. Днепропетровска. Работал в молодежном театре. Пишет стихи, прозу, пьесы. Живет в Ялте.

Павловская Анна Славомировна родилась в г. Минске. Лауреат «Илья-премии» 2002 года. Автор поэтической книги «Павел и Анна». Живет в Подмосковье.

Фаустов Михаил родился в 1969 г. в Новокузнецке. Работал на предприятиях металлургической и угольной промышленности. Издавал новосибирский культурологический журнал «Мания». Основатель и директор магазина интеллектуальной литературы «Собачье сердце». Живёт в Новосибирске.

Шульпяков Глеб Юрьевич родился в 1971 г. в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ. Автор книг стихотворений «Щелчок» (2001) и «Жёлудь» (2007), сборников путевых очерков и романов. Поощрительная премия «Триумф» в области поэзии (2000). Возглавляет литературный журнал «Новая Юность». Живет в Москве.

Яранцев Владимир Николаевич родился в 1958 году в г. Калининe. Окончил гуманитарный факультет Новосибирского государственного университета. Член Союза писателей России. Публиковался в журнале «Гуманитарные науки Сибири», областных и городских газетах, в журнале «Сибирские огни». Кандидат филологических наук. Живет в Новосибирске.